

УЛУГ-ХЕМ



ТУВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

УЛУГ-ХЕМ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ

4

ТУВИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
КЫЗЫЛ — 1958

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Салчак Тока

ТУВА НОВАЯ

Главы из третьей книги повести «Слово арата»

ПЕРВЫЙ ВОДИТЕЛЬ

Быстро пролетели наши учебные годы в Москве. В конце июля 1929 года возвращались мы домой. Наш ямщик посылнее накормил коней на привале короткой ночью и уже радостно говорил, вскочив на телегу и рассаживая седоков:

— Ну, теперь мигом долетим: до Усинской поймы — один день, до Турана — один день и дальше до Кызыла — один день; всего три раза переночуем и докатим. — Он чмокнул вожжами: — но, на...

— Как хорошо. Едем шибко. Удалой же вы человек. И правите хитро, — похвалили мы ямщика на последнем перегоне, надеясь, что он развлечёт нас новыми, интересными рассказами: — Оказывается, всю дорогу можно проехать только за семь суток!

— И то правда. По такой дороге только до Усинска ехать абы как — десять раз будешь ночевать, и то хорошо. А мы с вами, ребята, за семь ночей добираемся до Кызыла! Не хвалюсь, а к дальней дороге привычный. Кони тоже дуют — редкие кони! — и словно решив, что надо ещё убедительнее удостоверить резвость лошадок, ямщик громко, как пастушьим бичом, хлещет их вожжами и переводит на лихую рысь, покрикивая тонким восходящим голосом: — н-о-о, н-а-а!

Оставив позади Буйбу и дважды переночевав, на третьи сутки мы взобрались на Каскальский перевал между Бере-

дой и Даш-Сугом. Здесь лошадам дали передохнуть и сами поели дорожных припасов. С перевала наша гремучая телега покатила вниз по игривому Даш-Хему...

— Осталось нам тридцать пять километров, будем вечером в Кызыле, — говорит ямщик и весело улыбается: — Одолели мы с вами много перевалов, а это будет последний, давайте с ним попрощаемся, ребята!..

За Бегредой, вниз по Даш-Хому, виды местности часто меняются, особенно хорошо здесь в конце лета. Горные склоны, до самого подножья, поросли могучим строевым лесом — прямой сибирской лиственницей. В промежутках между сомкнутым строем лиственниц там и тут мелькают шатры вечнозелёных елей, задумчивый тальник, покрытый белым пушком, и заросли черноглазой черёмухи, а иногда навстречу нам выбегают весёлой гурьбой берёзовые рощицы. Здешние травы не такие буйные, как на Саянах, растут не так высоко и густо, но лучшего корма стадам не сыщешь в других местах тайги — они здесь особенно мягкие и сладкие, а покровы цветов, как тонкие радужные ковры, ни с чем не сравнишь по разнообразию и яркости окраски.

И вот мне вспоминаются некоторые путешественники, раньше не бывавшие в Туве, которые думают, что в нашем краю — сухой песок, а растительность выжжена солнцем, и что, собираясь к нам, непременно следует брать с собой коричневые очки и готовиться ходить по нашим дорогам в резиновых сапогах; бедняги! — думал я, любуясь растущими в долине и в поймах Даш-Хема добрыми травами и цветами, оглядывая потяжелевшие кусты уже начавшей спеть красной и чёрной смородины, черники и прячущиеся в зелени бело-розовые бусинки ещё зелёной брусники: — Какая здесь всему живому отрада, какая красота!

Кто-то из нас не удержался:

— Сколько ягоды уродилось! Айда, ребята!

Все попрыгали на землю, и вскоре с ветками и гроздьями таёжных ягод и сильной оскоминой во рту опять восседали на телеге, качаясь и стучаясь друг о друга.

Я подумал: «На моей родине — в долинах Мерген и Каа-Хема — ягода ничуть не хуже, земля у нас к тому же исключительно хлебородная» — и сказал:

— Каа-Хем по ягоде, пожалуй, ничуть не хуже, а земля-то у нас хлебородная! Разве только не приходилось видеть, чтобы там сажали яблоки — например, такие, как в Москве. Но если их посеять, — думаю, вырастут они и на Каа-Хеме.

— Всё «Каа-Хем» да «Каа-Хем». Дался тебе твой Каа-Хем! Ему наш Хемчик никогда не уступит. Уж наша ли земля не добрая, не богатая! За это про неё и песни поюг. Не хвались понапрасну, — отчитывает меня Седен, вскочив на ноги на середине телеги и сердясь по-настоящему.

Я знал, что Седен совершенно безголосый и решил как-нибудь вызвать его на пение:

— Какие же песни могут быть о природных богатствах Хемчика и Чадана, ты уж слишком их не расписывай! Если бы такая песня была, неужели бы ты её не спел?

Шагдыр подмигнул мне и сказал:

— Что-то и я не слышал песен, прославляющих те места. А вот о моём Элегесте и Межегее народ любого хошуна знает и распевает песни. Взяжь к примеру нашу песенку «В Элегесте, в Межегее...»

— Тебе только и знать, есть или нет песни, прославляющие наши места! Ты же ведь у нас не был, на Хемчике. Ведь не был? — нахохлился наш парень и вдруг неистово запел:

О свежий чайлаг мой в верховьях Шеми,
Где тучнеют отары коз и овец!
О мертвый чайлаг мой в верховьях Ажика,
Где тучнеют конские табуны!

Голос у певца был отчаянный. Несмотря на это, он гордо уселся повыше на дорожные вещи, — как орёл, восседающий на скале, и с видом человека, одержавшего крупную победу, прошептал:

— Вот вам и нет хорошей песни!

— Да-а-а! — ответили мы хором: — молодчина Седен!

Так, хвалясь друг перед другом и распевая частушки в похвалу родной местности, мы даже не заметили, как въехали в долину Сесерлига. Дорога вьётся среди светло-зелёных, жёлтых и буроватых полосок проса, ячменя, овса и подсолнуха. Кусты картошки подходят к самой дороге, а за ними ползут вороха перепутавшихся гороховых стеблей, усиков и стручков. На южных склонах, на солнцепёке, поспевают лосатенькие арбузы.

Кое-где на лугах вздымаются лохматые копны и маленькие стога, но на большей их части трава так и лежит несграбленная, как её уложила коса. Всё это пристально смотрит на нас и будто говорит: «Наконец-то приехали, мы пришли вас встречать».

Спускаясь вниз по Сесерлигу, увидели первых косарей: в одном уголке арат с араткой косят свою делянку. В их стане полно дыма и сеной трухи. На шалаше — покрывало из пахучего горного сена.

Вокруг шалаша там и тут разбросаны орудия и предметы утвари: серп, наковальня, молоток, чайный котёл с промятыми боками, деревянные грабли, вилы со сломанными зубьями, волокуши для перевозки сена. Недалеко от стана бродит за-

худалый конь — тоже с какой-то вмятиной на спине—и почти такой же вол. Всё это мне понятно и знакомо. Передо мной, как живые, встают картины моей жизни в батраках на Мерген и Терзиге.

На всей этой дороге нам встретились только на двух—трёх станях сенокосилка и конные грабли. Люди и во сне тогда не видели коллективного хозяйства.

В низовьях Сесерлига решили остановиться на одном стане. Хозяин его сидел и курил трубку из таволожника с трещинкой на чашечке. У старика поношенные идьки¹, брюки далембовые с заплатками на коленях. Рубаха из белой сулембы потеряла цвет, в нескольких местах прохудилась. На темени у него длинная коса, похожая на крученую ремённую верёвку. Из его острого тонкого носа клубами выходил дым. Один глаз вытек. На жене—халат из синей далембы и тоже с заплатками. Босая. Волосы на голове неизвестно когда расчесывались. Но лицо чистое и светлое, глаза живые. Хозяйка кипятит чай. Она заметила, что мы интересуемся ею, и оглядываясь игриво, как будто хотела сказать: «Что же вы заметили во мне такого особенного?» — ушла за стан.

Ислам (так звали нашего ямщика) снял с лошадей хомуты и пустил в поле. Они забрались в клевер и принялись хрустеть сочной травой, а Ислам достал из телеги ведёрко и, позвякивая им, зашагал к Сесерлигу, который никогда не перестает о чём-то оживлённо лепетать, как и наша Мерген. Хозяин стана заинтересовался:

— Откуда вы едете, куда направляетесь, парни?

— Ездили учиться в Москву. Теперь закончили школу и едем домой,—ответил я.—А ваш аал где?

Қосарь указал рукой к верховьям Сесерлига:

— На истоках этой реки есть место Чайлаг-Адыр, мы живём там. Моё имя Ёнзак. Я арат-бедняк.

Некоторое время сидели молча. Наш арат просит рассказать о Москве. Мы рассказали.

— Вот оно как!—оживился Ёнзак и крикнул:—Ой, жена, куда ты девалась? Послушала бы, что интересного рассказывают приехавшие ребята. — Он прислушался, идёт ли жена, и, не услышав ответа, проговорил:

— Женщины в наш век все такие, знать ничего не знают: ничто им не интересно, очень тёмные,—и снова спросил: — А в городе Москва, куда вы учиться ездили, и мужчины и женщины, должно быть, грамотные?

— В городе Москве и вообще во всём Советском Союзе мужчины и женщины равноправные и все учатся,—сказал я и довольно подробно объяснил, каким способом этого достигли

¹ И д ы к и — сапоги с загнутыми вверх носками.

Выслушав меня, Ёнзак ещё больше задумался и ещё старательнее задымил. Потом заметил:

— Вот, говорят, в нашей Туве революция уже давно произошла—в 1921 году, а всё-таки до сей поры у нас и азбуки нет. Не то что женщины--мужики, вроде меня, даже не умют расписываться. Что думают про это учёные люди?

Я говорю:

— Революционная партия и наше правительство об этом думают. Мы из Тувы давно выехали и не можем вам ответить.

Ёнзак не успокаивается, докапывается ещё глубже, хочет постигнуть то, чего он до сих пор не мог понять. Под конец Ёнзак спросил:

— В общем, как это можно понять? Народ получил права. Всё теперь принадлежит аратам. Так и говорят: «Араты — хозяева страны». А вот вы посмотрите на меня: этот луг, который мы косим, — земля самого большого ламы Сесерлигского монастыря Соржу-Хелина. Как-то его прошу: «Накосить бы мне травы моей паре коз; пожалуйста, выделите мне земли», он и говорит: «Хорошо, накоси мне десять копен, а потом одну можешь накосить себе». Поэтому я и спросил,—и опять пристаёт: — А как в городе Москва? Как там распоряжаются земельными угодьями?

— В Москве, во всей Советской стране все земные богатства перешли в руки народа. Крестьянин, когда пользуется землёй, не кланяется, не заискивает, как вы, перед Соржу-Хелином, а получает от государства; уплачивает маленький налог и весь доход, полученный от урожая, использует сам, — объяснил я.

— Замечательное дело... Такой крестьянин, в самом деле—настоящий свободный арат. Ведь правда? Возьми нас: монастырское управление, баи и феодалы — всё по-прежнему; самые хорошие пастбища и посевные угодья, самые многочисленные стада всё ещё в руках у них, — торопился досказать наш собеседник, и я видел при этом, как он весь раздражён и смотрит на нас, будто хочет сказать: «Ну как же, парни, с этим быть?—учёные вы люди, отвечайте».

Я подумал: «Народ нас воспитал и обучил. Познакомиться с аратской судьбой, с жизнью аратов — дело не только революционной партии и правительства, оно касается и каждого из нас». — И я заверил Ёнзака в нашей готовности служить трудящимся Тувы. Тут совсем неожиданно Ёнзак поднялся и, сказав «работать пора», дал понять, что уже насытился беседой; взял на плечо косу, вынул брусок из деревянного ведёрка с водой и отошёл в сторонку от стана. Там он поточил бруском звенящую косу и пустился проворно косить...

— Чай готов. Кто хочет, пейте, — кричит Ислам.

Все кинулись к чугунной чаше с кипящим чаем. А Ислам уходит, говоря:

— Пойду закладывать коней, живее пейте и покатым..

Вскоре мы двинулись — кто на телеге, кто пешком. Обмениваемся мыслями о нашем косаре, а навстречу бежит, подымающая пыль и треща, как пулемёт, что-то чёрное. Мы не думали встретить в Туве автомобиль.

— Что за чёрт бежит! Коня перепугаются, — ворчит Ислам, спрыгивает с телеги и отводит коней с дороги.

К нам подскочила легковая машина, наполненная людьми. Поравнявшись с нами, она громко зафыркала и, похрипев, как заболевший грудью кабан, остановилась. В машине много неизвестных, а может быть, и знакомых, да где их узнаешь, когда из-под грязи и пыли сверкают одни глаза и белеют зубы. У этих — револьверы, у тех — на поясах сабли. Дверку не открывают, а перемахивают через борт, как через плетень. Приехавшие подошли к нам и поздоровались. Старший из них был похож, как теперь говорят, на стилиягу. Он сообщил, что его зовут Карсыга и прибавил:

— Член Центрального Комитета.

Голос у него был тоже странноватый: совмещал в себе старческий шёлот и детский писк. Выяснилось, что мы, как первые выпускники, должны ехать в Кызыл на автомашине.

Было жалко бросать Ислама.

— Обойдёмся. На своей «машине» доедем, — ответил я.

— Опоздаем на перевоз. Садитесь, товарищи, — приказал Карсыга. Его спутники снова перемахнули через борт машины. Одни уселись на сидения, другие — на борт, а некогорые удерживаются на подножках. Взобрались и мы. Кроме водителя в маленькой машине оказалось десять человек, по русской поговорке, — как сельдей в бочке.

Карсыга уселся рядом с водителем, откинувшись к спинке кабины, закурил папиросу и стал пускать дым колечками.

Даже старался сдвинуться. Потом я узнал, что он был первым шофёром в Туве. Завести машину ему не удавалось. Карсыга зло пропичал:

— Проклятый, олять будешь нас мучить.

Обидно: всё же «проклятый» умеет делать то, чего никто из нас не умеет. И старается изо всех сил, а другие только попускают. Однако страшновато: с этим «проклятым» придётся ехать не городской дорогой, а краем обрывов и ущелий.

Водитель вынул из-под сиденья изогнутый железный прут, подошёл к машине спереди и вдел конец прута в грудь машины. С хрипом и громом покрутил. Машина оживилась, попытала и снова умолкла. После этого парень поднял крышку, чем-то защёлкал и стал ковырять внутри, потом захлопнул крышку и попробовал завести машину своим прутом.

Тем временем Ислам уехал. Звон его колокольчиков постепенно затих. А мы всё ещё сидели на месте.

— Милые лошадки резво бегут — не машина! — усмехнулся один из нас.

— Догоним теперь вашу тройку, как думаете? — усмехнулся и Карсыга. Ребята мигом соскочили с машины. Дажи докладывает, побледневший и вымазанный грязью:

— Беда, мотор не работает. Не могу найти причину. Чёрт его знает!

Шагдыр и Седен шепчут:

— Напрасно мы расстались с нашими лошадьми: хоть и лотише—зато надёжнее.

— Уж ладно, не стоит напрасно унывать, а то ещё скажут: «Слабейший, трусливый игрок эти студенты, чему они только научились в Москве». Потерпите,—говорю.

Карсыга покусывает папироску, отчего она дымящимся концом быстро замелькала справа налево, и жалуется:

— Безобразие! Была же совсем исправная. Прошли километров около двадцати. За это время пять раз останавливались: дважды лопнула шина, три раза что-то ломалось и портилось в моторе!..

Успокаиваем друг друга:

— Дажи полез под машину. Сейчас починит.

Подхожу к водителю. Мой парень всё ещё копошится. У него даже нет времени вытереть лицо. Похоже, что он плачет,—всё время шмыгает носом.

Услышав успокоительные слова, Карсыга немного воспрянул:

— Ну как дела, парень? Садиться уже можно?

— Никак нельзя, — вытянулся Дажи и обтёр лившийся с лица пот: — Что за чертовщина!

Мои товарищи, лежавшие до сих пор на лужайке в тени, обступили водителя и осыпали беднягу вопросами, хотя тому и без них было нелегко.

— Ну и что?.. И как?.. Теперь скоро?.. Как же нам быть?..

Дажи вытянул руку к вершине холма:

— Теперь остаётся одно: нас много, вот на тот пригорок вкатим машину, а там посмотрим.

Седоков было, в самом деле, много, и мы без труда втащили машину на пригорок. Стоим и ждём.

Дажи слабо улыбается:

— Ну, теперь садитесь, товарищи! Покатим её вниз. Если не заработает, придётся бросить и пойти пешком.

— Едва ли будет польза от того, что мы сядем в недвужимую повозку,—успевает опять кто-то выразить своё сомнение. Но седоки уже по-заученному быстро и ловко вскакивают в машину, усаживаются на борты или стоят на подножках, крепко держатся и поджидают. Дажи хватает железный стержень и вместе с ним подаётся вперёд.

— Держитесь, товарищи. На спуске полетим быстро, — говорит, не оборачиваясь, он.

Наша машина начинает скользить по откосу и, ускоряя

ход, вихрем несётся с пригорка... На середине она вдруг задрожала, громко хрюкнула и остановилась, мотор продолжал трещать.

— Заработала! — повеселел водитель, распахнул дверцы и выбежал вперёд. Осмотрев грудь машины справа и слева, он вернулся, уселся на свою подушку и несколько раз просигналил.

— Теперь и до Москвы доедем! Когда работает исправно,—любо смотреть! Ну, вы! Готовы? Держитесь!—крикнул Дажи и подстегнул своего железного коня.

Когда наша машина покатила вниз по долине Сесерлига, где начинается глинистый берег, дорожной пыли становилось всё больше и больше. Наши лица стали неузнаваемы. Только теперь замечаю: в коробе машины нет цельного места, на полу и в бортах много отверстий, словно их сделали нарочно с просветами, как вязаную сумку для сбора корней, — пусть, мол, насквозь продувается всё, что везут в машине. Дорожная пыль и комочки земли бьют, как из вытяжных труб.

Едем так около часа. Вот уже показался Хем-Белдир. За нами что-то выстрелило. Машина загремела и затряслась на месте.

— Ох, проклятая! Опять задурила! Хотя бы до перевоза довезла! — охает водитель, соскочив с машины и похаживая вокруг неё с опущенной головой.

Карсыга возобновляет заученный вопрос:

— Ну и как, парень? Теперь что? Починить можно?

— Сегодня уж до Кызыла никак не доедем: задние колёса испортились, проклятые. — Дажи пинает машину и лупит молотком по колёсам. Я слезаю и вижу: задние колёса машины обвисли и растрепались, как старая кошма. Из трубки продолжает бить синий дым. Железные ободья скользят на месте. Дажи советует: — Ступайте, начальники. Я, видимо, скорее пойду пешком, принесу другие колёса.

Карсыга двинулся первым, не оглядываясь:

— Это лучше всего, вперёд!

Мы пошли гуськом. До нас ещё долго доносятся тувинские и русские проклятия, которыми Дажи награждает свою машину. Когда затихли ругательства, послышались глухие удары молотка.

Подходим к берегу реки. Распряженные Исламом кони тихо жуют зерно в мешках, повязанных на головы. Сам же ямщик по старой привычке опрокинулся в тени за телегой, подложив руки под голову вместо подушки. Он сладко храпит. Его широкий живот, как пуховая подушка, медленно поднимается и опускается. Проснувшись, Ислам обтёр глаза и слюну на уголках обветренных губ, и, посмеиваясь, сказал:

— Я уж давно здесь. Мои машины хорошо закусили и

сам я передохнул. А ваше разбитое корыто как? При машине, а идёте пешком, дело неважное.

Карсыга спрашивает, недовольный:

— Чего, ребята, смеётся этот мужик?

Я перевожу: — Смеётся над машиной, говорит: «разбитое корыто».

Карсыга скривил рот:

— Вот это здорово! А сам не видит, что весь обтрёпанный. Кто ему дал право так называть служебную машину! Хоть и пешком приходится ходить, всё равно машина несравненно лучше такого пережитка и первобытного транспорта, как простой конь. Переведи мои слова.

Я перевёл.

Ислам проворчал:

— Кони далёкую дорогу от Минусинска прошли только за семь дней. И в Минусинске, и во всей Туве нет коней лучше этих. Как же можно называть их первобытным транспортом! — Немного помолчав, Ислам попросил меня быть переводчиком и сказал, обращаясь к Карсыга: — Я на первобытном транспорте провёз ребят пятьсот километров и пешком их идти не заставлял, а вы тут, на этой маленькой дороге, измучили ребят, заставили пешком шагать и перепачкали в дорожной пыли. Если бы не твоя машина, то ребята уже давно пили бы чай в Кызыле. Коню хороший возница нужен, а машине — хороший водитель. Вот что.

Я перевёл. Карсыга перекидывает из руки в руку кобуру револьвера и свирепеет:

— Ах ты нахал! Оброс щетиной! Смотри, а то вот этим с тобой поговорю!..

Я посоветовал нашему ямщику:

— Оставь здесь на ночь своих коней, завтра приедешь — мы с тобой рассчитаемся.

Ямщик молча пожал мне руку и пошёл к своим коням, а мы вошли на паром.

Улуг-Хем по-прежнему бурно течёт, бьёт волной у берегов, а на середине смотрится в небо ещё более чистым голубым лицом. Перед вечером солнце печёт нестерпимо. Выше и ниже парома на привязи много плотов. Между плотами опрокинуты маленькие рыбацкие лодки. Юноши с бронзовыми телами ныряют и плавают у плотов. Мальчишки ловят удочками рыбу.

Паром пристал к левому берегу. Чистая вода голубого Улуг-Хема неудержимо влекла нас к себе: мы решили поплавать, искупаться. Достав мыло и мочалку, взбираюсь на ближний плот. Мои спутники в одних трусиках тоже бегут на плоты. Я присел на краю плота и пробую воду, поёживаясь. Вытягиваю вперёд обе руки и прыгаю головой вниз. На дне мель-

кают разноцветные камни: красные, синие, белые. Нырнув, возвращаюсь на плот. Намыливаюсь, снова ныряю и возвращаюсь. Тем временем мои товарищи тоже выкупались.

— Теперь отведите нас к месту ночлега. Дальше мы сами разберёмся...

— Так, так... Я свои обязанности выполню до конца. Шагните за мной, товарищи, — говорит Карсыга. Он оправляет на себе ремень, рубаху, вынимает из кармана маленькое зеркальце, смотрится в него, прячет в карман и двигается вперёд.

Дорожные вещи вскидываем на плечи и шагаем вверх по одной из улиц Кызыла. Карсыга подвёл нас к деревянному домику с покатою крышей:

— Остановитесь в этом доме. Заходите, товарищи.

В доме оказалось три комнаты. Они были наспех побелёны. На полу — три топчана, сбитые из широких досок. К топчанам приставлены табуретки. Посреди — железная печка. Обведя рукой стены, Карсыга говорит:

— Как вам нравится ваш ночлег? Я сам готовил, а потому интересуюсь, товарищи.

— Хорошо, очень хорошо. Людям с дороги здесь лучше, чем в раю.

Карсыга засмеялся и откланялся:

— Прощайте, товарищи, утром встретимся...

ПЕРВЫЕ ШАГИ

В ту ночь я почти не спал, думая, на какую поступлю работу. Вскочил, когда красно-бурые лучи утреннего солнца только что выглянули из-за вершины Ондума и начали лизать землю, освещая вершину Доге.

Четыре года — немалый срок. Я решил, пока не начнутся служебные часы, пойти посмотреть, как изменился Кызыл.

Наспех помывшись и одевшись, выбежал на улицу. Пробежал весь город из конца в конец. Кызыл заметно вырос. Появились хоть и деревянные, но довольно большие двухэтажные дома. На берегу реки — лесопильный заводик и другие невысокие постройки. Вдоль улиц на столбах протянуты провода. У меня появилась привычка сравнивать вновь увиденное с тем, что есть в Москве. Осматривая Кызыл, я невольно стал тоже сравнивать. Конечно, смешно равнять с Москвой малюсенький городок, но используя московский опыт и помощь, молодой город сможет успешно расти, и безусловно придёт время, когда вместо его песков, прибрежного щебня и кустов караганника здесь вырастут красивые кварталы настоящего города.

«Эх, и поработать надо! Нужен самоотверженный труд народа, партии, работников государства. Об этом ясно сказано в гениальном учении Ленина и в программе созданной им ком-

мунистической партии». С этими мыслями я вернулся в наш дом. Мои товарищи уже были на ногах—ждут меня на улице:

— А мы-то думали, что ты ещё спишь. Чтобы не разбудить, ходили на цыпочках.

Я объяснил товарищам, для чего так рано встал и пошёл по городу, но они посмеиваются:

— То ли город ходил осматривать, то ли еще куда-нибудь—кто ж тебя знает!..

Пришёл Карсыга, вынул из кармана портсигар, положил на ладонь левой руки и ударил по крышке средним пальцем правой. Бережно открыл портсигар, как будто это был особо сложный механизм, одну папиросу сунул себе в рот и протянул нам остальные. Желающих не оказалось, и портсигар поспешно скрылся в кармане, будто его хозяин хотел сказать: «Ещё раз протянешь, — чего доброго, объедятся курцы».

— Мы неплохо ночевали, даже не заметили, как прошла ночь. Один только товарищ у нас плохо спал, по этой причине он с утра уже обежал весь город, — докладывает Шагдыр.

Карсыга острит:

— Без шуток можно, а без чая нельзя. Тут недалеко.

Мы проходим мимо деревянного дома с большими оконными рамами; два этажа квадратной формы—будто один сундук поставили на другой.

— Что это за дом, тарга? — спросил я.

— Это будет помещение Центрального Комитета революционной партии. Напившись чаю, пойдёте сюда узнавать насчёт работы. Я тоже начал отсюда, а вот теперь стал одним из важных работников иностранного министерства.

Подмигнув нам, Шагдыр спросил:

— На какой же вы теперь важной работе?

— Министр иностранных дел — Дарташ, а я — н и р м а — монгольское слово, ну, по-тувински почти что заведующий хозяйством.

Теперь спрашивает Седен:

— Что это за служба? Простой человек даже слова такого не поймёт.

— О, это не маленькая должность, и не каждый человек может на ней работать. У меня на руках десять коней. Сильная чёрная машина, на которой мы вчера ехали, тоже в моём распоряжении. Приходится и жильё готовить, и дрова заготавливать, и встречать людей, приезжающих из-за границы.

— О, в самом деле большая должность, почти что сайт!

Карсыга не понял насмешки и, прокашлявшись, объяснил:

— До сайта немного не хватает, однако скажу, — когда меня нет, его работа тоже не пойдёт. Короче говоря, я правая рука у сайта, парни. Вот и столовая...

Мы вошли. В домике две маленькие комнатки. У окна си-

дят две женщины-хакаски. У первой, постарше — узкое лицо, острый нос. Сутулая. Глаза, как высохшее озеро, зияют большими впадинами. Другая — лет двадцати, невысокая, с надутыми щеками, низким носом и большими карими глазами Карсыга знакомит нас:

— В Москве учились, приехали. Нельзя ли ребятам у вас питаться, Валя?

— У нас и теперь кормится пять человек. Как же тут ещё прибавлять? А потом плата какая будет?

— Не беспокойтесь, мы недолго будем, а уплатим без разговоров.

— «Недолго будем» — это пустой разговор. В Кызыле ведь нет государственных столовых. Кроме частных, нет больше никаких. Куда же вы пойдёте,—говорит женщина, названная Валей. Она рассмеялась, будто хотела сказать: «Ну и дурной же этот парень» — и побежала на кухню. Вскоре она вернулась, неся на подносе большие куски мяса, поджаренные потувински, — каждому из нас по куску, — пирожки с картофельной начинкой и в огромном тувинском чайнике зелёный чай. Всё это она поставила перед нами.

— Садитесь и пейте чай, ребята, а плату, думаю, уж вы не перепутаете, небось, учёные — ездили в Москву учиться, — протараторила молодая женщина и, снова звонко рассмеявшись, выскочила в соседнюю комнату.

Напившись чаю и поблагодарив хозяек дома, мы вышли на улицу. Карсыга уже там.

— Вот, вот. Я жду доставить вас в Центральный Комитет партии,—говорит Карсыга по-прежнему гордо.

— К кому нам лучше пойти сначала в Центральном Комитете?

— Секретарей Центрального Комитета три человека: Бегзижап, Пюльчун и Чурмет-оол. Думаю, прежде всего по работе надо пойти к Пюльчуну, — говорит наш покровитель и быстро уходит. Идя за ним, я думаю: «Кто же этот Пюльчун? Не прежний ли наш генерал?»

Карсыга остановился у двухэтажного дома с большими рамами, оправил на себе одежду и откашлялся. На прощанье говорит:

— Поднимитесь на верхний этаж. С правой стороны будет дверь. Откройте её — там сидит тарга Пюльчун... А я пойду в иностранное министерство. Теперь вы сами обойдётесь, ребята. Прощайте.

На втором этаже мы остановились перед грязной дверью, обитой войлоком. Вокруг ручки кошма на двери была неровно порвана и оттопыривалась во все концы. Постучали. Прислушиваемся. Слышим изнутри:

— Войдите.

Мы вошли. Склонив голову над столом, сидел Пюльчун, прежний наш генерал, ездивший вместе с нами в Москву в 1925 году, делегатом. Пюльчун что-то пишет и нас не видит.

— Тарга, здравствуйте!—говорю я. Пюльчун перестаёт писать. Ещё не подняв головы, повторяет: «Здравствуйте, здравствуйте, товарищ». Увидав нас, легко, по-походному выходит из-за стола, без слов подбегает к нам, схватывает за руки, изо всех сил трясёт и горячо здоровается.

— Ба, когда же вы приехали? Вот замечательно! Как раз приехали в самую страду. Ну, садитесь. Как вы учились? Какие у вас итоги? — закидывает нас вопросами и не даёт говорить. Сажусь рядом с Пюльчуном. Товарищи сели на стулья у стены.

Покуда Пюльчун закуривал, мы воспользовались его молчанием и коротко рассказали, как ездили учиться в Москву, как учились там четыре года и теперь, закончив учение, вернулись домой. Под конец я подал ему удостоверение об окончании учебного курса.

— Непонятно мне, что такое здесь написано. — Пюльчун только взглянул на бумагу и протянул обратно. По моему примеру Шагдыр тоже показал своё удостоверение.

Седен встал и говорит:—А я приехал в отпуск. Удостоверение у меня тоже есть. Если нужно, могу показать, — и снова сел.

— Ладно, ладно, удостоверения не нужно,—говорит Пюльчун и начинает нас расспрашивать о том, как мы ехали и где остановились в Кызыле.

Мы обстоятельно обо всём рассказали.

— Очень хорошо, что вы окончили своё учение. Теперь главный вопрос, где вам работать. И нам это важно, и вам тоже. По этому поводу нам придётся посоветоваться с секретарём Центрального Комитета партии товарищем Бегзижапом. Немножко подождите тут.

Мы осмотрелись. В маленькой полутёмной комнатке два окна, три чёрных стула с шаткими ножками, диван с ободранной кожей и вывернувшимися пружинами, ничем не обитый чёрный стол. В углу свалено седло, уздечка и ещё какая-то сбруя.

На полу разбросаны спички и окурки. На стенах — толстый слой пыли, в углах — до потолка густые сети паутины.

Вернувшись в комнату, Пюльчун взял со стола одну из лежавших там папирос, зажгёт её и стал посасывать, бросив на пол горящую спичку.

— Товарищ Седен, раз вы приехали в отпуск, то подождите немножко там, где остановились, а мы подумаем, как вас можно использовать. Вы же двое идите за мной. Сходим к тарге Бегзижапу.

В другой комнате было немного просторнее, но по опрят-

ности мало чем лучше. За столом сидит коренастый человек с лохматой головой и бледным лицом. Мы поздоровались за руки.

Пюльчун доложил:

— Те самые ребята, тарга, приехавшие с учения. Познакомьтесь.

Бегзижап некоторое время сидел молча. Потом не спеша взяв папиросу, так же медленно стал доставать огонь и, закурив, приступил к опросу: как учились, когда приехали, где остановились. Мы отвечаем и одновременно всматриваемся в собеседника.

Замечаем новые подробности. Ноги у него кривые. Когда лохматые волосы спадают на глаза, он пятью пальцами правой руки, как гребнем, вскидывает их назад. Нос очень широкий. Говорит отрывисто, с хрипом, будто крикает. На вид не старый — лет тридцати.

— Так. Сегодня — завтра отдыхайте. Мы обсудим, куда вас поставить на работу. Ответ сообщим. Пока всего хорошего. — Он снова протянул нам руку.

Ровно через два дня я пришёл в Центральный Комитет справиться о работе. Ни Пюльчуна, ни Бегзижапа нет. Неизвестно, как долго ждать. В коридоре встречаю лысого толстяка. Не поймёшь, куда он больше растёт — ввысь или вширь. Казалось, что под халатом у него целый тюк шерсти. Я спросил толстяка: «Говорят, здесь есть ещё один секретарь Чурмет-оол. В какой он комнате?»

— Место, где сидит Чурмет-оол, будет вот там-с, — кланяется толстяк, вытягивая руки, как на молитве. Я узнаю в нём Манлай-оола. Всё-таки спрашиваю:

— Где я мог вас видеть?

— Должно быть, видели, когда я боролся, — говорит круглый человек, разом взмахнув обеими руками. — Хоть я и не Арзылан¹, но борюсь и пляшу, а тарга восседает вон там. Прощайте, моё почтенье.

Подойдя к указанной двери, я постучал. Ответа нет. Опять постучал. Опять ни звука. Дёрнул за ручку. Дверь отворилась. За письменным столом, положив обе руки вместо подушки и уложив на них левую щёку, сидит спящий человек. Губы и подбородок облеплены мухами. Я остолбенел. Громко кашлянул. Не просыпается. Хлопаю дверью. Тогда только человек за столом очнулся. Он вздрогнул и вскочил. Глаза у него навывкате. Сразу смекнул, что перед ним не какой-нибудь большой тарга, а просто мальчишка и нечего опасаться. Он плавно опустился в своё кресло, неохотно ответил на приветствие и начал курить. Зашёл и мой товарищ Шагдыр. Тарга не проявляет никакого интереса к нам. Сидим молча. На бри-

¹ Арзылан — прозвище известного борца, буквально: «лев».

том темени у тарги тёмно-синяя родинка. Голова совершенно слилась с бычьей шеей, рот необычайно широкий, уши непомерно большие, оттопыренные. Одет в неглаженную серую рубаху. Мы рассказали, что пришли узнать о работе и попросили его нам помочь. Тарга отвечает недовольный, позёвывает, изнемогая от усталости:

— Вам надо пойти к людям, с которыми вы уже говорили. А то сначала встречаетесь с кем-то, а потом приходите ко мне просить работу...

Меня тоже подмывает что-нибудь сказать ему злое. Чуть было не сказал: «Если у вас нет времени принять человека, то почему вы не повесили такого плаката? Ведь мы же не пришли к вам работать по найму. Учились на народные средства. Теперь пришли получить работу, чтобы уплатить народу наш долг». Эти слова были уже на языке, но я их задержал и просто брякнул: — «Значит, не хотите помочь?» — Я ушёл. Вслед за мною вышел и Шагдыр.

— Ишь, какие, — грозятся!.. Боялся я вас!.. Вон отсюда! — ревёт Чурмет-оол в пустой комнате.

В коридоре мы смотрим друг на друга в недоумении:

— Как может быть таким грубым и бесчувственным секретарь Центрального Комитета?

Оставив Шагдыра подождать, я побежал узнать, не пришёл ли Пюльчун. Оказалось, что он уже пришёл. Пюльчун сказал:

— Мы посоветовались. Решили временно тебя назначить секретарём государственной плановой комиссии. Как ты думаешь?

— Что же я скажу, тарга. Центральный Комитет, партии назначил, дал мне работу — я с готовностью пойду на неё.

— В таком случае получай удостоверение. — С этими словами Пюльчун вынул из стола бумажку тонкую и мягкую, как папиросная, с красными линейками. На бумажке сверху вниз что-то было написано чёрными буквами по-монгольски. Не зная монгольской грамоты, я положил бумажку в карман. Спросил, где находится это учреждение и как зовут его начальника.

— В новом доме перед этим коричневым домом. Его начальник — Данчай-оол.

— Какая мне предстоит работа? Пожалуйста, объясните хотя бы совсем коротко, тарга.

— Не могу объяснить. Учреждение только что создано...

Я подумал: «Открыли учреждение, а сами не знают, в чём состоит его работа, ну и люди!»

— Передай своё удостоверение Данчай-оолу. Он тебе объяснит, — сказал Пюльчун добродушно, словно хотел смягчить моё удивление.

Прежде, чем уйти, я рассказал Пюльчуну о поведении

Чурмет-оола, об ответе, который он мне дал. Ведь Пюльчуна я хорошо знал ещё с того года, когда была создана народно-революционная армия. Лицо его покрылось красными пятнами. Он, в свою очередь, посмотрел на меня с изумлением:

— Пусть так. Я выслушал, но об этом нигде не распространяйся. Знай только про себя. — Пюльчун нервно заходил по комнате, потом, так же ничего не говоря, сел за стол и начал курить. Затягиваясь дымом, он барабанил пальцами по столу и говорил будто не мне, а скорее чтобы себе что-то уяснить: — Ведь это сын бедного арата, пришедший из восточного хошуна. Откуда у него такой чиповничий нрав... Так, так, иди, куда тебе сказал, а я пойду к тарге.

Шагдыр меня ждал. Я спрашиваю его:

— Как не похожи друг на друга секретари Центрального Комитета. Поразительно. Как думаешь, товарищ?

— Потом, видно, поймём, — ответил Шагдыр.

Я двинулся в новый «коричневый дом». Данчай-оол угрюмо взглянул на меня:

— О, старый знакомый! Когда и откуда приехал, куда теперь собираешься?

Я в нескольких словах рассказал мою биографию, объяснил, что пришёл к нему работать и протянул удостоверение. Лицо Данчай-оола быстро менялось, когда он читал мою бумажку: сначала вспыхнуло, потом стало бледнеть и под конец сделалось совсем серым. Я подумал: «Видимо, он подозревает, что меня послали работать вместо него, вот и оторопел».

Прочитав удостоверение до конца, Данчай-оол пронзительно свистнул и захохотал:

— Мы будем вместе работать, превосходно, парень! Как у тебя с грамотой?

— По-русски писать умею.

— Русская грамота — пусть она и хорошая, но дела-то у нас ведутся ведь на монгольском языке, — нахмурился Данчай-оол. — Как быть с тобой?

— Научусь и я. Надеюсь, вы поможете мне.

— Так-то так, но всё-таки вопрос этот очень трудный, — говорит начальник, и лицо его становится похожим на лицо каменной бабы.

— Я запросил из Центрального Комитета умелого работника, а мне присылают неграмотного ученика.

— Вы знаете монгольскую грамоту, а я — русскую. Что же тут плохого? А по-тувински мы с вами оба неграмотные.

— Ладно, нечего спорить! Идите сюда, — покажу ваш кабинет.

Мы пришли в комнату, перегороденную надвое тонкими неоструганными досками. Здесь стояли две табуретки и стол в углу.

— Будете работать здесь. Ясно?
— С какой работы начать?
— Ээ, с работой не торопись. Уже свыше шести месяцев, как нас учредили. За это время никто не указывал мне, с чего начинать и что делать в нашем учреждении, — сказал он и зашел песенку:

К чертям дела — делишки! ---
Спокойно дни пройдут.
А денежки -- харчишки
От нас не уберут.

Потом выбежал, с шумом захлопнув дверь. Я посидел за столом. Что же мне делать здесь?

В РОДНОМ ААЛЕ

Видя, что на работе меньше дела, чем в отпуску, я выпросился на несколько дней и верхом на коне поехал по уртелям к родным на Каа-Хеме — в Терзиг и Мерген. Переправился на пароме у Хая-Бажи. На уртеле в устье реки Бурен сменил коня и той же дорогой, по которой я в 1921 году пешком гнался за наукой, поехал тихой рысью вверх по правому берегу Каа-Хема.

По обеим сторонам дороги хлеба уже дошли до спелости «белого сыра», как у нас говорят, а кое-кто уже орудует серпом. Я жадно всматриваюсь в очертания Кундустуга, Копту-Аксы и Сарыг-Сепа, где я рос.

Внешне кажется, что аалы и селения в долине Каа-Хема остались точно такими же, какими они были раньше. Но стоило присмотреться пристальней, поговорить со знакомыми, — и сразу стало видно, как поразительно изменилось положение кочевых аратов и оседлых крестьян. Все владения, посевные поля и пастбища чолдак-степанов, мелегиных, масловых перешли в руки крестьян, которые создали ТОЗ — самое простое объединение земледельцев для совместных работ. Они привезли из-за Саян различные машины: косилки, жнейки, сноповязалки. Крестьяне вдохновенно, с песнями работали у дороги.

Я заехал к тозовцам, ещё не добравшись до моей Мерген. Елизаров, Спрыгин Мокей и другие красные партизаны, завидя меня, приостановили работу, и подбежали к дороге.

— Оо, земляк наш! Откуда? Когда объявился? Возмужал, вырос, брат, тебя не узнать!

Второпях, нескладно рассказываю, «откуда, когда объявился», но люди становятся всё ненасытнее в расспросах и рассказах.

— Видишь, мы работаем вместе, — говорил Елизаров. Его тоже не узнать: стал здоровенным детиной, побрил бороду и усы. — Беднякам трудно было работать в одиночку — мы начали объединяться, теперь стали хозяевами всех богатств.

Спрыгин Мокей присоединился к нему:

— Начинаем жить по учению Ленина. По-новому жить учимся.

— Вот правильно! Вот хорошо!

Изменились и песни молодежи. Вместо прежних «Колечко-девицы» и «Последний нынешний денёчек» слышу теперь:

Ходят — плявут пароходы
по просторам морей.
Шутки и смех комсомольцев
среди девчат всё звончей.

Ясно вижу, какие всходы дали слова, сказанные нам раньше в этих местах коммунистом Мыкылаем.

Спрыгин, заикаясь, говорит:

— Вот окончил ты учёбу и приехал. А теперь не лучше ли тебе оставаться у нас и поступить в ТОЗ, паря?

Я ухватил грабли, пошёл сгребать только что скошенную полосу и по старой привычке вязать снопы.

— Уж чего, говорю, лучше. Если Центральный Комитет разрешит, я готов к вам приехать. Но вы-то меня примете?

— Ещё бы, кого же тогда принимать! — горячо откликнулся Елизаров. — Помним, как ты мальчишкой работал. А теперь вот какой вырос. Подавай только заявление.

Пока я разговаривал со старым Елизаровым и Спрыгиным, объявили перерыв. Мы поехали в полевому стану. Бывшие в поле русские крестьяне-тозовцы стали сходитьсь сюда. Каждый называл меня по имени. Мне была безмерно дорога искренняя встреча мужественных, суровых людей, которые научили меня крестьянскому труду и ласково по-своему называли меня:

— Земляк приехал!.. Наш Фоченька-Точенька!..

— Насовсем — насовсем приехал, да?..

Я рад, что могу ответить хоть так:

— Да, насовсем и пока никуда не подамся. Буду работать в Туве.

Когда все тозовцы собрались на обед, я рассказал им о Москве, об учёбе и дороге. Я отвечал на все вопросы так, как их понимал; на душе было безгранично радостно; меня поднимало сознание того, что родина показала мне, как надо учиться уму-разуму, и дала возможность отвечать на вопросы людям, которые в трудные дни встретили меня приветом и поставили на ноги. Осведомившись о здоровье и жизни людей, среди которых я рос, отблагодарив их за добрую память и радушие, я поехал дальше к родным.

Позади хлебные поля Сарыг-Сепа. Въезжаю в Усть-Терзиг шагом, а сердце торопит ехать скорее. В этом дворе живут Рощины. Они люди спокойные и не любят, когда сердце прыгает в груди.

Подвязал коня к изгороди и зашёл сразу к Рощиним. Мать Данилки, слепого Ваньки, Веры—Наталья Васильевна с младшей дочкой были дома.

— Здравствуйте, Наталья Васильевна!

— Здравствуй, Настя!

— Здравствуй... Чей будешь?

— Наталья Васильевна, вы, как старый Севастьян, не узнаете своего друга-крестьянина. — Я назвал себя.

— Ой, что со мной! И точно ты! Подойди-ка сюда поближе.

Я подошёл. Она схватила мою голову и поцеловала несколько раз в лоб. Краем платка закрыла глаза и села на своё место.

Молчали. Я нарушил тишину.

— Как живёте? Как ваше здоровье, Наталья Васильевна?

— Спасибо. Как видишь. Вдвоём с Настей остались. Ты знаешь, Данилка давно обзавёлся семьёй. Ванька тоже взял Лубошникову и отделился от нас. О Вере тоже знаешь.

Старуха опять вытерла глаза.

Жена привезённого Чолдак-Степаном с реки Ус батрака Рощина, мать Данилки, Ваньки, Веры и Насти Наталья Васильевна очень постарела. Её лицо поблекло и покоробилось. Согнулась стройная спина, грудь впала. Походка её раньше была всем на зависть, а теперь в руках палочка. Я искал вокруг следы своей юности, но всё изменилось, стало не тем, чем было. Выросли мои сверстники, обзавелись семьями, пошли своими дорогами. Здесь, в домике, где живут Верина мать с младшей Вериной сестрёнкой, и воздух будто чуть потускнел, и стены как будто почернели. Только остались, как были, светлыми и юными воспоминания о Вериной дружбе, о встречах с нею...

Прощаясь, я сказал Наталье Васильевне:

— Передайте привет всем, с кем не успел проститься. Прощайте. Спасибо.

— Не за что. Спасибо, заехал. Рос ты на моих глазах — и вот уже мужчина! Пусть бог тебе даст хорошую работу! Я стара — всё может случиться, дай-ка поцелую тебя.

Согретый тёплым дыханием Натальи Васильевны, я вспомнил расставание с моей матерью и с моей Верой. Мужчиномужчиной, а пришлось выбегать самым проворным образом и спешно вдевать в стремя ногу, чтобы не разреветься в женском обществе.

Погружённый в свои думы, я не заметил, как подкрался вечер. Прохладный ветер с Усть-Терзига обдал чудесным дыханием девственной природы. Растительность в долине Терзи-

га ещё сочная и зелёная. Деревца, выросшие после меня: берёзы, лиственницы, ёлочки, черёмушки, топольки — покрыли пустыри. Трудно найти уголки, где я в детстве бегал, играл, где пас скот, ходил по ягоды и ловил рыбу. Изменились люди, изменилась и природа.

«Всё течёт, всё изменяется» — вспомнил я изречение древнего философа, и на душе повеселело. Ещё солнце не закатилось, как я подъехал к аалу в Арыг-Бажи. На месте стоят старая лиственница-шаманка¹ и поколение молодых деревьев, только последние заметно выросли. Я привязал коня к коновязи и зашагал к юртам. Девочка с короткой косичкой, белолицая, выбежала из низенькой избушки и стала всматриваться в меня.

— Здравствуй, Маакай, — сказал я, целуя её волосы.

— Здравствуй, дядя! — воскликнула она, заикаясь. — Мама и братья на поле. Скоро придут.

Мы вошли в приземистую избушку. Здесь не осталось и следа от нашего чума. У задней стены стояли красные сундучки с узорчатой позолотой, а рядом, — хоть и деревянные, но ладные кровати, шкафчик для посуды. В углу, как у русских крестьян, — печка и на ней булки хлеба, покрытые полотенцем. Пол начисто вымыт.

Пока я вынимал вещи из мешка, сбежались дети соседей. Я rozdal малышам конфеты и сладкие печенья. Среди копошащихся «муравьёв» были мои племянницы Маакай и Будуней. Старшая из них Маакай разжигает дрова и кипятит чай. Здорово повзрослела маленькая: завела себе тонкую косичку, подвесила к ней бусинки. Стала явно похожей на своего отца Данилу Потылицына: светлоголовая и прямоносая с большими серыми глазами.

Пока Маакай угощала гостей, вернулась домой Албанчи. Остановилась у входа, не то смеётся, не то плачет. Пошатнувшись, она повисла на моих плечах. Успокоилась — и уже осматривает меня сияющими глазами:

— Как ты вырос, крепким стал, а одежда, как у сайта!.. Боже мой, как хорошо, что ты приехал.

Я спросил о её здоровье.

— Я чуть не умерла, но всё-таки поправилась. Видишь моё лицо, сынок? Одного глаза нет. Он всё худел с тех пор, как меня выпорол Даш-Чалан, и вот совсем высох.

Я отвернулся, чтобы сестра не заметила моего сочувствия и жалости.

— Ну да это всё прошло. Лучше поговорим о новом... Как много ты нам привёз подарков! — сказала она и принялась

¹ Лиственница, считавшаяся священной; подле неё совершались религиозные обряды.

шарить в моём мешке: — Зелёный чай—очень кстати. А то у нас его мало осталось — ты верно угадал. Нужен и табак... О, далемба! Обновим наши халаты. Шёлковый платок — для Кангый, гребешки — для Маакай и Будуней, а конфеты и сладкие печения раздадим детям аала. Топор и перочинный нож — братьям пригодятся: Бежену и Шомуку. Они тоже здесь. Ну, а этот мешок пригодится для зерна.

Весть о том, что из Кызыла пришла земляк, быстро распространилась по Терзигу. Близкие родственники пришли все. О, как мало я о них думал раньше! Не умел думать даже о судьбах моих маленьких племянниц Маакай и Будуней.

В Москве я часто видел, как люди по-настоящему заботятся о других.

Вот они — мои самые близкие и родные: Албанчи, Шомуктай, Кангый, Бежендей, Маакай, Будуней.

И раньше мы называли старшую сестру Албанчи нашей второй матерью. А сейчас, тем более, никто не признал бы в ней нашу сестру, — так постарела наша вторая мать. К тому же окривела, потеряв один свой лучистый глаз; лицо припухло и стало бескровным — берестяным. Мой приезд взбудрил её, она старалась смеяться, казаться ещё сильной, но болезнь и страдания выдавали её.

Шомуктай только что освободился от непосильных работ на тоджинских баев, но было уже поздно: долгие унижения сделали его душевно больным. Недаром в народе говорят: «Секира человека ранит — несправедливость душу калечит». Шомуктаю за сорок, а он ведёт себя, как недоразвитый подросток, дичится людей, от работы бежит, как свинья, напуганная побоями, ни о чём не спрашивает и ни на чьи вопросы не отвечает.

Феодализм обездолил аратов, высосал у иных вместе с физическими силами также силы душевные. Доказательство этого я нашёл в брате Шомуктае.

Второй брат — Бежендей закалился и расцвёл в новой молодой Туве, очень бодр, давно в партии, активист, участвует во всех собраниях арбана, его избрали в члены сумонного хурала. Население любит его и зовёт «наш сайт». Женился на дочери Мунзума, живут в семье весело, дружно...

К близким родственникам присоединились жители терзигского арбана от мала до велика и более дальние гости со всей округи. Они приходили не с пустыми руками: кто с айраном и сыром, кто с кожаной флягой араки, а охотники, будто решили не отставать друг от друга, навалили мяса. Маленькие хозяйки еле поспевали принимать гостинцы и подавать на стол.

А люди всё ещё приходили и усаживались за порогом.

— Говорят, есть летающая лодка. Сядешь, говорят, —

поднимет тебя, как коршун суслика,—заговорил хриповатым голосом кузнец Кыдат. — Это правда, сынок?

— Сам не ездил, но издали видел, как летают самолёты...
Бежедей спрашивает:

— Говорят, все эти самолёты, железные дороги, фабрики, заводы в руках народа, а не у баев, и там тоже для работы объединяются, как русские Сарыг-Села. Это правда, братик?

Я долго говорил, стараясь проще и яснее ответить на злободневные вопросы.

Давно уже ночь. Люди слушают, не хотят расходиться. Наконец, стали прощаться члены терзигского арбана, приглашая каждый к себе. Мы с братьями, сёстрами и дальними гостями проговорили до рассвета.

Назад в Кызыл я поехал через Усть-Терзиг по Каа-Хему на лодке.

ОТТУК-ДАШ

Приехав в Кызыл, я сразу вышел на работу. Мой начальник Данчай-оол вызвал меня к себе:

— Ищут тебя из ЦК партии, ступай туда. — Он усмехнулся: — Ты только что поступил на работу, а тебя сразу вызывают. Это неспроста.

— Если что-нибудь не так сделал, ЦК укажет на это, так что тебе незачем гадать, — ответил я и пошёл к Пюльчуну.

— Ты мне очень нужен. Есть важное дело. Садись...

Всё ещё недоумевая, я сел на стул и ждал, что мне скажут.

— Сейчас в хошунах проводятся собрания. Защищая дело класса, ломаем крылья феодалов и лам, разносим их в пух и прах. Одно из таких собраний состоится в Шагонаре. Тебя назначили туда в числе товарищей от имени ЦК. Твои спутники Санча—секретарь ЦК молодёжи, Богданов—работник ЦК партии. Поедешь с ними.

— А наши обязанности? Кто подскажет их, тарга?

— Сами сообразите. Если там сойдётся, вернёте их в нужную колею. Ясно?

— Там виднее будет, — согласился я.

— Вот-вот. Правильно говоришь, что там видно будет. Важно разъяснять, но разъяснять надо понимая. Если сам не понимаешь, а хочешь показаться знающим—хуже всего. Твоя главная задача—объяснить араатам нашу линию и вывести их на правильный путь.

Ясно и понятно было одно: нельзя даром тратить время — и я бодро ответил:

— Ясно, я готов.

Чтобы как можно быстрее добраться до Шагонара, мы сели на «чёрную птицу» министерства иностранных дел, которую ведёт наш старый знакомый—первый шофёр Тувы Дажи. Ос-

танавливаясь в пути десятки раз, то ремонтируя, то просто толкая машину сзади, мы проехали кое-как семьдесят пять километров и прибыли в местность Оттук-Даш.

Пленительно красивы и прохладны просторы Оттук-Даша, когда проезжаешь по его лугам! Эта прекрасная местность в старое время пользовалась печальной известностью. Раньше сюда съезжались чиновники-тужуметы со всей Тувы. Здесь рассматривались судебные дела хошунов и сумонов. Известно, сколько невинных тут было изувечено шаагаем и другими орудиями пыток, скольких «засудили» насмерть. Счёту не поддавалось. Именно об этом поётся в песне «Сделают сбор в Оттук-Даше. Его дело рассмотрят там»...

Вспоминаю также об Оттук-Даше в годы революции в Туве, в годы национально-освободительного движения аратов.

Победил великий Октябрь. Араты Тувы и Монголии, по примеру рабочего класса России, подняли мозолистые руки, разогнули согнутые спины — начали историческую борьбу против своих кровных врагов — феодалов и пойонов. В селениях Тувы — то там, то здесь, — проходили совещания рабочих, собирались партизаны.

Карательный отряд Ян Ши-чао, шедший из Уланкома через Хандагайты, Чадан и Шагонар по направлению к Кызылу, чтобы подавить национально-освободительную революцию в Туве, в 1920 году остановился именно здесь, на Оттук-Даше.

«Немногочисленны тувинцы. Здесь, на красивых зелёных лугах, пусть отдохнут кони, войска, и сам я отдохну. За сутки доберусь до Хем-Белдира и заставлю их встать на колени», — бахвалился Ян-Ши-чао.

Тувинские феодалы, как щенята, кружились у ног Ян Ши-чао, повторяя: «Всё будет так, всё это справедливо. Его превосходительство не скажет чего-нибудь не так».

— Завтра, послезавтра двинемся. Красных, как только встретим, сотрём в муку — говорил Ян Ши-чао, раскуривая огромную трубку. — Но нельзя ли перехитрить их, господа, чтобы у нас не было ни единой потери?

— Я давно думаю об этом, — откликнулся старший тужумет, поклонился до земли и спросил: — А ваше превосходительство что придумали? Можно услышать?

— Небольшое число красных под предводительством Экендея идёт поклониться нам. Они остановились на одной из вершин Оттук-Даша. Разбили палатки. А что, если этого Экендея пригласим — одного, для «переговоров» — и схватим? — улыбнулся Ян Ши-чао и опять засосал трубку: — Правильно, тужуметы?

— Умное предложение! — воскликнул старший тужумет, и все поклонились. — Вряд ли, ваше превосходительство, мы пришли бы к такому тонкому заключению.

— Значит, всё. Секретары! Тонкого пера да бумаги пошире — в красных линейках!

Худой мужчина в мягких чёрных тапочках, в халате из чёрного шёлка с блестящей чёрной косой на голове и в чёрной тюбетейке, с лицом серым, как пепел, сел перед его превосходительством, готовый писать. Ян Ши-чао диктовал:

— «Дорогой генерал красных партизан господин Экендей! Часть карательных войск Китая, многочисленные мои войска готовы к бою с красными. Сегодня и завтра, если против нас будут любые силы, мы готовы нанести смертельный удар. Чтобы не было кровопролития, я предлагаю вам следующее: между нашими войсками мы поставим юрту. Придите туда без сопровождающих, я тоже буду один. Тогда мы договоримся обо всём. Если вы, дорогой Экендей, согласны со мной, то я прошу завтра вечером, когда солнце сядет на вершину Оттук-Даша, пожаловать. Готовый к услугам Ян Ши-чао. Жду самого скорого ответа».

Ян Ши-чао приказал писарю отправить письмо с наиболее надёжным арафом.

— Скорее отправляй. Пусть подумают. И я подумаю. — Сказав это, он налил себе араки в китайскую серебряную чашку, выпил залпом и лёг спать. Старшие предводители прилегли рядом, а прочие тихо попятились и скрылись.

В это время в стане Экендея красные партизаны рыли окопы и смотрели в бинокли. Стан Ян Ши-чао выглядит внушительно: много палаток и юрт; на вершине Оттук-Даша стоит их пушка, около тысячи солдат к чему-то готовятся.

Разведка партизан зорко следила за движением в карательном отряде. Вдруг на дорогу выскочил всадник. Дежурный доложил Экендею. Тот приказал:

— Не упускать из виду. Наблюдать, куда всадник едет! Не стрелять. Если подъедет, навстречу выслать невооружённого партизана.

Партизан Частып сел на гнедого конька и помчался навстречу. Немного спустя Частып привёл тувинца, одетого в рваный халат, с поясом из далембы.

— Вот он. Не отвечает на мои вопросы, товарищ Экендей. А гонец говорит с досадой:

— Что мне с тобой возиться! Кто ты такой? Не знаешь людей, суёшься и ни в чём не разбираешься. Я—простой тувинский бедняк. Может, вам пригожусь — ведь с умом делается всё.

Частып растерялся и вышел. А пришедший араф вынул из пазухи консерв и передал Экендею.

Экендей прочитал письмо и, держа его в руках, вопросительно взглянул на гонца. Тот представился:

— Я бедный араф из Шагонара. Зовут меня Хомушку Сузукпен. Меня забрали в войска. И многих других пригнали к се-

бе; большинство такие, как я. Если будет вдобычий случай, все тувинцы разбегутся. У нас такое настроение. Потом, на переговоры не надо вам являться одному. Это, кажется, для вас хотят поставить капкан.

— А что вам, если даже... меня поймают? Есть у нас храбрые партизаны, освободят.

— Ээ, вряд ли. И со мной всё может случиться: отвезу ваш ответ, — пожалуй, повесят меня или расстреляют.

— Почему так думаете?

— Приказали, не въезжая в ваш стан, получить ответ, а я сюда прискакал. Они смотрят с вершины Оттук-Даша одной штучкой.

— Что за штучка?

— Не знаю, как называется. На треноге, как свисток для охоты на оленей, раздвигается, с чёрными стёклами.

— Ладно. Выйди и пожди. Напишу ответ. — Арат вышел. Ответ был такой: «Дорогой генерал! Получил письмо. Привёз тувинец без имени. Я согласен явиться один на указанное место завтра вечером. И здесь в записке, и завтра вам лично скажу то же самое: уходите на свою родину, Тува решит свою судьбу сама, нам поможет Советская Россия. От имени тувинских партизан желаю вам добра Экендей».

Отправив ответ через того же гонца, Экендей созвал командиров частей и ознакомил их со своим планом.

— Поетм один. Если что. — освободите меня.

— По-моему, это наивная мысль, — заговорил Сергей, усмехаясь. — Добровольно идти в когти врага! Не нравится мне такая стратегия.

— Я тоже, как Сергей, думаю, — возразил решительно Частыл. — Я против того, чтобы отпускать вас одного.

Решили начальники партизанского штаба не отпускать Экендея одного. Ещё решили усилить караулы и держать пулемёты готовыми к бою...

Через два дня, на рассвете, когда ещё не проснулись дневные птицы, караулы заметили пыль перед Оттук-Дашем.

Об этом было доложено Экендею и усилено наблюдение.

Прошло несколько минут. Конные и пешие войска ринулись прямо на ставку партизан.

Партизаны ждут, не выходя из окопов. Впереди войска Ян Ши-чао. Большинство солдат—тувинцы, но среди них—каратели в чёрных мундирах. Один из карателей на белом коне, с саблей и револьвером, выскочил на холмик, вынул саблю и махнул в сторону партизан. Тогда всё это множество, как овечья отара, преследуемая грозой, хлынула вперёд.

Партизаны подпустили разноцветные войска Ян Ши-чао шагов на сто, открыли пулемётный огонь и пошли в контратаку.

Со скалы загремела пушка, но она была нацелена туда,

где чернели окопы, а когда орлы Экендея стремительно и дружно взлетели, между двумя войсками образовалось, как артиллеристы говорят, мёртвое пространство, и снаряды разрывались далеко позади партизан. Ещё ужаснее для Ян Ши-чао было поведение мобилизованных им аратов: они разошлись, пожелав партизанам здоровья.

Собрав оставшихся в живых солдат в чёрных мундирах, оставив убитых и раненых, Ян Ши-чао отступил в западные хошуны. А партизаны возвратились в Хем-Белдир. Так ещё раз вошёл Отгук-Даш в историю.

Пока я погружался в минувшее, Дажи досыта напоел «чёрную птицу». Бедняга уже готов править сю и укрощать на самовольных остановках.

УДИВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Мы догоняем двух всадников: араты с перекидными сумами на седле скачут вровень с нами.

Санча от души хохочет и кричит:

— Скорей, скорей, ребята!.. Друг! Ещё нажми!

Но всадники не отстают: рвутся вперёд, будто ловят необъезженный молодняк уруком,¹ совсем припали к шеям перепуганных лошадок.

— Скорей, скорей! Стыдно будет, если кони опередят нас... Я тебе дам, окаянный! — сердится Санча. Крутя баранку, нажимая ногами на педали, Дажи по примеру всадников наклонился вперёд, будто этим поможет «чёрной птице» лететь.

Машина перегнала первого всадника, из его сумы вылетела дорожная чаша, а потом и ещё какие-то вещи из перемётной кладки.

Санча хохочет, показывает пальцем в сторону арата и топчит беднягу Дажи ударами в спину:

— Нажми!.. Ещё!..

Я не выдержал:

— Зачем потешаешься над людьми, которые мирно едут своей дорогой? Оборвались бы подруги, споткнулась бы лошадь, и кто-то изувечился. Ведь это было бы для нас, едущих в командировку, не очень приятно!

Санча рассердился: рябое лицо налилось кровью, как шея козули. Сечёт меня косым взглядом.

— Тебе-то какое дело? Не тебе учить меня. Ты чёрт знает кто, а я секретарь ЦК молодёжи.

— Говорю вам именно потому, что вы на большой должности, — ответил я. — Был бы на вашем месте шальной парень, — я смолчал бы. Шальному излишне говорить. Вас вы-

¹ Урук — шест с ремённой петлей для поимки лошади.

двинули, чтобы вы хорошее делали для народа, а не для того, чтобы смеяться над ним.

Санча нахмурил брови, прикусил губы, готов от злобы лопнуть.

— Прав он. Зачем попусту обижаться, товарищ Санча, — поддержал меня Богданов.

Приехав вечером в Шагонар, мы остановились в гостеприимной татарской семье Ланшановых, знакомых Дажи.

Я встал на рассвете. Санча куда-то ушёл с вечера. Богданов спал. Будить товарища не хотелось, и я один пошёл к зданию райкома партии.

На возвышенной окраине Шагонара виднелось около пятидесяти чёрных и белых юрт. Среди них — двухкомнатный домик без крыши. Взад и вперед снуют люди, приехавшие на конях и волах. Пройдя поток людей, я подошёл к домику. Там, в сырой низинке, грели воду в тридцати чугунных чанах, резали больших, как гора, жирных волов. Одни резали мясо на куски, другие — жарили на кострах. Тут много было и собак. Готовился большой той.

— Что здесь? Для чего режут волов? — спросил я у соседа-арата.

Он осмотрел меня с головы до ног, а потом с ног до головы, и усмехнулся:

— Новичок? Не понимаешь? Этих волов конфисковали у феодалов-баев, чтобы прокормить участников собрания. Возможно, собрание продлится свыше десяти дней. Разрешено сверху. Скоро сварится мясо, приходи, поешь, дружок. Вижу, тебе с трудом достаётся съестное.

Пригласив меня на пир, сосед скрылся в толпе. Я ужаснулся... Вхожу в помещение райкома.

В небелёной комнате от разбитых стёкол, разбросанных окурков, комьев бумаги, спичек было, как в осеннем лесу после листопада. В комнате сидел Санча и ещё двое. Я поздоровался и спросил, где секретарь райкома.

Санча ответил, указывая на соседа:

— Вот он, Донгурак-тарга.

Достаю из кармана удостоверение и подаю Донгураку. Он торопливо, как ламы, читающие судур¹, шевелит губами, вертит бумагу то в одну, то в другую сторону и возвращает мне.

— Когда состоится собрание, тарга?

— Мало собралось народу, всего лишь триста пятьдесят человек. Ещё подождём. Придут все, кому положено прийти.

Он достал из-за пазухи кисет с колокольчиком, а из-под голенища — трубку и закурил.

— Вы уже решили, как провести собрание? — спросил я. — Возможно, есть повестка, набросок доклада?

¹ Судур (сутра) — священная буддийская книга.

— Повестки и набросков не нужно. Народ соберётся на лугу у города, я открою собрание— и всё. Потом пусть выскажутся, кто хочет. Тут ни сложного, ни страшного ничего нет.

Сидящие одобрили его слова.

В это время пришёл Богданов и потребовал послать в аалы людей оповестить народ.

Солнце поднялось. Жарко. Со всех сторон подъезжают новые люди — на конях и на волах. Лысый Донгурак, наш спутник Санча и ещё человек десять усаживают аратов на лугу в круг, наперебой кричат, словно сгоняют овец в овчарню:

— Много будет народу! Ближе друг к другу! Не хватит места! Теснее!

Мы с Богдановым тоже уселись в кругу.

— Что за проклятые собрания, — жалуется пожилой арат соседу. — Хлеба созрели, пора самая для жатвы. А ещё надо готовиться к зимовке. Дел и так много.

— Ещё бы, старина! И я хотел уклониться, но не вышло. Сказали: обязательно надо присутствовать.

На середину людского круга вышел Донгурак. Он был в тувинских идыках с толстыми подошвами. На нём шёлковый красный халат, жёлтый шёлковый пояс на серебряной цепочке, китайская тибетейка.

Некоторые встали, постояли и снова сели. Тишина.

Донгурак, осматриваясь и откашливаясь, заговорил высоким женским голосом:

— Дорогие граждане! По поручению Улуг-Хемского хошкома¹ партии объявляю открытым одиннадцатое собрание классовой борьбы. Председателем собрания, как и раньше, буду я. Нет против? И не должно быть! — Он снова осмотрелся и продолжил: — Докладчиком тоже буду я. Вряд ли найдутся против. — Опять осматривается. Все молчат. Донгурак докладывает:

— Товарищи граждане. В нашей стране в 1921 году произошла революция. Идёт девятый год, мы на пороге десятого года. Но за это время ещё не полностью утвердились права аратов. Баи ещё держат скот в своих руках, батраки ещё работают на них бесплатно. Ламы читают книги, лечат, шаманы ещё камлают, гремят бубнами. Справедливо ли это? Нельзя больше терпеть. А ещё остались пережитки старого, ещё носят ножи с кремнёвой зажигалкой, ещё растят кежеге², под которым обычно полно всяких штук. Это совершенно не годится. В пример другим я бросаю мой нож. — Он сорвал нож с пояса и бросил в середину круга на землю.

Народ сидел в недоумении. У кого-то вырвалось:

— Ха-а-а! Ай-ай-ай! Вот тебе раз!

¹ Хошком — хошунный комитет.

² Кежеге — коса у мужчин.

— Не нужно и кежеге. Лопсан! Где ты? Давай ножницы, — приказывал Донгурак, — режь моё кежеге — остаток тёмного прошлого...

Из народа вышел пожилой человек. Голова у него лысая. Темя гладкое и покатое — не видно, где лоб начинается и где кончается.

Донгурак расставляет ноги пошире, кланяется на все стороны, будто его хотят казнить, и закидывает за спину своё кежеге, перевитое пекинской ленточкой. конец которой украшает его грудь:

— Скорей, скорей, режь кежеге!

Лопсан подошёл к Донгураку, стоявшему чуть согнувшись, приподнял жиденькую косицу и быстро отрезал её. Он держал ненавистное кежеге, как держат суслика за хвост, встряхнул и бросил в круг. Присутствующие втянули головы в плечи, сидят ниже травы, тише воды.

Оглядев свою только что отрезанную косицу, Донгурак прокричал:

— Видите, дорогие граждане! Я в борьбе с пережитками прошлого не словами, а делом лично участвую. Кто берёт с меня пример?

Люди крепко держались за концы своих кос, словно боясь, как бы вдруг не отрезали их. У некоторых лица побелели, посинели и пожелтели — будто им вот-вот снесут головы.

— Лопсан! Тевек-Кежеге! Частып! Баян-Далай! Где вы? Куда скрылись? Кого ждёте?

На зов Донгурака встали свыше десяти молодцов. Подобрали подошлы, засучили рукава. Ищут мужчин с косицами. Схватывают и режут — чик, чик, чик — под самый корень, только ножницы звенят!

Люди схватывали себя за голову и ощупывали места, где росли кежеге, искали их остатки среди множества им подобных, осуждённых сегодня на казнь. Носители исчезнувших кежеге сидели молча, другие отчаивались и проклинали вслух. Кое-кто вырывал отрезанную косицу и сложив аккуратно, прятал за пазуху. Были и такие, которые схватывают соседа за косу, отсекают охотничьим ножом и бросают в круг: — вот, мол, не одному мне ходить без косы, — и, вытирая пот, усиленно курят.

Некоторые, чтобы не дать отрезать кежеге, вскакивают на коней, но их догоняют, сваливают на землю и срезают с головы исторический пережиток. Доходило дело до драки, особенно когда молодчики Донгурака, разгорячившись, принимались резать косы у женщин.

Собрание по классовой борьбе в тот день состояло в срезании кежеге.

Молодцы Донгурака, будто добились крупной победы в

бою, ходили, спесиво подбоченясь. Сожгли целую кучу «перешитков». Весь вечер в городе пахло волосяной гарью.

Вечером состоялся серьёзный разговор между мной и Донгураком.

Донгурак закинул ногу на ногу, уткнул руки в бока и, глядя на меня в упор, сказал:

— По-моему, я правильно провожу собрание классовой борьбы. Если ты считаешь нашу революционную работу левым уклоном, то твоё предложение есть правый уклон. Потому что ты не хочешь трогать тёмные привычки народа и, кроме того, ты против конфискования скота, — защищаешь феодалов и баев.

Утром на том же месте состоялось общее партийное собрание.

Донгурак точно так, как вчера, вышел в середину круга, расставил ноги, огляделся, прокашлялся и, скрестив руки на груди, как Наполеон, произнёс такую речь:

— Дорогие товарищи, члены партии! Мы вчера справились с первостепенной задачей — с работой по уничтожению кежеге и ножей с кремнёвым запалом, представляющих собой признаки заблуждений народа. Дальнейшая наша задача — решить вопрос о том, сколько скота оставить у аратов и сколько конфисковать. Моё мнение таково, я посоветовался и с другими людьми, — будет правильно, если оставить для каждой семьи по двадцать пять голов, а остальное конфисковать. Мы собрали членов партии именно с целью обсудить этот вопрос. Поговорив здесь, мы примем на собрании классовой борьбы единогласное решение. Кто имеет слово по этому поводу?

Он присел на корточки и закурил.

— Дайте я скажу несколько слов, — поднялся вчерашний Онгар-Лопсан, и, высморкавшись, заговорил в нос: — Предложение Донгурака обоснованно. Вполне подходяще оставить для семьи двадцать пять голов и остальную часть отобрать. У меня всё.

— Можно мне? — спросил опрятно одетый арат и, не спеша, чётко выговаривая слова, сказал:

— По-моему, неправильно и нетактично предложение секретаря райкома Донгурака, поддержанное Онгар-Лопсаном. Мы ещё не тронули Сонам-Баира, у которого тысячи голов, также Бай-Хелина, который ещё богаче. Удивительно, почему нужно конфисковать пятьдесят—шестьдесят овец у тех, кто их растил собственными руками, кто не был никаким тужуметом. Заранее говорю, что голосовать за это предложение не буду.

Он сел. Я спросил, кто он по имени. Мне ответили, что он тёзка нашего водителя Дажи.

Среди сидевших в кругу много было согласных с Дажи.

Следующим встал я, вышел на середину круга, стал говорить о том, что руководители хошуна искажают линию партии, делают собрание аратов вредным оружием для врагов. Сейчас дело не в кежеге. Скоро араты научатся грамоте, разберутся и в том, нужно или не нужно растить на голове косы. Сейчас это используют классовые враги. Они скажут: сегодня, мол, отрезали кежеге, завтра снимут тувинскую одежду, а потом отнимут жён. Предложение товарища Донгурака неправильно и вредно для дела революции. Оно помогает скрывать-ся феодалам и тужуметам. Если принять это предложение, то выходит, что большинству аратов Тувы будет числиться феодалами, и это породит серьёзные трудности. Об этом надо подумать. Ещё мне хочется поднять другой вопрос. По-моему, не годится также под прикрытием собраний классовой борьбы должно задерживать трудовых людей, их коней и резать народный скот. Это преступление. Я требую от имени ЦК партии прекратить всё это.

Как мне казалось, большинство согласно со мной. Есть, наверно, и несогласные. В числе последних, очевидно, Тевек-Кежеге, Баян-Далай, Частып. Частып встал. Он заговорил:

— Прав Донгурак. Оставить семье двадцать пять голов, а остальное отобрать. Отобрать, если скот лишний. И не голодать, а резать его, раз собрались для большого дела... Мне думается, этот представитель поддерживает баев, поэтому у него какой-то уклон, что-то сложное, в чём надо будет разобраться.

Частыпа поддержал Конзулак. Потом поднялся Донгурак. Он осмотрелся и чинно заговорил:

— Много не скажу. Правы наши партийцы. Поэтому, чтобы не тянуть время, прочитаю: «В целях использования всех прав, данных нам революцией, и уничтожения личной собственности, мы, партийцы Улуг-Хемского хошуна, призываем аратов всей Тувы осуществить конфискацию лишних голов скота, если их количество свыше двадцати пяти для одной семьи».

— Нельзя принять это обращение. Оно противоречит политике нашей партии.

Многие согласились с моим предложением. Приступили к голосованию. Но предложение Донгурака было принято маленьким перевесом голосов.

Я ещё раз поспорил с руководителями райкома и получил от них звание представителя правого уклона. Не дожидаясь Санча, мы выехали с Богдановым в Кызыл.

В этот раз «чёрная птица» Дажи почти не капризничала и доставила нас по назначению целыми и невредимыми.

МОЙ ДОКЛАД

В Кызыле я прошёл прямо к Пюльчуну и доложил о делах в Улуг-Хеме.

— Беда, беда. Надо обсудить в ЦК, отменить их постановление, послать людей. Сейчас будет заседание ЦК. Будешь выступать. Подготовься.

Пока я доставал записную книжку и записывал свои мысли, нас уже пригласили на заседание.

Кабинет Бегзижапа. Кроме хозяина, здесь Чурмет-оол, Соян-оол, Дондук, Сайдык. Тут же толстяк Манлай-оол.

— Сначала послушаем информацию нашего представителя на собрании по классовой борьбе в Улуг-Хеме.—Бегзижап взглянул на меня: — Ну, давай, только не тяни.

Я рассказал о задаче собраний по классовой борьбе, об искажениях этой задачи в Улуг-Хеме:

— На собраниях у аратов режут косы. Режут и домашний скот. Каждый день—десятки волов, пять-шесть кобылиц, сотни овец и коз. Хуже грабежа.

— Режут скот везде, не только в Улуг-Хеме. Я только что приехал из Чадана, там то же. И никакого грабежа тут нет. Этот паренёк маленько преувеличивает,—засмеялся Чурмет-оол так, точно рвали платочек. Остальные молчали.

— Распространять новую жизнь среди народа надо не топорами и не ножницами, а хорошим примером. Улуг-хемцы во главе с Донгураком не проводили работы в этом направлении. Они собрали полусумасшедших людей, не думающих о задачах партии, болтающих попусту языком, любящих пить, развращающих молодёжь, посягающих на личность свободных аратов. На основании какого закона они орудуют? Кому на руку такая жестокость? Я протестовал, но на собрании приняли от имени улуг-хемцев неправильное воззвание к аратам всей Тувы.

Во время моего выступления одни улыбаются, переговариваясь, другие качают головами и тоже что-то говорят. Были и такие, которые озлобленно молчали.

— Потихе, товарищи,—успокоил всех Бегзижап.—У кого вопросы? Если нет,—приступим к прениям.

Чурмет-оол взял слово:

— То, о чём беспокоится этот парень, никому не ново. Я побывал в Чадане, Алдын-Булаке, Суг-Аксы. Там тоже собрания по классовой борьбе—едят волов, снимают кежеге. Тут незачем волноваться. Я не слышал о конфискации скота. Может — правда, может — нет. Парень недавно приехал из Союза. Ещё ничего не знает. А, может, нарочно путает. Сначала надо проверить, потом решать.

За ним встал Пюльчун:

— По-моему, вопрос, поднятый нашими представителями, интересный, важный для страны. Нельзя считать пустяком то,

что попираются личные права свободных граждан, что снимают кежеге, что убивают скот, являющийся личной собственностью аратов, что хотят отбирать скот, не разбираясь, кто богат и кто беден. Товарищ молод, учился в Союзе, приехал недавно, но он знает, что таких беспорядков не должно быть. А наши некоторые товарищи, как Чурмет-оол, Соян-оол, не принимали мер, хотя знали. Мало того, — они издеваются над докладчиком. Вот это совсем неправильно.

— Недавно в Улуг-Хеме и Ийи-Тале я такого не видел. На собраниях по классовой борьбе, по согласию некоторых состоятельных людей, резали молодых быков. Кроме этого, ничего не случилось. Говорят, будто парочно я не замечал, но не надо спешить с выводом: что я сделаю, если не заметил, — не снимают же ведь сапог, если нет речки, — сказал Соян-оол.

Бегзижап встал за своим столом, кашлянул, чтобы, как говорят, «открыть» простуженное горло, вытер пот с лица, откинул назад спавшие на лоб волосы:

— Товарищи здесь подняли вовремя особо важный вопрос. Мы не догадывались, а враги уже творили вредные дела. Не очень много ума надо, чтобы резать с любовью выращенные людьми косы или грабить с любовью выкормленный скот, отнимать его у людей без разбора. Правы товарищи Тока и Пюльчун. Странно, что некоторые товарищи недооценивают настолько важных вопросов, даже издеваются. Я предлагаю направить меня в Улуг-Хем, сам прекращу левачские действия. Предлагаю поручить мне составить проект постановления. Ну, как, товарищи?

Центральный Комитет поддержал предложение Бегзижапа отправить его в Улуг-Хем.

Так был положен конец «удивительным» собраниям, которые принесли аратам большой вред.

Свет национально-освободительной революции в Туве светил всё ярче и дальше. Но небо голубой Тувы очистилось не сразу.

Предстояла длительная борьба.

Виктор Кок-оол

ХАЙЫРАН-БОТ

Драма в 3-х действиях, 4-х картинах

Пьеса рисует жизнь дореволюционной Тувы

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

С а р ы г-А ш а к — бедный арат 61 года.
К а д а й — его жена 51 года.
К а р а } 22 года.
С а л б а к а й } их дочери 17 лет.
У р а н } 15 лет.
Б а л д а н-о о л — брат Кадай 35 лет.
С е д и п — возлюбленный Кары 26 лет.
Х а м-о о л — шаман 65 лет.
Х о р л у у — его жена 62 года.
К е н д е н-Х у р а к — муж Кары 35 лет.
О с к е — посыльный Кенден-Хурака.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Бедная юрта арата Сарыг-Ашака. Летний день клонится к концу. Сарыг-Ашак спит, его жена Кадай расчесывает косы Салбакай. Салбакай напевает песенку.

С а л б а к а й.

Расчешите косы Салбакай
Украшайте голову чавагой¹
Оседлает Серого Салбакай
И поедет к милому в дальний край.

С а р ы г-А ш а к (*бредит во сне*). Ой-ой-ой... Съест он меня, съест...

¹ Ч а в а г а — украшение для женской косы.

Ка да й. Эй, эй, что с тобой? (Чубуком длинной трубки толкает Сарыг-Ашака, тот проснулся, не понимая в чём дело, оглядывается).

С а р ы г-А ш а к. Тьфу, чтоб тебе, бредил, оказывается. Будто хожу в кустах, вдруг подошёл ко мне верблюд и хочет съесть меня. Ой, сердце ещё и теперь как бьётся (наливает чай, пьёт).

Ка да й. Не бредил ты повсе... Сел, на что-то жаловался, потом опять свалился. Не бредил... (закуривает трубку).

С а л б а к а й. Почему так, когда человек бредит, он не может двигать ни руками, ни ногами...

С а р ы г-А ш а к. Ох-ох!..

Ка да й. Что с тобой, старик?

С а р ы г-А ш а к. Да ведь в этом году мой год наступил...

Ка да й. Какой твой год? Твой год-то ещё через два года будет. Ты в год курицы родился.

С а р ы г-А ш а к. Курицы, курицы... Сама ты курица мокрая. Год коня—вот он, мой год... Как раз этот... Шестьдесят мне исполнилось. Надо было попросить Чочу-лама погадать, что принесёт мне мой год.

С а л б а к а й. Мама, тебе сколько лет?

Ка да й. Не знаю, не знаю, дочь. Уран родилась, кажется, когда мне было девятнадцать, так или нет?

С а р ы г-А ш а к. Доченька, разве ты не знаешь мать? Где же ей знать, сколько ей лет, когда она не знает даже, что у нас пять коз. Ей теперь пятьдесят один. Каре двадцать два, она замуж вышла—ей было двадцать один.

Ка да й. Не знаю, не знаю. Кто их считает, ты разве? Всё считаешь...

С а р ы г-А ш а к. Почему это я всё считаю?

Ка да й. А как же — бусы возьмёшь и считаешь, и считаешь... Целый день считать можешь.

С а р ы г-А ш а к. Так то богу угодное дело.

Ка да й. До Кары покойника сына рожала, мне было девятнадцать. После него через год Кара нашлась, сейчас ей двадцать два, говоришь... Двадцать два... да девятнадцать...

С а р ы г-А ш а к. Девятнадцать... девятнадцать... Уран рожала—девятнадцать, сына рожала—девятнадцать... вот бестолковая...

Ка да й. Сорок один что ли мне теперь или сколько?

С а р ы г-А ш а к. А не пятьдесят один тебе? Кару ты рожала, тебе не девятнадцать, а двадцать девять было. Что ты сидишь и глупости говоришь...

Ка да й. Вот уже теперь год, как Кара вышла замуж...

¹ По религиозным воззрениям буддийской веры, которую исповедывали в старой Туве, каждый год из двенадцати имеет своё особое название: «год коня», «год овцы» и т. д. Раз в 12 лет отмечается свой год.

С а р ы г-А ш а к. Счита́й, не счита́й, а пятьдесят один тебе. И спорить нечего. Постарела ты.

К а д а й. Что сидишь, чушь городишь. Разве я говорю, что я молодая? Когда мы с тобой поженились, Кара уже была разве?

С а р ы г-А ш а к. А то нет. Конечно была. Вспомни-ка, в Чоон-дыде Чавар-Кадай её привезла на коне, тогда я...

К а д а й. Дочка, поставь греть, вон в чаше остатки каши. Скоро Уран пригонит коз, посмотри, где козлята, можешь их в загородку загонишь.

С а р ы г-А ш а к. Тогда я был с вьющимися косами¹, молодой парень.

К а д а й. Старый ты человек, а сидишь—какую-то чушь городишь.

С а л б а к а й (*заглянув в чашу*). Там совсем немного осталось.

К а д а й. Уран придёт, добавишь воды, согреешь. Иди, загни козлят, дочка.

С а л б а к а й. Мама, прошлый раз Хулер-оол где видел сестру?

К а д а й. В Хендерге, дочка, когда там проводили служение Майдыр-богу. Он говорил, что там видел Кару.

С а р ы г-А ш а к. Да... Вот, говорят, хорошо, кто своих детей к богатым отдаёт. Выдали мы дочь за богатого, а в храме до сих пор не были.

К а д а й. Как же, попробуй сунься туда,—сколько отдать надо, а нам где взять? Но ты же на войне в Хомды был, почему тогда не молился? Там вон храмы какие. Что тогда делал?

С а р ы г-А ш а к. Что делал? Вместе с армией Баа-Увана воевал, помнишь, привёз какое головное украшение, китайские чалаа-кара, которые носила одна красавица, жена Сарыга, высокая чёрная девушка.

К а д а й. На старости лет зачем над человеком смеяться?

С а р ы г-А ш а к. Раз правда, чего же мне говорить (*смеётся*).

С а л б а к а й. Прошлой ночью видела я сестру во сне, где-то ходим, ягоды собираем.

С а р ы г-А ш а к. Наверное, скоро приедет в гости дочь.

С а л б а к а й. Правда, уже год, почему же она не едет?

К а д а й. Наверное, ждёт, когда скот поправится, молоко прибавится... Ведь люди выехали на летние пастбища недавно. Скоро, видно, приедет дочь. Дочка скоро приедет, а у нас нечем будет угостить её. Старик, надо бы у кого-нибудь раздобыть барашка.

¹ В старой Туве мужчины носили косы.

Сарыг-Ашак. Куда пойдёшь? Аалов поблизости нет. Давай нашего заколем...

Кадай. Ты что говоришь, один он у нас и ему ещё полгода пет.

Салбакай. Может, у Хам-оола есть?

Кадай. Нет, дочка, у него просить нечего. И сам-то он не больно богат, да и не такие люди шаманы, чтоб с бедняком поделиться, он сам всё глядит, как бы у кого что урвать.

(Входит Уран).

Уран. Наш козёл убежал с овцами Базыр-лама.

Кадай. Что за вредная скотина.

Сарыг-Ашак. Вот тварь, теперь туда топать за ним. Что ли? Что, пастухи скот на солонцы пригоняли?

Уран. Да.

Кадай. Ну и пастухи пошли, не могли помочь ребёнку!

Уран. Как же, помогут. Они, наоборот, только дразнили меня. Один-то сын того... Как уж его?.. Ортен-Хоо будто.

Кадай. Ортен-Хоо?.. А он сюда как попал?

Сарыг-Ашак. Жениться, говорят, собирается на дочери Базыр-лама.

Кадай. И всё-то ты знаешь, старый. Где козы твои-дочь?

Уран. Здесь вот, у лиственницы!

Кадай (*мужу*). Так что же ты сидишь? Козла-то ведь...

Сарыг-Ашак. И зачем нам нужен этот козёл? Коз много у нас нет, донть, что ли, его будешь? Говорю, зарезать надо.

Кадай. Ты такой. Кроме как съесть, ничего не знаешь...

Сарыг-Ашак. А что с ним ещё делать? Раз он всё время бегает, куда не надо (*берёт верёвку и уходит*).

Кадай. Салбакай, дочь, давай скорей, как бы козлята твои маток не высосали (*Салбакай, опоясываясь на ходу, уходит*). А ты долей воды в кашу, разогрей её, да поешь.

Уран. Не хочу, мама.

Салбакай (*возвращаясь*). Вон с горы кто-то движется, сюда идёт. Не то верхом едет, не то на месте стоит. Вон с той стороны трёх лиственниц (*все трое вышли из юрты, рассматривают*).

Уран. Где? Вот те—да?

Кадай. Не надо рассматривать проезжающих, идите домой.

Салбакай (*не слушая*). Вон теперь дошли до подножья гор.

Уран. Где, где? А-а... Теперь вижу.

Кадай. И что за девушки такие? Да говорю же вам, нельзя так смотреть, на чужих людей. Стыдно.

Салбакай *(начинает петь, потом к ней присоединяется Уран)*.

На коне верхом
Масти темносерой,
Оо тынгыл, тынгыл-тай.
Паренёк проехал,
Девушку приметил,
Оо тынгыл, тынгыл-тай.
Глазом подморгнул ей,
Стремена подставил,
Оо тынгыл, тынгыл-тай.
И стрелой пронёсся,
Девушку увёз он
Оо тынгыл, тынгыл-тай.

Кадай. Что вы там поёте? Вы ещё маленькие петь такие песни.

Уран. А что же тут такого?

Кадай. Как что тут такого? Иди, принеси воды. Надо сварить чай. Отец за козлом как набегается, придёт усталый. Иди же, говорю.

Салбакай. Ну нет, отец не так скоро придёт *(продолжая наблюдать)*. Скрылся, теперь уж ничего не видно. *(Берёт ведро, уходит. Кадай и Уран возвращаются в юрту)*.

Уран. У меня что-то голова болит, мама *(ложится)*.

Кадай. Нельзя днём спать, дочка. Может быть, от солнца голова разболелась, поди смочи голову холодной водой. *(Возвращается с водой Салбакай)*.

Уран. Что же там чернело на горе? А может быть, сестра?

Салбакай.—А может быть, наоборот, тот, о ком ты не сказала, а только подумала, наш зять Дулей-оол *(потрепала сестру по голове и отбежала)*.

Уран *(вскочив)*. Какой зять? Какой Дулей-оол? Мама, смотри-ка, что она такое говорит.

Кадай. Не знаю, не знаю, что она такое говорит.

Салбакай. Сейчас тебе пятнадцать лет, а в будущем году тебя за мясо продадим.

Уран. Вот я тебе... *(замахивается)*.

Кадай. Ты зачем сестрёнку дразнишь? Она и так на голову жалуется.

Салбакай. Я сама видела: он бараноголовые стремяна чистит, скоро Уран подставит, на Гнедко с собой посадит и...

Уран. ...А твой Бышкак-Кара, Бышкак-Кара.

Салбакай. Зять Дулей-оол, зять Дулей-оол.

Кадай. Да замолчите вы, чего не поделили. Подоите коз, пусть козлята попасутся *(вышла из юрты)*. Что это там за люди едут, на одном коне вдвоём? *(Уран и Салбакай выбегают из юрты)*.

Салбак ай. Где, где, мама?

Уран. Ой! Сестра! Кара приехала!

Салбак ай. Где, где ты видишь?

Уран. Ты что, слепая что ли, да вон же она!

Салбак ай. Кара... Сестрёнка... *(убежала)*.

Уран. Сестра приехала... *(и тоже бежит)*.

Кадай *(суетливо поправляет на себе халат)*. Ну, вот гости приехали, а у нас в юрте что делается *(поспешно входит в юрту, убирает ступки, подметает пол)*. Не напылить бы, да где ж они там. *(В окружении сестёр идёт радостно-возбуждённая Кара)*.

Кара. Сестрёнки мои, как выросли. А Уран, Уран-то, меня скоро перегонит *(входит в юрту)*. Здравствуй, мамочка... Ну, ну, что ты, что ты...

Кадай. Здравствуй, здравствуй, дочка, сюда проходи. *(Утирает слёзы, усаживает её перед кроватью)*.

Кара. Куда дядя ушёл? Сестрёнки, смотрите, как бы его собака не укусила.

Уран. Ведь собаки у нас нет, сестра. Отравили её.

Кара. Отравили? Жаль, хорошая собака была.

Кадай. Ишь какая ты, дочка, даже собаку не забыла. Дети, дядю посмотрите.

Салбак ай. Вещи с коня разгружает. Да вот и он.

(Входит Балдан-оол).

Балдан. Здравствуйте, как живёте?

Кадай. Здравствуй, брат. Вы как живёте? *(Протягивает руки, чтобы поздороваться)*.

Балдан. В ту неделю мы ведь уже здоровались с тобой, сестра. Забыла?¹

Кадай. Ох, видишь, память у меня такая плохая стала.

Кара. Дядя, где ваш мешок?

Балдан. Там, возле юрты остался.

Кара. Салбак, пойди, занеси.

Уран. Я занесу.

Салбак ай. Ну, вот ещё, я занесу.

Кара. И верно, Уран, пусть Салбак занесёт, тебе не под-
нять.

Уран. Кому, мне не поднять? Да я в пять раз сильнее её.

Салбак ай. Ещё что скажешь. *(Обе торопятся выйти, застревают в дверях. Все смеются)*.

Балдан. Погодите, сестрёнки, я сам. Там у меня бьющиеся вещи есть *(девушки и Балдан выходят)*.

Кара. Куда отец ушёл, мама?

¹ В старой Туве было принято здороваться за руки только один раз в год, в праздник шагаа или после разлуки свыше года.

Ка да й. Козёл наш убежал с овцами Базыр-лама, вот отец и пошёл за ним.

К ара. Постарела ты, мать (*провела рукой по голове матери*).

Ка да й. Ну, а ты, доченька, как живёшь? Счастлива?

К ара. Счастлива? (*Задумчиво*). Да-а... Очень счастлива... (*с шумом и смехом возвращаются девочки и Балдан, все втроём тащат мешок*).

У ран. Ого какой... Его и дядя-то поднять один не мог.

Б ал дан. Ну, как же, без тебя никак бы не поднял (*погрепал её, все смеются*).

К ара. Дядя, дайте маме.

Б ал дан (*шутливо*). Как же? Кто из нас в гости приехал? Кто должен гостинцы раздавать? На-ка, сестра, положи пока куда надо. (*Балдан передаёт мешок, Кадай ставит его у кровати со стороны подушки*).

Ка да й. Девочки, чай давайте (*Салбакай и Уран готовят чай, Балдан снимает с себя пояс и нож с кремнёвкой¹ складывает на головной убор; Кадай достаёт из ящичка тарелки с тарой². Ставит перед гостями, наливает чай*). — Дети мои, угощайтесь (*девочкам*), вы тоже берите чашки. наливайте себе чай.

К ара. Там в мешке есть сыр, сестрёнки, достаньте. кушайте (*девочки бросаются к мешку*).

Ка да й. Стойте, давайте я сама (*развязывает мешок*). Охо (*удивлённо*), это что за вещь? (*Вытащила араку в когержике³*).

Б ал дан. А это пока тайна, потом откроется (*смеётся*).

Ка да й (*кладёт араку обратно, достаёт сыр, разрежала, раздаёт*). Дочка, а в узелке что? Сера?

К ара. Нет, мама, сахар.

У ран (*вскрикивает*). Сахар?

С ал ба ка й. Мама, дай мне.

Ка да й. Подождёшь, сахар—это хорошо. Китайский сахар от кашля полезен. Надо его приберечь (*раздаёт по небольшому кусочку, остальное положила в ящик, заперла его*).

Б ал дан. Как же так, сестра, привезённое из чужой местности кушаете, ничего не бросив в огонь...

Ка да й. Ой, господи, прости меня (*отламывает крошку сыра и бросает в огонь*). Память у меня никудышной стала.

Б ал дан. А не рассердится бог-огонь, что так мало ему даёшь? (*Все смеются*).

¹ Ножи кремнёвка—прибор для высекания огня, расположены на одном ремешке, прикрепляемом к поясу.

² Тара — еда из толчёного жареного проса.

³ Арака—самогонка из кислого молока. Когержик — кожаный сосуд для вина.

У р а н. Хватит с него и этого.

К а д а й. Ты что говоришь, глупая? Когда выехали, братец?

Б а л д а н. Вчера в полдень. *(Кара и девочки о чём-то неслышно разговаривают и смеются)*.

К а д а й. Почему не на двух конях посхали, разве у наших сватов нет коней?

Б а л д а н. Ну их! Они такие скупые, что на такое расстояние коней никогда не дадут, даже в соседние юрты съездить коня у них не выпросишь.

К а д а й. Что же они — плохие люди?

К а р а. Очень плохие, мама. Если к ним в юрту кто войдёт, так они даже глаза не поднимут, себе под ноги смотрят.

К а д а й. Да-а... А вот гостинцев сватам не пожалели. араку, сыр...

К а р а. Не пожалели... Араку и сыр мне тётушка Монгуш дала. Пожалела меня, что совсем с пустыми руками к вам в гости еду. А чай и табак я купила у китайца за семь мерлушек, что у меня были. Ещё должна ему осталась. А у них даже нитку, чтобы три раза палец обернуть, взять нельзя. Нет, у них я ничего не брала и брать не буду.

К а д а й. Смотри-ка, а казались люди хорошие.

С а л б а к а й. А косы-то у тебя, сестра, какие хорошие выросли *(поднимает косу)*.

К а р а *(вскрикивает)*. Ой!

К а д а й. Что? Что с тобой?

С а л б а к а й. Что, сестра?

К а р а. Ничего, это я так.

К а д а й. Ну вот, зачем сестру беспокоишь. Больно ей сделала.

К а р а. Салбакай не виновата, мама. Это я на той неделе головой об дверь стукнулась, рукой тронуть нельзя.

К а д а й. Как же это ты так?.. Дай-ка я посмотрю, что у тебя там?

К а р а *(поспешно)*. Не надо, мама, ничего *(пауза, мать печально смотрит на Кару)*.

К а д а й. А ты в какую пору попал туда, брат?

Б а л д а н. Ещё на той неделе. Ездил в Шалык, ну и заехал попутно Кару посмотреть, а оттуда вместе вот приехали. Коня не поил. Хорошо, вспомнил, пойду напою *(уходит)*.

С а л б а к а й. Ты что замолчала, Кара?

К а р а. Так, задумалась. Сама не знаю о чём.

С а л б а к а й. Это верно, Кара, что ты головой о дверь стукнулась?

К а р а. Нет, сестрёнки, это не дверь, а муж мой Кенден-Хурак железной трубкой меня ударил.

У р а н. Собака, а не человек.

К а р а. Он всё время меня бьёт. Скажи, говорит, спасибо за счастье, что тебе досталось, дочь нищих.

К а д а й. Как же это так? Как можно человека железом по голове бить? Так можно голову разбить. Бессовестный какой. Хорошо ещё, дядя догадался приехать.

К а р а. Он не сам... Я ему через Быстыкай, нет, не через Быстыкай, через Хулер-оола передала, когда в храм молиться ездила.

К а д а й. Что же он думает, раз богатый, так ему всё можно...

У р а н. Сестра, ты теперь домой совсем приехала? Больше к нему не поедешь?

К а д а й. Что ты говоришь, глупенькая, как можно не поехать, жена ведь она ему.

У р а н. Ну и что ж, что жена? Раз такой... Не ездь к нему... Живи с нами.

К а р а. Да, да, поживу с вами...

С а л б а к а й. Вчера приходил Седип, немного выпивший, чего-то будто плакал.

К а р а. Почему же он плакал, сестра?

С а л б а к а й. Не знаю.

У р а н. А может, у него болело что-нибудь, вот он и плакал.

С а л б а к а й. Ну, вот ещё выдумала. Не лезь в разговор, который не понимаешь.

У р а н. Скажи, какая большая стала, ты всё понимаешь.

С а л б а к а й. Тебя почему-то всё вспоминал.

К а р а (*улыбаясь*). Смотрю на тебя, Салбакай, совсем как взрослая рассуждаешь. Ты у меня умная будешь. (*Обнимает сестёр*). Когда ехала сюда, увидела Кара-тал, так и заплакала. Ведь это дерево со всей моей жизнью связано. Всё вспомнила, где овец пасла, с кем играла, как вспомнила всё, так слёзы ручьём потекли. Хорошо, дядя сзади шёл, моих слёз не видел.

С а л б а к а й. А дядя не горюет?

К а р а. О чём ему горевать? Он всю дорогу нел. Хоть всю жизнь на баев спину гнёт, но духом не падает.

К а д а й. И что за люди такие, как звери. Девочку железом по голове бить...

К а р а. Недавно видела я, мама, сон нехороший. Выдают меня замуж, сажают на лошадь, куда-то отправляют. Кто же меня на лошадь-то сажал? Шокар-Кадай будто...

К а д а й. Кто, кто? Шокар-Кадай, а не Чавар-Кадай?

К а р а. Да, да. Именно, Чавар-Кадай. Она мне пожелания разные говорила.

К а д а й. Это нехороший сон, дочка. Она ведь давно по-

мерла. Это худо. Надо Хам-оола попросить, чтобы он погадал. *(Входит Балдан)*. — Братец, чай твой остыл совсем.

Балдан. Ничего, сестра. Это лучше. Дядя вместе с Хам-оолом вдвоём козла ведут, а он вырывается и обоих в разные стороны мотает... Умора..

Салбак ай. Одному бы отцу с ним не управиться. Хорошо, Хам-оол помог.

Балдан. А какой бродяга этот Хам-оол. Этой весной его в Шалыке видел, а теперь уже здесь.

Уран. Известное дело — шаман. Везде людей дурить надо.

Кадай. Помолчала бы ты, дочь. Рано тебе в эти разговоры влезать. Кара говорит, что она сон нехороший видела. Надо Хам-оола попросить, чтобы пошаманил. Он всё же что-нибудь скажет.

Балдан. Ну, какой он шаман. Верно Уран говорит — людей обманывает. Лучше к Хам-Карай сходить... Она лучше пошаманил.

(Входят Сарыг-Ашак и Хам-оол).

Балдан. Здравствуйте, старики, какживаете?

Сарыг-Ашак. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Вы там как? Аа-а... И дочка приехала... Вот это да... Как же ты надумала... Давно ждём, а всё нет и нет...

Хам-оол. Погостить, видно, приехали. Вот гулять будем. Как бы на кочке не свалиться *(подаёт трубку Балдан-оолу)*. Когда выехали? Вы же весной там были. Это с того времени.

Балдан. Да, с того времени. Я не курю.

Хам-оол. Кара, наверное, курит.

Кара. Нет.

Сарыг-Ашак. Вот теперь я успокоился, дочка приехала. Целый год не видел, соскучился.

Кара. Дядя, посмотри, у отца голова поседела, совсем поседела.

Сарыг-Ашак. Что ты, дочка? Голова у меня совсем чёрная. У кого хочешь, вот хотя бы у матери спроси.

Кадай. Какое уж там, с козлом один управиться не может.

Хам-оол. Сарыг-Ашак, ещё ничего, крепкий старик. Посмотри на его ровесников, какой он ещё орёл среди них.

Кадай. Уран, дочка, козлят...

Уран. Сейчас, мама. *(Выходит)*.

Кара. В юрте очень жарко, пойду освежиться.

Сарыг-Ашак. Чего же не откостите низ юрты? Салбак ай, дочка, открой кошмы кругом юрты, сестре жарко.

Кара. Ничего, отец. Я хочу с девчатами пойти в холодок под лиственницу, там с ними поговорю. *(Встаёт)*.

Сарыг-Ашак. Ну, что ж, идите, дочурки, поболтайте. Салбакай. Чего же, мама, чай людям не наливаешь?

(Входит Уран).

Кадай. Эй, мужики, вон чашки, наливайте чай, пожалуйста, пейте. Дочка приехала, потому хожу совсем растерянная, не знаю, что делать. *(Все три сестры стоят, обнявшись)*.

Сарыг-Ашак. Смотрите, дочки у меня какие. Уран-то как выровнялась, Кару догоняет.

Кара. Она скоро, наверно, будет выше юрты. Ладно, сёстры, идёмте на холодок.

Уран. Идём *(уходят)*.

Кадай. Где догнал козла? *(Из ящика достаёт араку, передаёт Балдану)*.

Сарыг-Ашак. Вон там внизу в красных кустарниках с козлами бегал. Еле поймал проклятого. И зачем он нам только нужен? Коз у нас мало.

Кадай. Опять за своё. Смотри, братишка, наливай всем поровну.

Сарыг-Ашак. А это что у тебя такое?

Кадай *(иронически)*. Не знаешь, вот бедный.. Да ты запах араки из-за хребта услышишь.

Сарыг-Ашак. Да ну, неужто арака. Не ожидал я, что Балдан её привезёт. Ведь ты её, кажется, не любишь, Балдан.

Балдан. И верно, не люблю... когда её без меня выпивают.

Хам-оол. Есть пословица: кто имеет сало, с тем судиться не торопись, старик. Не нападай на Балдана, а то он тебе вовсе не нальёт.

Кадай. Не слушайте вы его, сидит, что-то бормочет.

Балдан. Нет, не говорите, дядя у нас ещё такой, чуть что, начнёт плясать, не удержишь *(первую чашку подаёт Сарыг-Ашаку)*.

Сарыг-Ашак. Оо! *(Отставляет чашку с чаем)*. Что же нам делать, Хам-оол. Надо было позвать Хорлуу, она может обидеться. Может быть, сходить за нею... *(делает вид, что хочет забрать чашку у Хам-оола)*.

Хам-оол. Нет, нет, она не обидится, она не пьёт, ей только чай да табак, больше ничего не надо.

Кадай. Ну, пей, не задерживай.

Сарыг-Ашак. Вот это правда *(выпивает)*. — Кару надо позвать *(закуривает трубку)*.

Кадай. Кара, Кара!

Балдан. Детям не надо давать вина *(разливает араку)*.

Хам-оол *(останавливает Балдана, который приготовился выпить)*. — А как же, дядя, говорят, есть пословица: ес-

ли гости кушают свои гостинцы — подол сгорит, (*забирает чашку с аракой*), так, кажется?

Б а л д а н. Нет, не так. Кто уж очень на чужое набрасывается, у того живот разболится. Вот как (*забирает обратно араку. Общий смех*).

(Входит Кара).

К а д а й. Садись сюда, дочка. Брат, налей Каре (*Балдан наливает и подаёт Каре*).

К а р а. Я не пью араки. Пусть отец за меня выпьет. (*Передаёт отцу*).

С а р ы г-А ш а к. Чего же ты, дочка, хоть немного бы выпила.

К а р а. Нет, отец, вы пейте да разговаривайте. Там и так немного.

К а д а й. Не заставляйте её, раз не может. А Хорлуу-Кадай надо бы позвать.

Х а м-о о л. Так не пойдёт она. Разве только сказать ей, что Кара приехала, тогда она прибежит. У Кары, небось, для неё отдельно что-нибудь есть.

К а р а. Нет, дядя, здесь всё, что привезла.

Х а м-о о л. Шучу, сестра, шучу (*смеётся*). Куришь?

К а д а й. Она видела нехороший сон, вот и приехала, чтобы ей погадали.

Х а м-о о л. А-а... Что же, это можно. Погадать можно, вот только трудновато будет чертей выгнать. У этих сватов черти сильные, с ними бороться у-ух как трудно. Кара как живёт у них?

К а д а й. Не знаю, говорит, хорошо. Пусть сама расскажет.

Х а м-о о л. Как ты там живёшь, Кара?

К а р а. Не знаю, как сказать.

С а р ы г-А ш а к. Не может быть, чтобы не хорошо. Тридцать, сорок дойных коров. В молоке, что за день надоено, восьмилетнего мальчика выкупать можно. Лошадей так много, что во дворе не помещаются. Одних батраков три юрты. От наших двух коров, что за Кару взяли, и то много молока, вон бочка стоит. Счастливая наша Кара, за счастье её выпьем ещё.

К а р а. За это счастье моё, отец, пить не надо, прошу тебя.

С а р ы г-А ш а к (*озадачен*). Ну, как знаешь, дочка.

Х а м-о о л. Конечно, кто отдаёт своих детей к богатым, те всегда одеты и обуты бывают.

С а р ы г-А ш а к. Завидуешь, почему же сам отдыхаешь, детей не имеешь?

Х а м-о о л. Ваши сваты люди хорошие. Я знаю.

Б а л д а н. Да-а, хорошие... Надо бы лучше, да нельзя.

(Продолжает разливать араку). Вот и араку своим родственникам прислали (подаёт Хам-оолу).

Хам-оол. Оо! Я сразу узнал по запаху, что это их арака. У них всегда она вот с таким запахом. Скажите... прозрачная какая.

Кадай. Так это...

Балдан (перебивает). Да-да, Хам-оол никогда не ошибается. Шаманство — это великая вещь (подморгнув Сарыг-Ашаку). — Ну, прямо сквозь землю видит.

Сарыг-Ашак. Сила... Хам-оол даже умирающего человека оживить может (подмаргивает Балдану).

Хам-оол (заметно охмелев). Ого! Я такой... Я ежели... Ух!.. Вот я какой... Всё вижу.

Балдан. Да-да.

Кадай. Тут немного осталось, понесу Хорлуу, пусть попробует.

Сарыг-Ашак. Каре почему не даёте? Почему моя дочка араку не пьёт? Эй, старуха, зарежем, говорю, барашка для дочери.

Кара. Единственного...

Кадай. Он такой, твой отец, дочка.

Сарыг-Ашак. Ведь дочка приехала, что же, угощать разве не будем? (Входят Уран и Салбакай).—Вот ещё дочки растут...

Хам-оол. Да... Вы люди дочерьми богатые.

Балдан (шутливо). Какие это девушки, вот на эту остроглазую посмотри, даже обуви нет, маймаки¹ верёвочкой подвязаны. Никто замуж не возьмёт.

Сарыг-Ашак. Моих возьмут, ещё как возьмут.

Хам-оол. Уран уже девушка. За араку продадим её... К богатым...

Кадай. Ну их, этих богатых... Дочка со мною будет жить. Идёмте к Хорлуу, а то обидится.

Сарыг-Ашак. Удивительно... Почему вы моей дочери араку не даёте? Дай-ка, Балдан, налей сюда (Балдан наливает). Держи, доченька, выпьем за твоё большое счастье, за деток твоих будущих...

Кара. Пить не за что, счастья нет, а деток не будет.

Сарыг-Ашак. Как так не будет... Ну нет...

Кадай. Ну что пристал к ребёнку... Видишь, устала с дороги, отдохнуть ей надо. Надо идти к Хорлуу, а то обидится...

Хам-оол. Да, да, обидится, она такая, человек обидчивый (засовывает остатки угощения за пояс).

Сарыг-Ашак. Старуха, заверни немного чая и табаку.

¹ Маймаки — мягкая кожаная обувь с загнутыми носами.

Кадай. Сама знаю, не шуми. Дочурки мои, вы тут пойдите коров, а Кара с нами пойдёт.

Кара. Мама, вы все идите, а я догоню вас.

Хам-оол. Нет, нет, Кара должна с нами вместе идти.

Кара. Я сейчас приду.

Хам-оол. Ну, гляди, если обманешь — напущу я на тебя своих маленьких змеиных чертей... У-ух!.. *(шутливо пугает девушек, его качнуло, он чуть не упал, Сарыг-Ашак и Балдан подхватывают его под руки, он их отталкивает)*. — Айда, Сарыга жена! *(Уходят с Кадай. Смех. Сарыг-Ашак и Балдан идут за ними)*.

Кара *(посмотрев им вслед)*. Как смешно они идут под ручку. Так говорите, Седип здесь бывает?

Салбакай. Он недавно на охоту ездил, одного марала ранил, а другого убил, так потом заходил...

Уран. Он нам чаю и табаку привёз.

Кара. А говорил он что-нибудь? *(Салбакай молчит, рассматривает свой идык¹)*. — Ну, что же ты, обо мне спрашивал?

Салбакай. Спрашивал.

Кара. Что спрашивал?

Салбакай. Спрашивал, когда ваша сестра в гости придет.

Кара. А вы ему что сказали?

Салбакай. Мы сказали, что наверное, скоро придет.

Кара. Тогда что он сказал?

Уран. Тогда говорит: как Кара придет, я тоже к вам приеду. И верно, скоро, очень скоро приехал.

Кара. А во второй раз он что?

Салбакай. Спрашивал, как ты у Кенден-Хурака живёшь, счастливая ли.

Кара. А вы ему что?

Уран. А мы ему сказали, очень счастливая, у них юрта белая, богатая, скота много... А он тогда почему-то замолчал... Долго стоял, ничего не говорил.

Салбакай. А глаза такие, задумчивые, полные слёз. чуть не заплакал, да тут отец пришёл.

Уран. Вот тогда я подумала, у него живот болит или что другое.

Кара. Глупенькая ты ещё... Есть болезнь пострашнее, когда сердце горит *(пауза)*. — Говорят, он, вроде, женился на дочери Менгиз-Кадай, верно это?

Салбакай. Что ты, врут, конечно. Он нигде не бывает, даже на игры к девушкам не приезжает.

Кара. Ох! Вон какая ты стала большая, на играх девушек уже бываешь.

¹ Идык — тувинский мягкий сапог.

Салбакай. Нет, не бываю.

Кара. Так откуда ж ты знаешь? *(Салбакай смущенно молчит)*. Ну, а отец с матерью как смотрят на то, что Седип приезжает? Что они говорят о нём?

Уран. Что им говорить о нём, ничего не говорят. Мама жалеет его. Он бедный парень, одинокий. Была одна старая мать, и та умерла.

Кара. Когда мать умерла, он сильно плакал?

Салбакай. Он при людях не плачет. Гордый. Когда один из лесу приходит, я замечала, глаза у него бывают красные.

Кара. Так ты говоришь, он ни с кем не бывает. А может, за него никто замуж идти не хочет?

Салбакай. Что ты?.. Ведь он такой хороший... Самый лучший охотник, смелый, красивый... Он... он...

Кара *(улыбаясь)*. Что-то ты, девочка, его больно уж расхваливаешь? А-а? *(Салбакай смутилась, спрятала своё лицо. Кара обнимает сестёр)*. Какие вы у меня большие стали, умные.

Уран. Сестра, ты долго с нами пробудешь?

Кара *(задумчиво)*. Долго.

Уран. Вот хорошо-то!

Салбакай. По ягоды все вместе ходить будем. Песни петь, я много новых песен знаю.

Кара. Правильно, сестрички, будем, как раньше, жить все вместе, втроём. Вы теперь большие, меня в обиду не дадите, так ведь?

Салбакай. А тебя очень обижали, Кара?

Кара. Очень, всё тело в синяках, но это ещё не самое страшное, страшно, когда душа изранена...

(Входит Кадай. Её не замечают).

Салбакай. Значит, плохие они люди, да?

Кара. Плохие, очень плохие... Страшные... И страшнее всех он...

Уран *(тихо)*. Кенден-Хурак?

Кара *(молча кивает)*.

Уран. Так не ходи ты к нему больше... Не возвращайся...

Кара. Туда я больше не поеду, с ним кончено.

(Кадай тихо вышла).

Салбакай. Ну, а Седип?..

Кара. Седипа здесь нет, о нём не говори, сестра.

(Уже стемнело, только у едва мерцающего очага, тесно обнявшись, сидят сёстры. Кара тихо поёт).

Бьют коня плетями —
Больно, что же делать,
Ранят его ноги,
Всё же надо бегать.
Разлучают с милым —
Больно, что же делать,
Жизнь темней могилы,
Счастья не изведать.

(посмотрела на пригорюнившихся сестёр)

Эх, вы, красавицы!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина вторая

Полянка в лесу. Светлая лунная ночь. На полянке Кара, Уран, Салбакай. Они негромко поют песню:

Лес зелёный, не шуми ты,
Пусть молчат кусты.
Всё вокруг уж засыпает,
Отдохни и ты.

Спят козлята, спят и дети,
Спят отец и мать.
Беспокойный пёс свернулся,
Лёг он отдыхать.

Лишь одна я, молодая,
Не могу уснуть.
Сердце что-то мне тревожит
И теснит мне грудь.

Здесь старик Хам-оол шаманит —
Не пойду к нему.
Ждёт мой милый на свиданье —
Вот туда пойду.

(Слышны трели соловья).

Ура н. Сестра, кто это?

Кара. Это соловей, сестра моя. Он поёт на заре, поздно уже...

Салбакай. А домой почему мы не идём? Боишься, что они за тобой приедут, да?

Кара. Наверное, приедут. Что-то надо придумать. Но вот что, пока не знаю. Недавно я убежала, они меня с полдороги вернули... А сейчас... Даже страшно подумать.

У р а н. Недавно дядя Балдан через Мсзил-оола передавал, чтобы мы за тобой приехали. Мама говорит, надо поехать, а отец ругался, говорит, пусть там сидит, не балуется.

С а л б а к а й. Мама всё боится, что ты сбегинь. Даже на Седипа сердится, думает, ты из-за него.

У р а н. Отец говорит, пусть не ходит к нам, нечего ему про Кару расспрашивать.

С а л б а к а й. Надо бы разыскать его, может быть, он что придумает.

К а р а. Что он может придумать? Седип несчастный человек (*пауза*). Ну, что приумолкли, щебегуньи мои? Расскажите хоть, какие песни теперь здесь девчата поют.

У р а н. Парни, которые съездили за хребет, пели такие песни... Ой, как же это...

К а р а. Какая песня... Может ты припомнишь, Салбак?

С а л б а к а й. Какая-то такая песня... раздольная... И-ого-чей...

У р а н. И вовсе не так... Раз не помнишь, так и не мешай.

С а л б а к а й. Но и ты ж ничего не запомнила. Давай лучше «Чёрный камень». Эту мы обе знаем.

К а р а. Ну, ну, давай же.

Уран и Салбакай (*поют*).

Чёрный камень, чёрный камень,
Ему море нипочём.
Если любим мы друг друга,
Что нам шаман с богачом.

Одеяло козьей шерсти
Снова можно починить.
Коль любовь наша разбита —
Не связать её, не сшить.

К а р а (*смеётся*). Хорошая песня.

С а л б а к а й. Кара, теперь ты спой нам.

У р а н. Верно, спой, сестричка наша, хорошая.

К а р а. Я давно не пела, голос, наверно, подведёт (*поёт*)

Спеть хочу, но не пою,
Слёзы льются, не могу.
Молчать бы мне, не говорить,
Душа горит—не потушить.

Страшно—страшно умереть,
В поле бросят одиноко.
Взрослой станешь, отдают
Чуждым людям в край далёкий.

С а л б а к а й. Какая грустная песня. Я слышала, её и Седип поёт. Что это за песня?

К а р а. Эту песню поют такие же несчастные, как и я. Вы будете счастливые и будете петь другие песни.

Салбакай. Знаешь, сестра... Все наши песни, которые мы поём, другие вокруг нас, мне не нравятся. Они или грустные очень, вот как твои, или грубые: только про скот, про богатство...

Седип (*появляясь*). Девушки, вы что здесь одни делаете в такое время?..

Салбакай (*вместе с Уран скрывая от Седипа Кару*). А мы здесь ни один, угадай, с кем?

Седип. Ну вот ещё, что выдумываешь, кто там с вами может быть (*хочет подойти*).

Уран. Стой! Не подходи!

Салбакай. Закрой глаза и не смотри, пока не разрешим. (*Седип закрывает глаза, Уран и Салбакай поворачивают его несколько раз и со смехом убегают. Седип открывает глаза, перед ним на пне сидит Кара, он изумлённо смотрит на неё*).

Кара. Ты что же Седип, загордился? Поздороваться не хочешь?

Седип (*протирая глаза*). Стой, стой. Уж не сон ли я вижу. Кара! Ты!

Кара. Я, Седип. Неужели я так изменилась, что меня узнать нельзя?

Седип. Кара!

Кара. Седип!

(Бросаются в объятия).

Седип. Милая!..

Кара. Ты ещё не забыл этого слова: милая.

Седип. Никогда не забуду... Какая ты...

Кара. Некрасивая стала?

Седип. Нет, для меня ты лучше, чем когда бы то ни было.

Кара. Чего же не спрашиваешь, почему я здесь?

Седип. Я и сам не знаю, что со мною, боюсь, сердце разорвётся от радости.

Кара. А ведь радоваться нечему, Седип, ты знаешь — я сбежала. За мною каждую минуту приехать могут. А ведь ты же знаешь Кенден-Хурака!

Седип. О да, я его знаю... Во всю жизнь не забуду. Четыре года на него горб гнул в батраках и не только ничего не получил, а ещё ему должен остался. Говорят, он бил тебя?

Кара. Да, к тебе ревновал. Нишей называл. Теперь я с ним рядом не сяду. Что бы ни случилось, а к нему не вернусь. Лучше умру.

Седип. Зачем такие мысли, Кара. Мы ещё придумаем что-нибудь. Что твой отец говорит?

Кара. Что он может говорить. Он ничего не знает, рад.

думает, я в гости приехала. А мама догадывается, по ней вижу.

С е д и п. Я всё время ждал тебя, почти каждую ночь здесь бываю. Возле нашей лиственницы, помнишь её, дорогая?

К а р а. Ещё бы, помню, милый. Сколько почей провели возле неё. О чём только не мечтали...

С е д и п. Однажды уже разбили наши мечты, больше не дадим.

К а р а. Что ты говоришь, Седип, что мы можем сделать? Ведь мы бесправные, особенно я. Кто я такая? Девушка из нищей юрты, проданная богачам. Он может сделать со мною всё, что захочет. Все законы на его стороне.

С е д и п. Плевал я на его законы. Мы уйдём отсюда далеко.

К а р а. Куда? Седип, куда? Нам куда идти.

С е д и п. Человек всегда найдёт, куда пойти, надо только захотеть по-настоящему.

К а р а. Ты смелый, Седип мой, сильный... Скажи, Седип, только ничего не скрывай... Ты с кем гулял?

С е д и п. Пусть ворон глаза мне выклюет... Как ты уехала—ни с кем и никогда. Из юрты не выходил. Честное слово.

К а р а. А кто такая Гуссумей, вы с нею дружите, гуляете?

С е д и п. Что ты, милая моя. Это жена моего друга, мы с ним охотимся вместе (*отвернулся*).

К а р а. Шучу, глупый. Ты не сердись. Что будем делать, милый? Ведь даже если он не станет меня преследовать, то всё равно разорит моих стариков, заберёт у них всё, что за меня отдал.

С е д и п. А нельзя от него откупиться? Летом я убил марала, рога продал китайцу, товар лежит у меня дома. Всё отдам ему, ведь они, богатеи, люди жадные.

К а р а. Да, он жадный, но на этот раз его жадность промолчит. Он будет нам мстить.

(За сценой слышны голоса).

С е д и п. Идёт кто-то. Уйдём вон за те кусты.

(Входит Хам-оол, Хорлуу и Оске).

Х а м-о о л. Ты чего на него взъелась, твоё какое дело?

Х о р л у у. Так чего он жену бьёт за то, что она дочку защищает.

О с к е. Так ведь он отец.

Х о р л у у. Ну и что, что отец, а мать ничего не значит повашему? Попробовали бы родить да выкормить.

Х а м-о о л. А ты что, пробовала? Сама, что тёлка яловая. ходишь, ни дочки, ни сына нет.

Хорлуу. Так в этом ты виноват, дьявол сухой, сам пустой ходишь.

Хам-оол. Я виноват?! *(Бросается на неё)*.

Оске. Тише, тише, соседи. Зачем ссориться. Это вам надо было лет сорок пять тому назад смотреть, теперь поздно.

Хорлуу. Не поздно. Зачем зря человека обижать.

Хам-оол. Не поздно... Не поздно... А своё дело знаю... Шаманством, гадаaniem кормлю тебя, а ты что?..

Хорлуу. А что я? А что я, козёл ты старый!

Оске. Ну зачем шуметь, лучше о деле поговорим, ведь я не зря привёс вас сюда.

Хам-оол. Поговоришь с ней. Люди дело своё решают, а она чуть в бороду не вцепилась.

Хорлуу. Палкой дело не решают. У отца сердце каменное, у матери мягкое. Не так легко дочку на муки послать.

Хам-оол. Сарыг-Ашак прав. Положенный камень должен на месте лежать, отданная замуж девушка должна с мужем жить.

Хорлуу. Какой муж ещё, от другого и сбежать лучше.

Хам-оол. Что говоришь, старая, наверное, вспомнила, как к своему Биче-оолу бежать хотела... Тьфу!

Оске. Зачем вспоминать, что было бог знает когда. А жалко мне Сарыг-Ашака.

Хорлуу. Его чего жалеть. Кару жалко—вот кого.

Оске. Как же не жалеть его. Ведь если Кара не вернётся к мужу, то Кенден-Хурак с ним не посчитается, коров заберёт, долги потребует, пищами оставит. Вы как-нибудь скажите об этом Сарыг-Ашаку.

Хорлуу. Ну, этого ему и говорить не надо, он сам с ко-ровами ни за что не расстанется.

Оске. Я приехал, чтобы отвезти Кару домой. Разговаривал с нею, да ничего не получается. Кенден-Хурак прислал вам вот этот подарок *(достаёт из-за пазухи кусок шёлка)*. Хам-оол, сказал он, умный старик, он тебе поможет дело сделать.

Хам-оол. Я всё сделаю, меня она послушается, а то на отца её насыду. И что за девушки сейчас пошли... Есть пословица: баран может быть бойкий, лишь бы в беду не попал. Девушка должна быть молчаливая, скромная. Очень это бес-покойное дело: дочек иметь.

Хорлуу. Много ты знаешь, козёл старый. У тебя хоть какие-нибудь дети были когда? Тьфу, связалась с кем. Только и знаешь людей сбманывать да ссорить.

Хам-оол. Это кто? Я, что ли?..

Хорлуу. А то кто же?

Хам-оол. Так вот на ж тебе *(бьёт её по щеке)*.

Хорлуу. Ты что, у Сарыга научился, как с женой обра-щаться? На вот, запомни и ты! *(Ударяет мужа)*.

Оске *(удерживая их)*. Тише, тише, земляки.

Хорлуу. Ты что, старый гриб?

Хам-оол. А ты что? Выпила, нажралась и болтаешь глупости.

Хорлуу. Твоё, что ли, я жрала. У людей дочка сбежала а твоё какое дело.

Хам-оол. Как не моё дело? Кенден-Хурак сын моего свика, поняла?

Хорлуу. Хороших свояков ты себе нашёл. Помнишь, когда ты в прошлом году у них попросил подводу перекочевать, что они тебе сказали?

Хам-оол. А что сказали?

Хорлуу. Пешком, на себе перетаскивай, вот что тебе твои свояки сказали.

Оске. Так как же вы всё-таки думаете, поедет она до мой или нет?

Хам-оол. Если она не поедет, то Сарыг-Ашак ей покажет. Побьёт как следует и сам отвезёт.

Хорлуу. Как это побьёт?

Хам-оол. А вот так, как я тебя побил. Забыла, может быть... могу напомнить. Ха-ха-ха...

Оске. Ха-ха-ха...

Хорлуу (*передразнивая*). Ха-ха-ха. Дурак ты, больше ничего.

(Идёт пьяный Сарыг-Ашак).

Сарыг-Ашак. Сволочи они, вот кто... Богачи, негодяи...

Оске. Вот теперь самый удобный момент поговорить с ним. Я пока уйду... (*уходит*).

Хам-оол. Ты тоже уходи, жена... (*Хорлуу уходит, Хам-оол обращается к Сарыг-Ашаку*). Что, всё ещё не протрезвился, старик?

Сарыг-Ашак. А зачем мне трезвым быть? Дочка в гости приехала, гуляю...

Хам-оол. уж будто бы в гости... Сбежала ведь дочка твоя...

Сарыг-Ашак (*наступая*). А я говорю тебе, в гости приехала, стало быть молчи, шаман чертячий... Завтра домой поедет.

Хам-оол. Врёт она тебе, старик. Я слышал, как они с Кадай сговаривались. Если она не вернётся к мужу, как думаешь, хорошо тебе будет?

Сарыг-Ашак. А мне что думать. Ты ж шаман, скажи.

Хам-оол. Плохо, плохо будет, они люди с чертями.

Сарыг-Ашак. Так что же, моя дочка за собой чертей яривезла?

Хам-оол. Не то чтобы... Видишь ли, я в эту ночь шаманил и видел, что черти, их черти, такие особенные, боль-

шие, уже начали подходить к твоей дочери, к твоей юрте. Если не вернётся она, худо будет... очень худо. Много несчастий будет тебе, скоту вашему и особенно ей. И ещё мужика какого-то видел, около неё всё крутится, охотник он.

С а р ы г-А ш а к. Седиш, может быть?

Х а м-о о л. Наверное, сн... Подальше его надо. А дочку отправляй скорей домой. После мы с тобой приедем к ним. Там я снова пошаманю, чтобы она снова убежала к тебе, но уже без чертей. Ты мне дашь корову за это, парочку коз.

С а р ы г-А ш а к. Что, что?!

Х а м-о о л. Можно одну козу, одну можно, чтобы моих духов и чертей умиротворить...

С а р ы г-А ш а к. За то, что жизнь моей дочери нарушишь, я же ещё тебе и корову да козочек дам. На вот, получай! (*Подносит ему шши*). Не нужна мне твоя помощь, сам всё решу.

Х а м-о о л. Гляди, Сарыг, худо будет. Уже сейчас чую я. Духи сердиться начинают.

С а р ы г-А ш а к. А это меня не касается. Пусть сердятся, пусть делают, что хотят. Как с дочерью поступлю, это тоже моё дело. Вот (*хочет уйти, Хам-оол достаёт из-за пазухи араку*).

Х а м-о о л. Сарыг, постой. Выпей вот это, я над нею пошаманил, она большую силу имеет, пока никакие черти к тебе подступиться не смогут. Это я тебе по-соседски, бесplatно...

С а р ы г-А ш а к. Ладно, давай (*выпивает*). Так что, говоришь, лучше пусть возвращается?

Х а м-о о л. А то как же, обязательно. Если с ним свяжешься—разорит ведь, всё заберут, ну, а черти его своим порядком.

С а р ы г-А ш а к. Сам он хуже всякого чёрта. Да-а... С богатым не судись, с сильным не борись. Придётся приказывать дочери возвращаться домой. Пойду, скажу ей. (*Уходит*).

Оске (*выходит из-за куста*). Какой упрямый старик. Крепко же вы с ним, Кенден-Хурак вас ещё отблагодарит.

Картина 3-я

Обстановка та же, что и в первой картине — юрта Сарыг-Ашака. В юрте Сарыг-Ашак, Кадай, Хам-оол, Хорлуу, Оске. Кенден-Хурак нервно ходит по юрте.

К е н д е н-Х у р а к. Вот что, мне эта история надоела. Я вас спрашиваю, вы кто ей, отец?

Сарыг-Ашак. Что я могу поделатъ? Я не раз говорил дочери, что из хошуна могут прислать платных посыльных, чтобы потащить её в суд—во что это нам обойдётся. Вот и мать ей то же твердит.

Оске. Два дня её уговаривают, а она своё: не поеду и всё. Хам-оол. Старики верно говорят, но она, видно, сама не понимает, что угрожает ей и старикам.

Кенден-Хурак. Если она не хочет ехать, то с ней возиться больше нечего. Давайте кончать: во-первых, верните всё, что за неё уплачено, кроме того сейчас же верните всё, что вы должны, а если не можете, то я сделаю всё, что мне позволено по закону.

Сарыг-Ашак. Что вы, что вы. У меня и в мыслях нет, чтобы ссориться со своими сватами. Да, да, надо кончать разговоры, посадить её на лошадь и проводить. Ты не сиди. мать. Займись-ка, приготовь её.

Кадай. Что я могу сделать, когда ты не можешь уговорить. Ты отец, ты и делай всё, что надо. А то бы лучше сам с нею поговорил, муж с женой всегда лучше договорятся. Я сама была замужем, почему меня не приходилось уговаривать? Мы сами по-хорошему договорились.

Кенден-Хурак. Что я слышу? Кажется, во всём этом я же ещё и виноват остаюсь.

Сарыг-Ашак. Замолчи, жена, ты же видишь, какая она упрямая, с нею нельзя договориться.

Кадай. Трудно договориться, когда тебя железом по голове... хуже, чем со скотиной...

Кенден-Хурак. Она и есть хуже скотины, на скотину я ничего не трачу, а на неё вон сколько затратил. Да и к чему разговоры...

Оске. Да, да, сестра. Разные люди бывают. С одним можно договориться, а дочь твоя, сама видишь...

Кадай. Есть пословица: «Не видя воды, обувь не снимай, не видя гор—подол не подымай». Рано судишь, сосед, не знаешь, что там было с нею, а говоришь.

Хам-оол. Что же делать, сестра, судьба... Человек не может сам жизнь определить, как судьба покажет. Вот я гадал сегодня, вижу, большая беда ждёт её, если не вернётся к мужу.

(Входит Салбакай).

Кадай. Где сестра, куда она ушла?

Салбакай. Я почём знаю, недавно под лиственницей сидела.

Кадай. Найди её, пошли чай пить.

Салбакай. Она не придёт.

С а р ы г-А ш а к. Делай, что приказывают, ты почём знаешь, придёт, не придёт.

С а л б а к а й. Сами позвали бы (*ушла*).

К е н д е н-Х у р а к. Чёрт, по этой степи мотаешься неделями, чуть не высохнешь, от жажды пропадёшь.

С а р ы г-А ш а к. Чаю налей, жена.

К е н д е н-Х у р а к. Не хочу.

Х а м-о о л. А что, много приходится ездить, тарга¹?

К е н д е н-Х у р а к. А то мало, пока с этих голодранцев налоги соберёшь... Умереть легче. А тут ещё эта жизнь.

С а р ы г-А ш а к. Не всё же время будет так, сынок. Вот вернётся она домой, второй год пойдёт, обломается, думаю. Молодая ещё...

О с к е. И что бы, кажется, не жить. Кони есть, одеваться есть во что, еды сколько хочешь. Надо уважать друг друга, а не ёжиться, как жила, брошенная в огонь.

С а р ы г-А ш а к. Да, да... Ладно, старуха, день-то уходит. Зови дочку, пусть покушают, да трогаться надо. Дома у них скот, хозяйство...

(Входит Кара, встретила глазами с Кенден-Хураком, бросила к его ногам халат замужней женщины, проходит мимо него).

К а д а й. Садись, садись, дочка, покушай (*ставит ей еду в чашке*).

К а р а. Не хочу, чаю налей.

О с к е. Почему не поешь, сестрёнка, ехать-то ведь далеко.

К а р а. Куда это я поеду далеко? Я дома.

К е н д е н-Х у р а к. Хватит чепуху болтать. Едем домой, работа, скот ждёт. Люди смеются.

К а р а. Сам чепуху не говори. Можешь ехать. У меня ни дома, ни скота нет. Зря сидите, меня ждёте, я никуда не поеду.

О с к е. Зачем так говоришь. У вас юрта, скот, хозяйство—дай бог каждому. Пока не поздно, надо ехать.

С а р ы г-А ш а к. Не спорь, доченька, людей не мучай, себя не мучай. Поезжай.

Х а м-о о л. Ты же не маленькая. Зачем родителей мучаешь. Кони хорошие — садись да поезжай.

К е н д е н-Х у р а к. Хватит упрашивать. Не лама и не шаман она, чести много. Пойду лошадей посмотрю... Как приду, чтобы готова была, не то...

К а р а. Что будет?

К е н д е н-Х у р а к. Лучше бы тебе не знать, что будет. (*Уходит*).

С а р ы г-А ш а к. Ну же, ну. Собирайся, время не ждёт.

К а р а. Ещё раз, в последний раз говорю, я никуда не поеду.

¹ Т а р г а—начальник.

Хорлуу. Сегодня уже поздно, может, завтра поедут.

Оске. Сегодня, только сегодня, иначе страшно подумать, что здесь будет. Уж я по глазам его знаю (*выходит*).

Хам-оол. Правильно, надо ехать. Самое время. Я видел уже у них полные бочки хойтпака¹, скоро араку гнать. Мы с твоими стариками рассчитаем время и к свежей араке приедем.

Кара. Напрасно время теряете, меня не уговорите.

Сарыг-Ашак. Так разве он уговаривать будет? Он теперь по закону поступать будет.

Кара. Какой ещё закон?

Хам-оол. Разве ты не знаешь? Он всё может сделать. Он сам тарга и все тарги его друзья. Он может штрафовать, бить, пороть, пытать. Кара, ты же сама должна помнить, — сколько же ей было лет тогда?

Сарыг-Ашак. Когда?

Хам-оол. Помнишь, когда? Когда собирались девять хошунов, били Намчюр, дочку Кара-Кадай. Вот тогда.

Сарыг-Ашак. Тогда нашей Каре было 11 лет.

Хам-оол. Та девушка, после того, как её били, так и не поправилась—умерла.

Кара. Ну и что же теперь, что дочку Кара-Кадай били до смерти, что же?

Хам-оол. Как что же? Она пострадала, родители пострадали.

Кара. Вот и хорошо. Зачем продавали девушку за нелюбимого. Хорошо, что Намчюр умерла.

Хам-оол. Ой, господи, это не девушка, у неё мужское сердце. То-то же, когда я шаманил, я не мог попасть в её двор. Черти и духи...

Кара. Будет вам со своим шаманством. Не верю я ни в чертей, ни в духов, ни в вас самих. Людей только обманываете, да перед богатыми выслуживаетесь. Что я не вижу?

Кадай. Что говоришь, дочка, опомнись!

Кара. Постой, мама. Почему это ни разу я не видела, что бы ваши духи, черти, боги, все силы хорошие и злые когда-нибудь помогли бедным, несчастным, обиженным? Вот и теперь вы меня пугаете всеми вашими духами, чтобы я вернулась к Кенден-Хураку. Где ваши духи были, когда он целый год издевался надо мною, топтал меня ногами, бил чем попало? Не верю я ни вам, ни вашим духам.

Хам-оол. Она взбесилась, духи уже одолели её и она не знает, что говорит. Идём, жена. (*Хам-оол и Хорлуу поспешно уходят*).

Кадай. Что ты наделала, дочка, со святым человеком поругалась.

¹ Хойтпак—прокисшее молоко, из которого гонят араку.

К а р а. Какой он святой... Обманщик просто.

С а р ы г-А ш а к. Шаман—это всё же сила. Он что хочешь сделать может. Помнишь, когда он Шайгара заподозрил в воровстве ягнёнка, то при помощи духов заставил его с коня упасть и ногу сломать.

К а р а. Ну вас, из-за пьянки Шайгар ногу сломал.

С а р ы г-А ш а к. Это-то, конечно, верно. Пьяный он не раз с коня падал, а ног всё-таки не ломал. Что ни говори, это уже дело Хам-оола. С ним ссориться страшно, у них ведь даже детей нет, одни как вороны сидят.

К а д а й. О да, это страшно.

С а р ы г-А ш а к. Ещё бы не страшно. Два дня и две ночи подряд он шаманил и Кенден-Хурак всё возле него был. Они что-то затевают.

К а д а й. И заехал-то Кенден-Хурак не к нам, а к шаману. значит, что-то делают против нас.

К а р а. Ерунда всё это (*выходит*).

К а д а й. Что же будем делать, отец?

С а р ы г-А ш а к. Что будем делать, что будем делать... А я знаю разве? Что ты на меня смотришь, сама разбирайся. Она уже не маленькая, с матерью всё советуется.

К а д а й. А может, вернуть ему всё... Пусть подавится.

С а р ы г-А ш а к. И думать не смей. Без коровы остаться. А хоть и вернёшь коров, долги всё равно потребует, а мы где возьмём? К нойону потащат, пытать, мучать будут. Нет уж, лучше, если будет упрячиться — силой отправить.

К а д а й. Сердце у тебя железное, не жалко дочери.

(Входит Кенден-Хурак).

К е н д е н-Х у р а к. Ну, что надумали? Шепчетесь всё.

С а р ы г-А ш а к. Что же, ехать надо, сынок. Всё готово, всё, только не поели на дорогу.

К е н д е н-Х у р а к. А она где?

К а д а й. Здесь была, вышла только. Пойду, позову её (*уходит*).

К е н д е н-Х у р а к. Утихомирилась, наконец, поняла, с кем дело имеет...

С а р ы г-А ш а к. Да нет, видишь ли, не совсем. Но что делать. Мы всё ей сказали, что можно было. Не захочет добром ехать, — связывай, увози силой. Что же делать.

К е н д е н-Х у р а к. А ты старик ничего. Соображаешь. Я тебе барашков парочку с кем-нибудь при случае перешлю.

С а р ы г-А ш а к. Только ты уж с нею там как приедешь... помягче. Жалко ведь, дочка, кровь наша.

К е н д е н-Х у р а к. А она пусть из головы выбросит этого

голодранца. Пора уже, год прошёл. А пока буду чувствовать, что она со мною, а мыслями где-то с ним, худо ей будет. Гнуть буду, пока не согну.

С а р ы г-А ш а к. А ведь перегибёшь, ненароком, и сломать можно.

К е н д е н-Х у р а к. А сломается, что ж, туда ей и дорога. Мсей до конца не будет, пусть ничьей не будет.

С а р ы г-А ш а к. Что ты говоришь, сынок. Пожалеть надо. Человек ведь. живая душа... По божьему закону...

К е н д е н-Х у р а к. Воля моя — вот для неё закон. И божий, и человеческий. Все законы (*сжав кулак*) вот здесь.

(Входит Кара).

С а р ы г-А ш а к. Вот, доченька, поговорите тут мирно, да и в путь (*выходит*).

К е н д е н-Х у р а к. Не вижу я, что б ты собралась.

К а р а. А я никуда и не собиралась, с чего ты взял.

К е н д е н-Х у р а к. Что-то смело больно разговариваешь, видно, защитник где-то близко.

К а р а. Может быть и близко, тебе-то какое дело.

К е н д е н-Х у р а к. Смотри, Кара, всё, что до сих пор было, это только цветочки, ягодки впереди. Не покоришься — кровь по капле выпущу, шкуру с живой сдеру.

К а р а. Не греси, не страшно. Больше надо мною издеваться не будешь. Пальцем ко мне больше не прикоснёшься или сам рад не будешь.

К е н д е н-Х у р а к. Замолчи, Кара, говорю тебе, замолчи. Не буди во мне зверя, ты знаешь, на что я способен в такие минуты.

К а р а. О-о, это я знаю слишком хорошо, и потому за год не могла к тебе привыкнуть нисколько. К дикому зверю в клетке за год привыкнуть можно, только не к тебе.

К е н д е н-Х у р а к. Это всё он, любовник твой, виноват, его забыть не можешь.

К а р а. И он, но больше всего ты. Ты никогда не видел во мне человека. Я была для тебя служанка, тряпка, вещь, а он...

К е н д е н-Х у р а к. Замолчи, не говори о нём. Я встречу его и сверну ему шею.

К а р а. Ты ему... Маадыру моему. О нет. Зверь всегда отступит перед человеком.

К е н д е н-Х у р а к. Так ты его по-прежнему любишь, ты его. У, тварь... (*бросается на неё, Кара хватается нож*).

К а р а. Ну, что ж, попробуй. (*Вбегает Уран, вскрикивает. Кенден-Хурак убегает*).

У р а н. Что он хотел с тобой сделать?

К а р а. Ничего. Я не боюсь его. Что Седип?

У р а н. Подъехал, ждёт за кустами, как сговорились.

К а р а. Это не увидят?

У р а н. Нет.

К а р а. Пошли сюда маму. Седипу скажи, сейчас выйду.

У р а н. Хорошо. *(Убегает)*.

К а р а. Ну, Кара, что ждёт тебя впереди, счастье или смерть? Что бы ни было, лучше, чем жизнь с ним. *(Входит Кадай)*. — Мама, простимся, я уйду.

К а д а й. Куда, доченька?

К а р а. Бегу с Седипом, он ждёт меня. Некогда, пожелаю мне счастья, мама.

К а д а й. Догонит ведь он тебя, замучает.

К а р а. Что будет, мама, то будет. Сама видишь, другого выхода нет.

К а д а й. Куда же вы?

К а р а. Куда-нибудь, мир не одним зверьём населён, есть же и люди. Прощай, родная моя.

К а д а й. Прощай, доченька. *(Обнимаются)*.

К а р а. Я в дверь не пойду. *(Вбегает Салбакай)*. Прощай, сестрёнка *(обнимаются)*. Последни там, где они, чтобы не заметили меня.

С а л б а к а й. Они коней седлают. Кенден-Хурак рычит, как зверь. Беги, я прослежу *(убегает)*.

(Кадай отворачивает с противоположной от двери стороны низ кошмы, Кара вылезает наружу. Кадай поправляет кошму, сидит у кровати, плачет. С арканом вбегает Кенден-Хурак, входят Сарыг-Ашак, Салбакай).

К е н д е н - Х у р а к. Сейчас я её арканом прикручу... *(оглядываясь)*. Где же она? *(Молчание)*. *(Кричит)*. Где она, я вас спрашиваю? Вы здесь все заодно. Сговорились против меня. Я вас всех уничтожу *(схватил Кадай, трясёт)*. Где? Где Кара, я спрашиваю вас? *(Вбегает Оске, за ним Салбакай и Уран)*.

О с к е. Кара ускакала с Седипом. Ищи теперь ветра в поле.

К е н д е н - Х у р а к. Догнать, сейчас же догнать *(зыбжежали Оске и Сарыг-Ашак)*. Из-под земли достану. Всё гнездо ваше проклятое разнесу. А с ними... земля содрогнётся, что я с ними сделаю!

З а н а в е с .

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина 4-я

(Густая тайга. Скалы, утёс. По камням сбегает бурная горная река. Ночь. Входят Седип и Кара).

С е д и п. Тебе надо хоть немного отдохнуть, милая. Ведь я вижу, ты совсем выбилась из сил.

К а р а. Но ведь мы ещё не успели далеко уйти, здесь небезопасно.

С е д и п. Я думаю, что ночью они нас преследовать не будут. Подождут утра, соберут побольше людей. Тебе необходимо отдохнуть, чтобы на рассвете тронуться в путь. Здесь место хорошее. Дождёмся утра (*садится*).

К а р а. Нельзя просто идти, надо знать, куда и зачем идти. Давай обсудим, Седип, что будем делать.

С е д и п. Уходить надо.

К а р а. Куда?

С е д и п. Подальше от этих мест, туда, где нас никто не знает.

К а р а. Но ведь кругом непроходимая тайга. По ней не пройдёшь, а на дороге нас сейчас же поймают. Ведь у Кенден-Хурака везде есть свои люди.

С е д и п. Это, пожалуй, верно... (*пауза*).

К а р а. Смотрю я вот на небо, на лес вокруг нас, на эту горную речку, на эти неприступные скалы. Какая красота вокруг, какое приволье,—почему же так плохо живут люди, почему они хуже зверей? Почему человеку так трудно добиться своего маленького счастья?

С е д и п. Да... трудно добиться своего счастья.

К а р а. Главное теперь — это нам уйти подальше, где бы нас никто не знал. Коня бы хоть одного.

С е д и п. Да, коня бы надо, да и пороха запас, а то у меня совсем мало, а ведь нам питаться придётся только рхотой. Кто знает, сколько ещё в тайге бродить придётся.

К а р а. Днём будем прятаться, передвигаться больше на рассвете да вечером.

С е д и п. Сюда, недалеко, брат моей матери откочевал. Надо мне к нему сходить, может, удастся коня раздобыть. Не побоишься одна остаться? К рассвету, думаю, вернусь.

К а р а. Нет, мой милый, не побоюсь. Когда я с тобой, мне ничего не страшно. А когда я много думаю о тебе, я всё равно с тобой. Иди, обо мне не беспокойся. Без коня нам не выбраться отсюда, иди (*Седип идёт*). Седип!

С е д и п. Что, дорогая?

К а р а. Смотри, не попадайся им в руки. Кенден-Хурап грозит тебе голову оторвать.

С е д и п. Об этом не думай, моя дорогая. Если мы встретимся с ним, ему будет страшнее, чем мне. За меня не бойся. Ружьё пусть возле тебя лежит, если что, ты ведь знаешь, как им пользоваться.

К а р а. Нет, ружьё с собой возьми. На тебя скорее могут напасть. Иди. *(Седип уходит)*. Что теперь будет с нами? Что нам грозит судьба? Почему она так преследует меня? Скоро светать начнёт, взойдёт солнце. Для всех людей начнётся день со своими радостями, со своей работой, лишь я одна буду прятаться в лесу, как дикий зверь. *(Где-то прокуковала кукушка)*. Говорят, что кукушка предсказывает судьбу человека, правда ли это? *(Раздаётся трель соловья)*.

— Вот и соловей запел, значит, утро скоро. Если бы вы, птицы, знали человеческий язык, я бы поговорила с вами, поведала бы вам своё горе. Как легко и беззаботно живёте вы, а я... Нет, нет. Я верю—и я буду весёлая, счастливая, придёт Седип и мы уедем далеко, далеко, где никто уж нас не разлучит с ним.

— Родной мой край! За что я должна покидать тебя? Вот и это место, ведь я здесь не впервые. Я родилась и выросла здесь.

— Вот это моя лиственница. Прощай, я не забуду тебя. приеду к тебе. Эх! Была бы я на твоём месте, стояла бы такая же могучая. Корнями бы вглубь ушла.

— Стсишь ты, гордая, ни от кого не зависимая, а я слабая... Нет у меня никаких корней... бесправная... незащищённая... Чёрный туман в голове... *(устраивается возле дерева)* Укрой меня, родная лиственница моя... *(засыпает)*.

(Внимательно осматривая местность, входит Оске, замечает спящую Кару, останавливается над нею).

К а р а *(просыпаясь)*. А? Кто здесь? Это вы, дядя Оске? Вы что здесь делаете?

Оске. Я за тобою пришёл, дочка.

К а р а. Я никуда не пойду.

Оске. Тогда тебя поведут силой.

К а р а. И вы будете помогать этому?

Оске. Что же делать, я человек подневольный.

К а р а. Какой вы подневольный. Если вы и батрак его, то всё же не раб. Вы нанимались скот пасти, но не за людьми охотиться. Почему выполняете все его приказания, принимаете участие во всех грязных его делах?

Оске. Я человек бедный. У меня семья большая. Мне трудно её прокормить, если от кого-нибудь не получу помощи.

К а р а. Значит, вы, бедняк, помогаете ему, баю, мучить таких же бедняков.

О с к е. Что делать, дочка, так уж устроена жизнь.

К а р а. Жизнь люди строят, ведь нас, таких вот бедняков, много, а их мало.

О с к е. Я этого не понимаю. Пойдём лучше, пока Кенден-Хурак сюда не пришёл, очень он злой сегодня, а если встретит Седипа—совсем худо будет.

К а р а. Уж очень вы жадничаете на его кислое молоко, Оске. У вас две такие же дочери, как я. Неужели вам их не жалко было бы?

О с к е. Вон подходит Кенден-Хурак, как бы мне за тебя не лопало.

К а р а. Смотрите, Оске, ваши дочери не простят вам моих страданий.

(Входит разъяренный Кенден-Хурак).

К е н д е н - Х у р а к. Ага. Попалась! Ну, теперь ты от меня не уйдёшь.

К а р а. Не рано ли радуешься?

К е н д е н - Х у р а к. Молчи, тварь! Каждое твоё слово кровавыми слезами тебе отольётся! Пошли!

К а р а. Никуда я не пойду. Женой твоей не буду!

К е н д е н - Х у р а к (*зло смеётся*). Ха-ха-ха, женой? Нет, женой моей не будешь. Рабой моей, скотиной моей, но и самой последней скотине завидовать будешь. Что, не помог тебе твой защитник?

К а р а. Ещё раз повторяю — рано радуешься.

К е н д е н - Х у р а к. Не рано! Он далеко не уйдёт от меня. В моих руках хорошая приманка для него. Но, но, двигайся! (*Толкает Кару*).

К а р а. Убей меня, но я отсюда никуда не пойду.

К е н д е н - Х у р а к. Убить тебя я ещё успею... Иди! (*Вырывает ей руки*).

К а р а. Бей, мучай, что хочешь делай...

К е н д е н - Х у р а к. Ты ещё узнаешь, как мучают (*бьёт её по щеке. Кара, выпрямившись, стоит молча. Смотрит на него ненавидящими глазами*). Я знаю, тварь, чего ты тянешь, ждёшь, что любовник твой на выручку прибежит. Напрасно, он уже связанный лежит.

К а р а (*вскрикнув*). Врёшь, негодяй...

К е н д е н - Х у р а к. Ага, забеспокоилась (*бьёт её плёткой. Кара падает*).

О с к е. Ладно, хватит.

К е н д е н - Х у р а к. Оставь, не мешай мне. (*Берёт у Оске верёвку, хочет связать Кару*).

Оске. Может, не надо связывать, я её так уговорю пойти. Кенден-Хурак. Уговаривать её много чести. Тащи её. Пни ногой, как дохлого телёнка.

Оске. Вставай, вставай, сестрёнка. Видишь, всё равно ничего не поделаешь, надо покориться.

(Кара встаёт при помощи Оске, вытирает рукавом кровь с лица).

Кара. За кровь эту только своей чёрной кровью заплагишь.

Кенден-Хурак (Оске). Чего смотришь, тащи её к лошадям.

Оске. Зачем тащить, не надо тащить. Она и так сейчас пойдёт.

Кара. Бог тебе не простит мою смерть.

Кенден-Хурак. Нет, умрёшь ты не скоро. Быстрая смерть для тебя была бы лёгким наказанием. Ты десять лет подряд умирать будешь. Веди!

(Оске ведёт Кару, Кенден-Хурак идёт сзади).

Некоторое время сцена пуста, потом с другой стороны появляются Сарыг-Ашак и Хам-оол.

Хам-оол. И здесь нету, пойдём ещё вон там посмотрим. Сарыг-Ашак. И чего я, старый дурак, всю ночь по тайге брожу, дочь свою ищу, чтобы её на мученье передать.

Хам-оол. Опять ты за своё, старик. Гляди, худо придётся. Духи и так уже давно ждут, чтобы на твою юрту наброситься. Бог, он, знаешь...

Сарыг-Ашак. Бог, чёрт, духи... Только и знаешь. Где он, бог твой? Чего духи твои на Кенден-Хурака не набрасываются?

Хам-оол. Ты что говоришь ночью в лесу...

Сарыг-Ашак. У него богатства вон сколько, а у меня юрта дырявая да три дочери. Видно, духи твои тоже у Хурака араку пьют, да баранов получают.

Хам-оол. Обижаешь, старик, зря, я о тебе, о твоей пользе думаю.

Сарыг-Ашак. О брюхе своём, вот о чём ты думаешь. Доченька моя, как зверь загнанный, в лесу скитается. На человека, как на волка, облавой ходят и отец твой вместе с ними.

Хам-оол. Что поделаешь, закон ведь на его стороне...

Сарыг-Ашак. Закон, закон, заладил, как ворона и каркает. Какой закон? Нет закона, сила на его стороне, вот и всё. (Идёт, Хам-оол за ним).

Хам-оол. А сила и большое дерево ломит, лучше уж покориться. Приведёшь её, своими руками огдашь, может, и смилостивится... Ей же лучше будет.

(Уходят. Некоторое время сцена пуста, потом раздаются два выстрела. Входит Седип, на руках несёт Кару. Он усаживает её возле дерева, сам сбегает к реке, приносит воду, смачивает ей виски. Она очнулась).

С е д и п. На вот... Выпей воды, тебе легче будет...

К а р а. Седип, Седип... ты со мною, какое счастье (плачет).

С е д и п. Ну, ну, успокойся... Выпей воды. (Кара пьёт).

К а р а. Да как же, он говорил, тебя поймали, связанный лежншь...

С е д и п. Врал, конечно... Ложь и подлость—вот всё, что он знает.

К а р а. Живой бы он меня никогда не увёл, но я думала, ты там... Маадыр мой.

С е д и п. Кара, дорогая... Нам надо идти. Во что бы то ни стало идти. Мне удалось тебя отбить только потому, что у него ружья не было, но теперь он скоро вернётся с оружием, он соберёт людей... Надо уходить, пока ещё можно...

К а р а. Но я не могу сделать ни шагу. Он мне отбил что-то внутри, топтал ногами, как разъяренный зверь.

С е д и п. Я понесу тебя на руках...

К а р а. Уходи один... Меня оставь... Хоть ты спасайся.

С е д и п. Ты что говоришь, дорогая? Как я тебя оставлю? Идём, нельзя сидеть на дороге врага.

К а р а. Мне уже всё равно не жить, а тебе надо, чтобы за меня отомстить.

С е д и п. Нет, ты будешь жить. Всем врагам на зло, мы будем жить во что бы то ни стало... Идём... Вот так... Потихоньку пойдём. (Кара опирается на его плечо. Уходят).

(Входит Кенден-Хурак, Оске, Хам-оол и двое парней).

К е н д е н - Х у р а к. Идите, весь лес обыщите, они далеко не могли уйти.

О с к е. Сколько же можно за ними бегать, я уже выдохся совсем.

К е н д е н - Х у р а к. Поговори ты у меня (замахивается на него). Я их теперь не упущу. Они где-то рядом, совсем близко.

Х а м - о о л. А может, они в другую сторону ушли, или по камням на тот берег.

К е н д е н - Х у р а к. Нет, они прошли здесь... Я по следам крови на траве заметил. Ни на тот берег, ни через горы они пройти не могут. Она идти не может—он её на себе должен таскать. Один у них путь: только по ущелью.

О с к е. Так они, может, уже прошли далеко. Не догонишь и не найдёшь.

К е н д е н - Х у р а к. Не говори глупостей. Далеко пройти не успели. Там их надёжная засада караулит. Они либо прямо в лапы попадутся, либо назад бросятся и тут мы их...

О с к е. Они могут спрятаться где-нибудь.

К е н д е н - Х у р а к. Не спрячутся, здесь мы каждый ку-

стик обшарим. Хам-оол, ты пойдёшь по дороге, если их ещё не поймали, встретишь, уговоришь вернуться, скажешь, что спрячешь их до моего отъезда.

Х а м-о о л. Они не поверят мне... Страшно. Седип, знаешь, какой бешеный.

К е н д е н-Х у р а к. Поверят. Кара поверит, скажешь, тебя её мать прислала. Скажешь, плохо ей, лежит, плачет. Мать она пожалеет. А то можешь сказать, что мне надоело за ними гоняться, хочу только от Седипа калым получить и пусть живут. Ну, найдёшь что сказать, ты уговаривать умеешь. Сделаешь дело, в руки их ко мне приведёшь — получишь бурую коровку, которая тебе так понравилась.

Х а м-о о л. Иду, тарга. Скоро они будут в моих руках. *(Уходит)*.

К е н д е н-Х у р а к *(парням)*. А вы пошарьте здесь в кустах, может, спрятались, под каждой корягой смотрите, но далеко не уходите, меня с глаз не теряйте. Если Хам-оолу удастся их привести, спрячьтесь и стойте по сторонам. Я с ним заговорю, а вы по моему знаку бросайтесь на него.

П е р в ы й п а р е н ь. Ладно. *(Уходят в разные стороны)*.

К е н д е н-Х у р а к. Ну, теперь, кажется, им не уйти от меня.

(Входят Сарыг-Ашак и Кадай).

— Где вас чёрт носит? Упустили птичку из клетки, может быть, даже сами помогли ей бежать, а теперь помогать не хотите.

К а д а й. Не может мать помогать в таком деле. Сердце не позволяет.

К е н д е н-Х у р а к. Сердце не позволяет? А молоко от моих коров жрать позволяет? А добром моим пользоваться позволяет? Хватит разговаривать. Вы, кажется, забыли, с кем дело имеете?

С а р ы г-А ш а к. Нет, помним, хорошо помним.

К е н д е н-Х у р а к. И ты заговорил, старый верблюд. Вот что, их сейчас Хам-оол приведёт, но чтобы они не ускользнули, вы должны мне помочь.

К а д а й. Не буду тебе помогать, проклятый.

К е н д е н-Х у р а к. Как хочешь, старая, и без твоей помощи обойдусь. Но это единственная ваша возможность спастись от моей мести. Я этот позор никому просить не могу.

К а д а й. Со мною, что хочешь, делай, но её не тронь.

К е н д е н-Х у р а к. Она получит, что заслужила. Её потащат к нойону. Будет объявлен сбор всех хошунов. При всём народе она будет подвергнута жестокой пытке и после того уйти она никуда не сможет. Она будет передана мне и я могу с нею сделать, что хочу.

С а р ы г-А ш а к. Сжался, сжался над нами, зятёк. Ести же в тебе человеческое сердце. Во имя твоих стариков.. Сжался... *(падает на колени)*.

К а д а й. Не унижайся, не унижайся перед этим зверем, отец. Легче камень растопить слезами, чем его звериное сердце. Что будет, то будет.

К е н д е н-Х у р а к. А будет вот что. Вас потащат на расправу вместе с нею. Вы тоже, как сообщники, будете преданы пытке и позору. Ваше жалкое имущество всё перейдёт ко мне. Ваше опозоренное имя станет известно всему краю в других ваших дочерей все будут избегать и стыдиться иметь с ними что-либо общее. Вот что будет, дорогие мои, «отец» мой и «мать» моя. Как видите, вам есть о чём подумать... Выбор предоставляю вам.

К а д а й. Страшный выбор...

К е н д е н-Х у р а к. Т-с-с. Прячьтесь. И глядите у меня ни слова. Может, с ними миром договорюсь.

(Все прячутся. Выходят Седип, Кара и Хам-оол).

С е д и п. Ну, гляди, старик, если ты нас в засаду ведёшь. худо тебе будет.

Х а м-о о л. И не стыдно тебе, Седип, сын мой, все ведь знают, как я люблю Кару, как родную дочь. Она на моих руках выросла. Неужели я причину ей зло... Идём, идём, дочь. там ждут тебя горячие объятия твоей несчастной матери.

С е д и п. Стой! Там промелькнула шапка Кенден-Хурака. предал шаман проклятый... Убью *(вскидывает ружьё, Кара хватает его за руку)*.

Х а м-о о л *(падает на землю)*. Стой, стой... Может, он договориться с тобой хочет.

К е н д е н-Х у р а к *(выходя)*. Ты что же, герой, с беззащитным стариком воюешь. Выходи, со мною поборемся. Видишь. я без оружия стою.

С е д и п. Убить бы тебя, да пули жалко.

К е н д е н-Х у р а к. Нехорошо так... Борьба неравная. Выходи, поборемся, кто победит, тому Кара достанется. Давай по-честному.

С е д и п. С тобой по-честному? У тебя чести, что у волка. обманешь ведь. Нет, против зверя только силой надо.

К е н д е н-Х у р а к. Вот видишь, ты меня всё зверем считаешь, а, может, я не такой уж плохой. Отдаю тебе Кару. Да, отдаю. Надоело по тайге за вами гоняться. Раз не любит, пусть с тобой живёт.

С е д и п. Что-то не верится.

К е н д е н-Х у р а к. Но даром не отдам. Калым, что я уплатил за неё, мне вернёшь, долги отца вернёшь. Согласен?

С е д и п. Согласен, верну, всё верну.

К е н д е н-Х у р а к. Но ты мне не веришь, и я тебе не ве-

рю. Чем мне заплатишь, ты ведь нищий, нет у тебя ничего. Так вот отдашь мне не сразу, за два года отдашь (*достаёт бумагу*). Вот бумага у меня написана, обязательство твоё, палец приложи и бери Кару, ступайте куда хотите.

(Седип вопросительно смотрит на Кару, она счастливыми глазами смотрит на него. Из своего укрытия выходят Сарыг-Ашак и Кадай)

Х а м-о о л. Ну, вот видишь, как хорошо всё получается. Иди... Иди, не бойся. (*Седип выходит из-за большого камня под прикрытием которого он вёл переговоры. Ружьё он передаёт Каре. Как только он подходит, на него набрасываются парни, скручивают ему руки за спиной. Кенден-Хурак хохочет*).

К а р а. Седип! (*Бежит с ружьём*). Так на же, проклятый! (*Стреляет в Кенден-Хурака, но промахнулась. Оске вырывает у неё ружьё*).

К е н д е н-Х у р а к. Ну, голубушка, с тобой мы ещё поговорим, сначала с любовником твоим по душам потолкуем (*швыряет её на землю. Седипу*). Что теперь скажешь?

С е д и п. А то и скажу: по-твоему не быть.

К е н д е н-Х у р а к. Так ли? А что я теперь с вами сделаю, ты и представить не можешь.

К а р а (*становясь рядом с Седипом*). Ты можешь нас убить, замучить, но не разлучить. На вот, смотри, какие мы сильные.

С е д и п. Да, мы тёмные, бесправные, и всё же мы сильные, потому что нас много таких.

К е н д е н-Х у р а к. Хватит вашу болтовню слушать. Забери свою дочь, старуха. До неё очередь дойдёт, сперва за него возьмёмся. (*Кадай не трогается с места*). Да ты, что, оглохла! (*Хватает Кадай за грудь, трясёт её*).

К а р а. Не смей прикасаться к моей матери своими грязными руками. (*Подбегает к Кенден-Хураку, бьёт его по щеке, он отшвыривает её, она снова пытается броситься на него, но её крепко схватили Оске и Хам-оол*).

К а р а. Ненавижу, всей душой ненавижу!

К е н д е н-Х у р а к. Ну, взгляни на своего милого в последний раз.

С е д и п. Кара, дорогая моя. Что бы он с нами не сделал, мы вместе, навсегда вместе.

К а р а. Седип, жизнь моя, моя кровь! (*Вырывается, подбегает к Седипу, целует его. Кенден-Хурак отшвыривает её. Кара взбегает на угёс*). Мама, прощайте. Прощай навеки! Хайыран бот!¹ (*Бросается с угёса*).

К а д а й. Кара, доченька моя! (*Рыдает*).

¹ Х а й ы р а н-б о т—прошай, жизнь моя.

С а р ы г - А ш а к . Теперь доволен ты, чёрный человек?

К е н д е н - Х у р а к . Ушла, проклятая, от моей мести, теперь на нём одну душу отведу. *(Подходит к Седипу. Двое стоят друг против друга. Один в бессильной звериной злобе, другой охваченный величественной ненавистью. Не выдержал Кенден-Хурак).*

К е н д е н - Х у р а к *(кричит)*. Не смотри, не смотри на меня так. Жизни твоей остались последние минуты *(бьёт его по щекам. Связанный Седип вырывается, головой бьёт Кенден-Хурака в живот, тот падает. Седип огромным напряжением рвёт верёвку, которой был связан, с пояса Кенден-Хурака выхватывает нож. На него набрасываются, он взмахнул ножом, все разбегаются. Прыжком набрасывается Кенден-Хурак и наталкивается на нож Седипа).*

З а н а в е с .

Буулар Аракчаа

МАРАЛ

Рассказ

Каких только не бывает случаев с охотником, редких, иногда даже очень странных. С тех пор, как я начал охотиться, со мною их приключалось много. Сейчас мне хотелось бы рассказать об одном из них.

Однажды я поставил капкан на месте расправы волков с каким-то зверем. С тех пор прошло больше месяца. И вот, чтобы проверить тот самый капкан, я рано утром направился туда с двухстволкой. Утро выдалось на редкость прекрасное. На небе ни единого пятнышка, оно было голубое-голубое. Весенняя утренняя прохлада охватила меня.

Стояли тёплые дни, растаяв сверху, снег образовал множество незаметных впадин. Идти было очень трудно: ноги то погружались глубоко в снег, то оставались на поверхности снежного покрова. Замёрзшие за зиму деревья, опустив свои густые ветви, потихоньку раскачивались на ветру. Когда смотришь на кедры, ёлки, сосны, кажется, что все они принарядились в новые одежды.

Наконец, утопая в снегу, я добрался до большого водослива. Тут я обнаружил, что по нему, в сторону реки, направился какой-то большой зверь. Внимательно изучив его следы, я определил, что это был марал. След казался совсем свежим, похоже, что марал прошёл только сегодня утром. С ним, видимо, что-то случилось. Я направился по следу и скоро обнаружил ещё следы волков. Теперь я догадался: они загнали марала на лёд. Если они поймали его, то пока ещё находятся там и вершат свой пир.

Я направился по водосливу. По обеим сторонам реки стояли высокие отвесные скалы. А на небольшой поверхности правобережной скалы рос одинокий кедр. Он был без ветвей, толь-

ко на верхушке виднелись отдельные кустики. На склоне опушки росли таволжник, крыжовник и другие кустарники. На противоположной стороне реки на скалах не было никакой растительности, только жёлтые мхи покрывали земляную кору. По этим местам пройти было невозможно.

Вряд ли звери пройдут через такое трудное место. Поэтому волки стремятся загнать их туда. Река покрылась льдом, на нём не было ни единой снежинки, он ярко блестел на солнце. Волки погнались марала в ущелье. Там — место добычи волков.

Идя по следу, я добрался до реки. Поскользнувшись, марал, видимо, упал прямо на лёд, затем он побежал вниз, по каменистому берегу. Некоторые из волков, как видно, погнались по следу, а некоторые по льду. Было заметно по следам, как они, поскользнувшись, падали. Приготовив к бою ружьё, я двинулся дальше, думая, что они уже очень близко. Вдруг надо мной раздался резкий крик. Я поднял голову и увидел: над скалистым обрывом кружится большой орёл. Сделав несколько кругов, спокойно покачав метровыми крыльями, он плавно полетел к вершине скалы и уселся на неё. В то же время вниз по реке пролетели два чёрных коршуна. Я подумал, что они кружатся в предчувствие добычи. Затем по скалам пронеслось эхо пронзительного воя. Это, наверняка, выли волки. Они были совсем близко. Когда волки бродят целой стаей, они очень опасны. Бывают случаи, когда они нападают не только на пешего человека, но и на верховых. Волки очень увёртливы, ловки, они, как говорят в народе, иногда могут быть сильнее медведя.

Я вспомнил об этом, и моё сердце стало учащённо биться. Некоторое время я стоял не шевельнувшись. Затем медленно двинулся дальше, успокаивая себя мыслью, что пока нет причин волноваться. Впереди меня, метрах в десяти, лежало огромное дерево. Из-за его больших сучьев ничего не было видно. Бесшумно перебравшись через дерево, я увидел в конце опушки огромный, как юрта, камень. Его правобережный выступ завернул к реке и образовал что-то похожее на залив. Над этим заливом располагалась отвесная скала, у подножья которой виднелся вход в пещеру.

Поминутно останавливаясь, всё время прислушиваясь, я взвёл курок ружья и, готовый нажать на спусковой крючок, подполз к большому камню. С другой его стороны, под отвесной скалой, у выступа, послышалось злое рычание волков.

Я осторожно стал присматриваться к их месту расположения. То, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Преследуемый волками зверь не смог перейти по льду на другую сторону реки. Он забился в небольшую пещеру под скалой.

Марал стоял лицом ко мне, прислонясь задом к скале. Это был настоящий марал! Огромные рога украшали его, он скорее

всего походил на быка. Когда волки кидались на него, он каждого из них отбрасывал рогами. Так он, видимо, уже долго защищался, подступиться к нему можно было только спереди, с боков и сзади была неприступная скала.

Волки решили заморить марала голодом, истощить его силы, а затем уже расправиться с ним. Пять из них залегли кругом, загородив дорогу к отступлению.

Два больших волка всё время нападали на марала, издавая злобное рычание. Несколько молодых волков играли на льду. Один из них, оторвавшись от своих друзей, направился к мосу камню. Вскоре он остановился, лёг, затем снова встал и побежал к своим, стряхнув с себя снежную пыль.

В это время один из больших волков кинулся на марала, но тот ловко подставил свои огромные рога и чуть-чуть не покалечил волка. Волк снова вернулся на своё старое место и лёг, положив голову на вытянутые вперёд лапы. Сидевший около него темно-серый волк также кинулся на марала, но получил такой же отпор.

Можно было бы ещё долго любоваться этой сценой. Но я начал опасаться, что хищники могли почуять моё присутствие по запаху. Надо спешить. Кроме того, мне показалось, что марал уже устал, даже уши у него опустились. А это верный признак усталости. Малейший удобный момент—и волки могли расправиться со зверем. Я начал приготавливаться, чтобы бить наверняка.

В это время игравшие волки собрались около старших. Они все собрались на одном месте, и мне стало как-то жутко. И вот, прицелившись в скучившихся волков, я нажал на спуск своей двустволки, которая была заряжена картечью.

Как только раздался громкий выстрел, я чуть подался назад, а эхо, похожее на шум обвала, пронеслось по всему ущелью. Впереди меня расстелился дымок, похожий на туман. Сквозь дым я заметил, что волки отхлынули на лёд. Марал под скалой вздрогнул, но, растерявшись, не двинулся с места.

Я сразил двух волков. Остальные бросились вниз по ущелью. Я выстрелил ещё раз им вслед и убил ещё одного волка.

А марал стоит на месте. Ему, оказывается, некуда пройти—единственный проход у выступа загородил я. Зарядив ружьё и обойдя камень, я вышел на лёд напротив марала. Он смотрел на меня холодными глазами, как на серого волка, по видимому, не считая меня своим спасителем. Потом смело перепрыгнул через убитого волка, побежал вверх по тому же следу, по которому был загнан в ущелье. Пробежав некоторое расстояние, марал на мгновение остановился, в последний раз взглянул на меня. В глазах марала на этот раз я увидел выражение благодарности, как будто он хотел сказать мне: «Большое спасибо!». А я пошёл подбирать убитых мною волков.

Иван Смирнов

ПЕЩЕРА В ГОРАХ

Рассказ

Сырагар ещё раз прислушался. Да, явно кто-то едет. Но кто мог отважиться на такой далёкий путь через малоизведанный горный кряж, когда вот-вот может повеять пронзительный северный ветер, выпасть снег и тогда это стойбище будет отрезано от обжитых мест на многие зимние месяцы?

Он отъехал от юрты, направил коня навстречу доносившимся голосам. Два чёрных огромных пса лениво подняли головы, посмотрели вслед хозяину, затем нехотя поднялись с земли, побрели вслед за ним.

Из-за сопки показались всадники. Их было четверо. Впереди — крупный мужчина в длинной, до пят, лисьей дохе и собольиной шапке. В некотором отдалении от него — ещё трое. Из них Сырагар знал только одного — бошка Дамчалбая. Когда-то, давно, они были друзьями, вместе бегали ловить белок, учились стрелять из лука. После того, как отец Сырагара в январскую стужу, спасая отару бая от гибели, замёрз, десятилетний Сырагар со своей сестрой Кок-Кыс, старше его на три года, перешёл к Сураглыгу. С Дамчалбаем они стали встречаться редко, а вскоре тот перекочевал с семьёй в другие места. Через многие годы до Сырагара дошла молва, что его друг детства стал начальником арбана — бошкой.

Бай Сураглыг — это был он, ехавший впереди, в лисьей дохе, — поравнялся с чабаном и, не дождавшись от него приветствия, сквозь зубы процедил:

— Кэй...

Сырагар ответил неохотно. Он не любил хозяина, и приезд его настрожил чабана. Зачем понадобилось Сураглыгу в та-

кую пору проехать сюда так много уртелей? Что погнало богатейшего в хошуне бая из тёплой юрты, от домашнего очага и своры прислужников?

Сырагар прищипнул на лаявших собак, отогнал их в сторону и повёл гостей к юрте. Она стояла в ложбине, между двух сопок, защищённая со всех сторон густым кустарником. Сейчас листья с кустов осыпались, и когда ветру случалось долетать сюда, он без труда преодолевал несложные препятствия из оголённых прутьев, сквозь старенький изношенный войлок забирался в юрту, хозяином разгуливал по ней.

Жена Сырагара — Сюрюн разжигала очаг, когда вошли гости. С молодым румянцем на широкоскулом светловатом лице, она тихо поприветствовала бая и его спутников и, не выдержав оценивающего взгляда масляных сощуренных глазок Сураглыга, опустила ресницы.

Гостей расположили вокруг очага; отогревая руки, они следили, как стройная молодая хозяйка, запахнув новый темно-синий халат, перехваченный в талии красным кушаком, готовила чай, лепёшки. Чувствуя на себе взгляд бая, она ещё туже запрясалась, глубже надвинула на голову шапку и не поднимала глаз.

Бошко Дамчалбай тоже не спускал глаз с Сюрюн. Он завидовал своему бывшему другу, что тот выбрал такую красивую жену. Ему самому досталась старая, неприятная женщина, с которой и спать рядом не хотелось, но зато она принесла ему почёт и богатство, ей он обязан тем, что стал таргой. В его тёплой, обширной юрте было что поест, всегда имелся хороший чай, а для почётных гостей — молодой барашек и тара в сметане. Если бы в его жилище появился такой человек, как бай Сураглыг, он не угощал бы его лишь чаем с лепёшками, как это собирается делать Сырагар.

Следя за проворными руками Сюрюн, он мысленно смаковал вкус мяса полугодовалого барана. Любил поесть молодой тарга! Может, это и примиряло его с нелюбимой женой, скрашивало пустую, невесёлую жизнь. Впрочем, нет, не пустую. Разве можно так сказать, если он властвовал над людьми, и они выполняли любое его приказание? А жена... Что ж, она когда-нибудь умрёт и он тогда возьмёт себе молодую, красивую, такую, как Сюрюн.

И он снова с завистью взглянул на зардевшееся и от хлопот, и от чрезмерного внимания к ней лицо молодой черноокой хозяйки.

— Возьми жирного барашка, — лениво промолвил Сураглыг, не спуская глаз с хозяйки. — Пусть приготовит, — кивнул он в её сторону.

Сырагар понял, что это относится к нему и, пощупав, при нём ли нож, вышел.

В воздухе кружили первые этой осенью снежинки.

Сырагар постоял, подумал, как ему лучше пройти к отаре, которая теперь, наверное, продвинулась ближе к долине. Начиная подувать северный ветерок. Туже запахнув халат, двинулся в путь.

Когда через час с привязанной тушей барана он возвращался к юрте, из-за сопки навстречу ему неожиданно вынырнул Сураглыг со своими спутниками. Он остановился, подумав, что хозяину захотелось посмотреть своих овец, но гости молча проскакали мимо и вскоре скрылись в снежной пелене.

Сырагар стегнул лошадь, помчался к юрте. Сердце сжало недоброе предчувствие.

Сюрюн лежала возле очага, плакала. Рядом валялись осколки разбитой глиняной чашки.

Сырагар прижался щекой к лицу жены.

— Уйдём отсюда,—попросила она, всхлипывая.

II.

Богат и знатен был Дагба Сураглыг. По низовьям малого Хемчика паслись отары его овец, гуляли табуны лошадей, набиралась сил верблюды. Он никогда не считал, сколько у него животных. Когда наступало время, к его стойбищу свозили шерсть, упаковывали, и он продавал её монгольским или китайским купцам. Если нужны были бараны или жеребята, он посылал за ними, и их пригоняли столько, сколько требовалось.

В большой юрте, покрытой белым верблюжьим войлоком, было просторно, тепло, в ней жила молодая красавица-жена. В другой такой же юрте, только поменьше, резвились два сына, подрастала дочь от бывшей жены.

Но на этот раз он возвращался домой невесёлый, угрюмый. Он любил, чтобы батраки склоняли перед ним головы, а Сырагар не захотел поздороваться первым. Любая девушка готова прижаться к нему по первому его знаку, а Сюрюн бросила в него чашку с тарой и сделала синяк под глазом.

Жена Кувискаал, по голосам услышав, что приехал хозяин, быстро надела тёплый шёлковый халат с красной отделкой по низу и бортам, повесила на шею украшение из золотых и серебряных монет. Сураглыг требовал, чтобы она всегда была в хорошем наряде.

Вместе с хозяином в юрту вошёл Дамчалбай. Кувискаал любила его. С Сураглыгом он был чрезмерно почителен, с бедняками слишком холоден и грозен, а на неё, когда никто не видел, посматривал так, что ей хотелось плюнуть ему в глаза, закричать, чтобы он отвернулся.

Им подали еду, хувы с аракой. Вскоре, отогревшись у очага и подкрепившись, они оба повеселели, разговорились.

— Я знаю, у Сырагара не хватает много моих овец, — медленно цедил сквозь зубы Сураглыг, потягивая чай из белой, украшенной монгольским узором чашки. — Я пошлю к нему Кужугета, он посчитает. И ты поедешь.

-- О, акым, если посдет Кужугет, то мне делать там нечего,— сразу нашёлся Дамчалбай.— После тебя он умеет считать лучше всех людей в нашем хонуне. Так говорит даже нойон.

Ему не хотелось ещё раз отправляться в далёкий путь по пустынным горам, в холод. Была и другая причина. Не выполнить распоряжение бая, сказать, что у Сырагара все овцы целы — значит, потерять должность, не быть больше начальником арбана. Не поможет тогда и его старая жена с гнилыми зубами—сестра Сураглыга, не видать того почёта и уважения, которые ему сейчас оказывают. А честность Сырагара он знал: надо быть клеветником, иначе ничего плохого о нём не скажешь.

Кувискаал тоже прислушалась к разговору. Она знала Сырагара. Когда-то их юрты стояли рядом, она была ещё совсем маленькой, но всегда любовалась высоким, стройным подростком, который подъезжал на диком степном скакуне, легко, точно играя, соскакивал с него и, весёлый, улыбающийся, шёл навстречу выбегавшей из юрты матери. Однажды его долго не было, она, Кувискаал, соскучилась, бегала на вершину сопки смотреть, не появится ли вдалеке облачко пыли, которая всегда клубами поднималась за быстро скачущим Сырагаром. Сюда же часто навевалась и его мать. Как-то, столкнувшись здесь с нею, Кувискаал покраснела и убежала, а старушка проводила её понимающим, тёплым взглядом.

Ей уже было четырнадцать лет, когда Сырагар вдруг исчез. Он уехал в тайгу на охоту, должен был пробыть там недолго, но прошло много дней и его не было. Кувискаал даже перестала ходить на сопку, как однажды под вечер у соседней юрты послышался какой-то шум. Она выбежала и увидела медленно приближающегося всадника. Это было не похоже на Сырагара: он не умел так ездить. Но всё же это был он. Он не прыгнул с лошади ещё на скаку, как это делал раньше, а осторожно сполз.

Кувискаал, выглядывая из-за полога юрты, видела, как он помог матери снять с лошади медвежью тушу и тихо, прихрамывая, скрылся в своей юрте. Потом она узнала, что он встретился в тайге с медведем, вступил в единоборство с ним — победил, однако пострадал и сам. Прошло ещё несколько лет, Кувискаал совсем стала взрослой и тайком от всех мечтала о том, как бы хорошо было жить в одной юрте с Сырагаром, ездить с ним вместе на охоту. Она помогла бы ему, если бы

вдруг повстречался медведь, сторожила бы его сон. Но всё сложилось по-иному. Сырагар не заметил её восхищённых взоров, посватался за другую, а вскоре, гонимый нуждой, нанялся к Сураглыгу чабаном и уехал, а её отдали замуж за нелюбимого бая.

Кувискаал вздохнул. У очага продолжали всё тот же разговор.

— Пять десятков овец — это много! — подняв указательный палец, промолвил Сураглыг. — Он должен будет отработать их.

— О, конечно, акым, будет работать, пока всё не отработает, — угодливо косноязычил охмелевший Дамчалбай. — Я знаю, вы всё можете. Даже нойон говорит так.

Кувискаал очень хотелось узнать, за что обозлился Сураглыг на Сырагара, но вмешиваться в беседу мужчин женщине не положено, и она, прикурнув на подушках, старалась не пропустить ни одного слова. Ей было жаль Сырагара, она до сих пор таила о нём такие хорошие, тёплые мечты, ей казалось порою, что всё-таки она будет когда-нибудь с ним. Сейчас она даже обрадовалась: он будет здесь, рядом с нею, будет, наверное, заходить к ним в юрту, и она каждый день сможет видеть его. Но за что его хотят сделать несчастным, отобрать тех немногих овец, которых он имеет и заставить бесплатно работать? Она не верила, чтобы Сырагар сделал такое большое зло. Да, он был смел, прям, горяч... Он не боялся стать на защиту обиженного арата... Он не любил юлить перед Сураглыгом, как этот противный Дамчалбай... Она всё больше утверждалась в мысли, что Сырагар страдает напрасно.

Незаметно выскользнув из юрты, Кувискаал побежала к одному из жилищ, остановилась, прислушалась. В нём было тихо, вокруг темно, лишь сияло над головой звездное небо.

— Шинги! — позвала она тихонько.

Вскоре вышел её брат. Без шапки, кутаясь от холода в халат и позёвывая, он остановился возле её, ждал.

— Шинги, тебе надо поехать на охоту, — взволнованно шепнула она.

— Я только недавно приехал, мне не надо.

— Нет, надо! — и она рассказала ему о замысле Сураглыга унижить Сырагара.

— Я не знаю, что он может придумать, но пусть Сырагар остерегается, — закончила она свой рассказ и умчалась в юрту, к нелюбимому мужу.

...На рассвете Шинги отправился на охоту. Он любил свою сестру и не мог не выполнить её просьбу. Да и Сырагар был таким уважаемым человеком, что приятно было услужить ему, сделать для него добро.

III.

В сумоне было шумно. К большой белой юрте Сураглыга то и дело подъезжали гости. Неподалеку паслись их лошади. Между юртами ходили те, кому не полагалось присутствовать на пиршестве у бая. Они издали поглядывали на подъезжавших и спешивавшихся всадников в богатых одеждах, оценивали их убранство, украшения на лошадях, делились мнением о саповитости и богатстве прибывающих.

Подъехал нойон. В соболиной шубе до пят, высокой шапке из песцовых шкур, он, не по чину проворно, соскочил с играющей от нетерпения лошади, бросил подбежавшим людям поводья уздечки с позолоченными украшениями, вскинув голову, бросил молодой взгляд проницательных, широко поставленных глаз на стоявших неподалеку любопытных и, играя толстой плетью из множества тоненьких полосок кожи, направился к байской юрте. Навстречу ему спешил уже Сураглыг. Занскивающе улыбаясь, он гостеприимно протянул к почётному гостю руки и полусогнулся в поклоне. Реденькая седая бородака его упиралась в белый халат, и концы длинных волосинок, казалось, тоже протянулись навстречу князю.

Гость и хозяин скрылись в юрте, сопровождавшие нойона люди отвели в сторону лошадей, пустили их пастись и снова вернулись к юртам. Их окружили, почтительно приветствовали. В одной из юрт для них тоже готовилось угощение, лежали кожаные мешки с аракой. Кое-кто лакомо поглядывал в том направлении, но начинать угощение раньше, чем это сделают в главной юрте, не полагалось.

— С чем пожаловали к нам, сынок, — обратился к одному из бошков старый, сгорбленный от долголетнего труда арат, живший теперь при бае из милости. — Не появилось ли уж много чужих всадников? А то и я встряхну своими косточками, возьму лук в руки.

— Нет, отец, — вежливо засмеялся статный гость в перепоясанном зелёном поясом чёрном новом халате и в шапке, обшитой такого же цвета орнаментом. — Чужих воинов пока нет вблизи. А если и появятся, то вот сколько молодежи у нас, — показал он рукою на окруживших их, улыбающихся людей. — Отдыхай спокойно. Тебя ведь лошадь не примет уже на себя.

Его шутке громко засмеялись. Обиженный старик отошёл, что-то бормоча. Он мог бы не мало рассказать о лихих стычках с монголами, о бывших боевых схватках, но не та нынче молодёжь пошла, как он думал, нет в ней прежнего боевого духа. Им бы баранов пожирнее, побольше, да хорошую юрту с женой.

Бошко, заметив, что старик обиделся, догнал его.

— Не гневайся, акым, не хотел обидеть тебя. Пойдём с на-

ми в юрту, расскажешь, как люди раньше жили, воевали. Тебе ведь много пришлось увидеть?

— Много, сынок, много. Не один монгол ушёл к будде от моей руки, — сердито тряхнул старик головой, показывая почти чёрную, сухую и жилистую руку.

Вслед за ними в юрту направились и остальные.

Вскоре оттуда донёсся весёлый говор, пожелания многих лет и вкусный запах свежей баранины.

Шло пиришество и в большой юрте. На главном месте восседал нойон. Он был в новеньком шёлковом халате, с приглаженными назад блестящими длинными волосами, которые через всю голову опускались к затылку и были настолько черны, что отдавали синевой.

По правую руку нойона сидел сам хозяин, раскрасневшийся, довольный, что принимает у себя таких высоких людей. Небольшие узкие глазки его были скошены в сторону почётного гостя. Он молчал, лишь изредка вставляя в плавную, тихо льющуюся беседу одно-два слова.

Слева от нойона свободно, как дома, расселся бай Октекоол. Он совсем молод, речист, не придерживается обычая уступать в разговоре старшим, позволяет себе даже перебивать речь нойона. Но, что злило Сураглыга, нойона это не обижало, он, как видно, относился к своему ровеснику благосклонно, терпеливо выслушивая его и порою даже поддакивал. Сураглыг уже пожалел, что послал этому выскочке приглашение. Надо было позвать Шаратая, стойбище которого находится за рекою, на краю хошуна. Тот почтителен, вежлив, не разрешает себе вмешиваться в разговор старших по возрасту или чину. А этому ветрогону и богатство-то досталось случайно, раньше времени. Отец поехал в горы проверять, как размножаются его отары, свалился с кручи, умер. А жить бы да жить ещё на свете! Шестой десяток только шёл.

Однако, видя благосклонность нойона к молодому баю, хозяин заменил ему белую глиняную хуву фарфоровой и наполнил её не аракой, а другим напитком, приобретённым у русских купцов.

Опорожнялись посудины из-под араки, поедались закуски. Гости охмелели, и разговор уже вёлся без всякого соблюдения приличий. На хозяина никто не обращал внимания. Он тоже опьянел и, глядя на весёлых, улыбающихся людей вокруг себя, смеялся удачно сказанному кем-нибудь слову, перебивал других, пытался шутить, что ему удавалось не всегда. Он не замечал внимательно наблюдавшего за ним взгляда Шинги, в числе других родственников жены приглашённого на эту пирушку.

— Хозяин, а где твоя молодая жена? — донёсся сквозь мно-

гоголосый говор голос Октек-оола. — Зачем прячешь её от гостей?

— Да-да, покажи нам её, Сураглыг, — обернулся к нему нойон. — Говорят, она у тебя красавица.

Хозяин нашёл взглядом Шинги и собрался сказать ему, чтоб он привёл к гостям Кувискаал. Пусть позавидуют! Как ему было известно, даже у молодого Октек-оола жена была хуже, а о пойоне и говорить нечего: стара, с крупными пожелтевшими зубами и лицом, густо усеянным морщинами.

И вдруг пастушила тишина. Как будто бы сразу у всех перестали слушаться языки. У юрты раздался громкий топот копей, слышно было как кто-то спешивается с лошади. Вот резко отброшен входной полог и у входа остановился Дамчалбай. Лицо его взволнованно, взгляд растерян. При виде нойона, бая Октек-оола и других многочисленных гостей он смешался, не решаясь заговорить. Из-за его спины кто-то выглянул и тотчас спрятался.

— Говори! — приказал нойон.

— Сырагара нет! — выпалил скороговоркой Дамчалбай, глядя то на Сураглыга, то на нойона. — Мы изъездили всё его пастбище и не нашли никаких признаков отары.

— Ты не достоин быть бошком! Ты плохо искал! — гневно промолвил Сураглыг, не отвечая на недоуменный взгляд нойона.

Дамчалбай, не ответив, молча вышел из юрты, а гости, повскакавшие было с мест, заслышав конский топот, снова рассаживались на ковре. Лишь на одного Шинги не подействовала вся эта суматоха и он, как сидел, так и оставался на своём месте, наблюдая полуприкрытыми глазами за Сураглыгом, который что-то объяснял нойону. Видимо, рассказывал, куда и зачем он посылал бошка.

Вновь приподнялась пола юрты, и Дамчалбай ввел связанного по рукам арата. Голова его была обмотана старыми грязными тряпками, ноги обёрнуты кое-как закреплёнными шкурками, из халата во многих местах лезла почерневшая от давности вата.

— Пусть расскажет, где Сырагар, — указал на него пальцем Дамчалбай, жадно переводя взгляд на котёл с дымящейся бараниной и на чашки, наполненные аракой.

Сураглыг подошёл к оборванному арату, брезгливо окинул его взором.

— Говори! — приказал он.

— Я ничего не знаю, — смиренно ответил бедняк.

— Говори! — закричал на него хозяин. — Где этот разбойник? Куда девал моих баранов?! — он размахнулся, ударил потупившегося арата, и тот, вскинув голову, с ненавистью взглянув на него, ответил:

— Твои овцы розданы беднякам, а где Сырагар — не

знаю. Он заявил, что никогда больше не даст тебе и одним пальцем дотронуться до его жены.

— Связать! — закричал Сураглыг. — В холодную юрту! Утром он нам расскажет всё.

Шинги, незаметно следивший за происходящим, пошёл выполнять приказание хозяйша — привести Кувискаал. Она вошла злая. Сураглыг прогнал её из юрты перед тем, как начали собираться гости, и она не хотела сейчас показываться им. Опущенное книзу нежное лицо её раздумянилось, глаза сверкали ненавистью, а полуоткрытые алые губы дрожали от желания произнести злые, резкие слова, что, однако, сделать она боялась.

Но пир был расстроен известием Дамчалбая. Всё великолепие его, задуманное старым, опытным басм, было нарушено и не привело к ожидаемым результатам. Гости разъезжались рано, не слышалось похвальных речей на прощанье. С недовольным видом удалился нойон. Не привлекла его даже Кувискаал, на что рассчитывал Сураглыг.

А утром Сураглыгу доложили, что брошенный в нежилую юрту связанный арат бесследно исчез.

IV.

Человек шёл по лесу. Подойдя к большому поваленному бурей дереву, он остановился, сел переобуться, и пока это делал, прислушался, внимательно посмотрел назад, по сторонам. Стояла тишина, которую лишь иногда нарушал крик лесной птицы, перелетающей с места на место. Ничего подозрительно не было, за ним не следили.

Путник поднялся, снова пошёл. Тропа привела его к высокому каменистому берегу реки. Он ещё раз осмотрелся, убедился в безопасности и по-волчьи завыл. Через минуту ему ответили таким же сигналом и вскоре из-за деревьев вышел Сырагар. На нём была лёгкая, но тёплая одежда: ватные брюки, такая же куртка, меховая шапка-ушанка, на ногах валенки. За спиной висело ружьё, на поясе — нож в кожаном чехле.

— Пойдём, — сказал он, поздоровавшись с пришедшим. — За тобой не следили?

— Нет, тарга. Я шёл осторожно, оглядывался. Не видел никого.

Еле заметной тропой, пробивающейся по самому берегу, они пошли дальше. Несмотря на сильный мороз, далеко внизу билась о каменистое дно небольшая речушка. От воды исходил пар и тут же оседал на деревья, кусты. От этого ветви их покрылись толстым слоем инея, искрящегося в лучах солнца.

Тропа привела их к пещере. Вход в неё был завешен поло-

гом из шкур. Внутри пещера была просторной, горел очажок, возле которого сидела Сюрюн, готовила в небольшом котле баранину. Она улыбулась гостю, показала рукою место у очага, молча приглашая его погреться.

Мужчины сели. Сюрюн положила в чашку мяса, поставила перед ними, принесла из угла пещеры хуу с аракой, наполнила ею чарку, отпила несколько глотков и протянула гостю. Тот, выпив, передал посудину с остатками напитка хозяину.

— Рассказывай, — предложила Сырагар, когда гость утилил голод. — Кужугета видел?

— Видел, тарга. И Кужугета видел, и Сураглыга, и поёна... Всех видел.

Он посмотрел, какое впечатление произвели его слова на хозяев, выждал.

— Зачем ходил к баю и поёну? — спросил Сырагар.

— Меня привели к ним. Шёл к Кужугету, какие-то люди догнали и повели к баю. У него гости были, много чужих лошадей паслось. Он приказал связать мне руки и ноги, положить в холодную юрту.

Он снова умолк, поглядывая на пустую хуу. Сюрюн заметила его взгляд, наполнила её аракой, подала.

— Ты убежал? — спросил Сырагар.

— Ночью кто-то вошёл ко мне, развязал, — ответил гость, отпив несколько маленьких глотков араки. — Думаю, это была женщина.

— А кто?

Он пожал плечами.

— Я взял лошадь, ускакал к Кужугету.

— Нашёл его?

— Через три дня он приведёт отару туда, где ты сказал.

— За тобой никто не шёл? — ещё раз встревоженно спросил Сырагар.

Но гость не ответил. Усталость и арака свалили его — он спал сидя.

Сырагар поднялся, взял винтовку, вышел. Слова Биче-оола — так звали гостя — обеспокоили его. Если Сураглыг выследит его убежище — будет плохо. Но как узнать, известно ли ему место, где он скрывается? Об этом ведают лишь несколько человек. Они не выдадут, Сырагар уверен в этом. Он всё равно осуществит своё намерение: отберёт у бая все отары, раздаст их бедным аратам. Достаточно баю одной. Бедняков в их сумоне много, если даже каждому дать по пятьдесят овец, и то байских отар не хватит.

Так они сделают сначала в своём сумоне, потом в других. И тогда все араты станут одинаковыми, никто никого не обидит.

Так размышляя, он отошёл далеко от пещеры. Остановив-

ширь, осмотрелся, чтобы сообразить, где находится, и хотел уже повернуть назад, как вдруг мысли его были прерваны чьи-то шагами. Оц спрятался за дерево, прислушался. Да, кто-то осторожно пробирался по лесу. Сырагар притаился, ждал.

На тропинке показался человек. Шёл он медленно, опустив книзу голову, следил за следами, кем-то до него оставленными. Но зоркий взгляд его видел всё: и что делается по сторонам, и куда побежал заяц, отпечатав на свежем снегу свои лапки, и что делали птицы, вытоптавшие на полянке множество крестиков и непонятно как понавшую сюда веточку или клочок овечьей шерсти. Он видел, что здесь совсем недавно кто-то прошёл. И вдруг — ещё одни следы, встречные. Они повернули в сторону.

Сырагар, незаметно для путника, следил за ним. И когда тот остановился и подозрительно стал всматриваться в кустарник, он узнал его: Дагба — чабан самой крупной отары бая.

Сырагар сделал движение, чтобы выйти из укрытия, под его ногой хрустнула сухая ветка и Дагба в тот же миг скрылся за деревом. Сырагар окликнул его.

— Кей! — поздоровался чабан, выйдя ему навстречу.

— Зачем пожаловал? — спросил Сырагар.

— Ты всегда принимаешь гостей в лесу? — шуткой ответил ему Дагба.

— Не всякий достоин такой чести, — неопределённо промолвил Сырагар.

— Веди в юрту, разговор есть, — предложил Дагба, видя его нерешительность.

В пещере, куда Сырагар привёл нового гостя, было тепло, хотя и дымно. Дагба сбросил тулуп, сел, посмотрел на спящего у очага Биче-оола, недовольно спросил:

— Зачем здесь?

Сырагар воздержался от ответа.

— Его байские люди вели, у бая был, — сказал Дагба.

— Биче-оол хороший человек. Говори, не бойся, — успокоил его хозяин.

— Пригнал отару, — сразу, без обиняков, приступил к делу Дагба. — Раздай бедным.

— Бая не боишься?

— Чок. Уйду в тайгу. Белку бить, соболя...

Сырагар толкнул Биче-оола. Тот вскочил, протёр глаза, не понимая со сна, где он находится.

— Спешное дело есть, — сказал ему Сырагар. — Бери коня, скачи в сумон, что по ту сторону реки, пусть араты едут за овцами. Пять десятков каждому. Выпей на дорогу, — протянул он хува.

Так бай Сураглыг лишился второй своей отары.

Весть о том, что Сырагар отбирает скот у бая Сураглыга и раздаёт его беднякам, летела по всем сумонам.

Некоторые рассказывали, что Сырагар делает это не один, что вокруг него много таких же, как он сам, молодцов, и они действуют сообща. Другие утверждали, что он развезжает по пастбищам один и обладает такой силой внушения, что чабаны при одном его взгляде гонят отары туда, куда он прикажет, и сами делят их между бедными людьми.

Пожилые араты вспоминали восстание шестидесяти богатырей, рассказывали о нём молодёжи, в их устах вновь всплывали картины неравной борьбы тувинских патриотов с чужеземными захватчиками.

Из юрты в юрту кочевали самые различные рассказы о Сырагаре, порою фантастические, как сказки, чаще — правдоподобные. Они будоражили народ, развязывали уста даже самым несмелым. Всё чаще случались факты неподчинения баям и даже пойнону. Народ стал дерзче, смелее. Поднимались головы бедняков, светлели их взоры. И не один человек подумывал уже о том, чтобы пуститься на поиски Сырагара, пристать к его войнам и действовать с ним заодно.

Нойон и бай встревожились не на шутку. На поиски смельчака было отправлено несколько отрядов, но все они вернулись ни с чем: Сырагар был неуловим. Его видели то в одном месте, то в другом, но как только туда посылали людей, чтобы изловить его, связать и привезти в хошунный центр к нойону — он исчезал так ловко, точно ему помогали земля и небо. Преследователи только разводили руками, бай и нойоны зеленели от злости, а бедняки радостно улыбались.

Больше всех злился Сураглыг. Его богатство таяло, как весенний снег. Не стало уже четырёх отар, исчез табун лошадей. Однажды верный человек донёс ему, где будет ночевать Сырагар. Бай тотчас же помчался к пойнону. К месту почлега снарядили вооружённый отряд во главе с несколькими бошками. Но результаты оказались прежними: когда люди нойона прибыли туда, Сырагара и след простыл.

Тогда Сураглыг решил действовать по-иному. Он подобрал несколько преданных ему людей, хорошо угостил их.

— Я хочу жить с Сырагаром в мире, — сказал он им. — Вы отвезёте ему мои подарки и скажете, что я всё прощаю, пусть только не трогает больше моих баранов и лошадей.

Он вручил им подготовленные подарки: богатый шёлковый халат, вареных баранов, несколько бутылок водки.

Даже Кувискаал не знала, что бараны и водка были отравлены.

Посланцы не нашли Сырагара. Но они встретили людей,

которые взялись передать ему подарки. Сураглыг ликовал. Он считал, что с врагом теперь покончено.

Однако, случилось так, что Сырагар в этот день отсутствовал, подарки вручили Сюрюн, а когда Сырагар явился домой, то жена лежала неподалеку от входа в пещеру мёртвой. Лицо её было искажѐно болью, сквозь распахнутый халат виднелась исцарапанная грудь. Он не узнал причины гибели Сюрюн: в предсмертные минуты она поняла, что подарки бая были отравлены и столкнула их с обрыва в речку, чтобы они не достались мужу.

Узнав, что Сырагар остался жив, Сураглыг ещё больше взбесился. Он поклялся любой ценой уничтожить этого человека, нарушившего его мирную, спокойную жизнь. Запретив кому бы то ни было входить в юрту, кроме Кувискаал, он уселся у очага, поставил рядом с собой бутылку русской водки и предавался размышлениям.

В таком положении и застал его нойон, приехавший к нему, как он сказал, по очень важному делу. Отправив в другую юрту Кувискаал, они долго о чём-то беседовали.

VI.

Сураглыг ждал гостя. Он совсем не знатен, в другое время бай проехал бы мимо и не бросил бы даже взгляда на него. Но сейчас Сураглыг не думал об этом. Обстоятельства складывались так, что приходилось идти на всё: замечать людей, которые раньше сгибались перед тобою до земли, присматриваться к тем, что до сих пор не стоили никакого внимания, прикидываться другом перед врагом. Это заставляла делать нужда: ослабевало могущество бая. С быстротой уходящего весной снега таяли его отары, самые покорные люди дерзко поднимали головы и перечили ему, во взорах батраков, ранее не смевших даже посмотреть ему в глаза, сейчас светилось что-то новое, до сих пор неизвестное Сураглыгу.

А о Сырагаре приходили всё новые, нерадостные вести. Он осмелел, разезжал по пастбищам, как по своим собственным, сбивал с пути чабанов. Только вчера прискакал один начальник арбана и сообщил, что исчезла ещё одна отара.

Сураглыг недавно ездил к нойону, пригнал ему в подарок сто баранов, десяток лошадей и трёх верблюдов, просил поймать Сырагара. Тот пообещал, разослал по всем сумонам своих бошков, но Сырагар был неуловим, он точно насмехался над таргами, появляясь то в одном месте, то в другом, и изпод носа у бошков уводил столько скота, сколько ему хотелось.

Бай допытывался через верных ему людей, кому доставал-

ся украденный у него скот, ему указали на несколько батраков. Но допрос их ничего не дал.

— Чок, — говорили они в один голос.

А разве найдёшь что на обширных просторах, в несчитанных сопках, в тайге?

Не удалась и хитрость, придуманная им. Отравленная пища досталась не Сырагару, а его жене Сюрюн. Сураглыг жалел, что так случилось, он хотел после смерти Сырагара держать её при себе: не так много таких красавиц, как она, на земле, даже его Кувискаал недостойна сидеть рядом с Сюрюн.

Сураглыг оглянулся. Кувискаал в другом конце юрты готовила тару для ожидаемого гостя.

— Чужой человек в юрте, — продолжал думать Сураглыг. — Превжняя жена была етара, морициниста, больна, он не любил её, но слышал от неё ласковые слова. Кувискаал, которую он взял после смерти старухи, молода, красива, но он не знает её ласки, она безотказна, но холодна. Неуютно стало в его богатом жилище, не согревает старое сердце и никогда не гаснущий очаг. Дети заглядывают к нему редко, молча осуждают его женитьбу на молодой красивой батрачке. Редко появляются и друзья, от которых прежде отбоя не было.

Его нерадостные размышления были прерваны шумом, возникшем у юрты. Это, наверно, приехали люди, которых он ждал. Сураглыг обернулся к жене. Кувискаал по-прежнему занималась своим делом, казалось, её не интересует ничто.

Но это было не так. Она чувствовала, что хозяин задумал что-то новое, чтобы уничтожить Сырагара, и пыталась разгадать, предупредить смелого арата. Что угодно предпринять, сделать, только бы тот остался жив! Люди всегда любят отважных, женщины — вдвойне — втройне, но когда отважные проявляют свою удаль не для себя, а для пользы окружающих — любовь народа к ним безмерна. Кувискаал знала, что Сырагаром восхищаются все, даже его враги. Ей помогут предупредить его о прозящей ему опасности. Надо только узнать какая она, эта беда, с которой стороны её ждать. Она надеялась, что Сураглыг не отправит её из юрты, она услышит его разговор с приехавшими.

Она подняла голову и встретилась со взглядом хозяина.

— Тебе надо проведать свою мать, — сказал он, точно угадывая её мысли. — Ты давно не видала её.

Кувискаал могла бы возразить, что она только сегодня была в юрте матери, отнесла подарки своим младшим сёстрам и брату. Но она понимала — её удаляют отсюда, чтобы она не стала свидетельницей какого-то коварного замысла.

У выхода она столкнулась с нойоном и неизвестным ей человеком. Судя по одежде, он был нездешний. Неподалеку от юрты стояло около десятка лошадей: нойон приехал не один, с охраной, но в белую юрту не пригласили больше никого.

Близилась весна. Ярко светило солнце, неглубокий снег стал рыхлиться, потемнел. Ещё немного, и земля освободится от него, на ней появится зелень, кусты караганника выбросят маленькие зелёные листочки, деревья тоже покроются зелёным убором. Кончится долгая, голодная зима, повеселят араты. Впрочем, она, Кувискаал, не знает теперь голода, у неё есть всё — и пища, и одежда, и тёплая юрта. Нет только человека, с которым ей хотелось бы быть рядом и в радости и в горе. Он где-то далеко, и сейчас против него здесь, рядом, плетутся злые козни.

Она постояла, прислушалась, но в юрте разговаривали так тихо, что до слуха не доносились даже отдельные слова.

Кувискаал оглянулась вокруг — вблизи никого. Только вдалеке маячил какой-то одинокий всадник. Она обошла юрту с другой стороны, на цыпочках подкралась к самой кошме. Здесь у неё было проделано маленькое, незаметное глазу, отверстие. Через него, если быть внимательной, можно услышать, о чём там говорят.

Настороженно озираясь по сторонам, чтобы не быть застигнутой врасплох, она приблизила ухо, прислушалась: говорили Сураглыг и нойон. Незнакомец молчал.

— Как только не станет Сырагара—две сотни овец твои,— донёсся ласковый, заискивающий голос бая.—Ещё лошадь в придачу.

— Акым Сураглыг хорошие вещи говорит, — поддержал его нойон. — Надо уничтожить этого разбойника. Он никому покоя не даёт.

Кувискаал отскочила от юрты — кто-то неподалеку шёл.

«Что делать?» — думала она, идя к матери. — «Как спасти Сырагара?»

Тревожно билось сердце, в голове стоял туман. Был бы здесь брат Шинги, она посоветовалась бы с ним, он наверняка помог бы. Но он уехал надолго в тайгу, бить зверя. Оставалась лишь единственная надежда: тот, кому поручили это гнусное дело, скоро не найдёт Сырагара, а она, может, придумает что-нибудь.

Однако беспокойство не оставляло её до конца дня, и ночью, и на следующее утро. Она поехала бы и сама к Сырагару, но где его искать? Правда, Шинги сказал ей как-то однажды, что убежищем отважного арата служит пещера в горах, но где её искать — Кувискаал знает плохо. Хотя брат и рассказал, в каком направлении она расположена, всё же найти её не так просто.

Прошёл ещё день. Беспокойство молодой женщины росло.

На третий сутки она не выдержала. Ранним утром, когда баем овладел прудутренний сладкий сон, она выскользнула из постели, неслышно вышла из юрты. Близится рассвет. Поёжи-

ваясь от холода, Кувискаал нашла лошадь, вспрыгнула на неё и поскакала искать Сырагара.

К восходу солнца всадница отъехала от своего сумона на добрую уртель. Дорога всё время поднималась в гору. По обе стороны стоял густой лес. Неширокая, мало езженная тропа иногда подходила к самому берегу реки, и это убеждало Кувискаал, что она движется в правильном направлении. Прошло ещё часа два пути. Лошадь устала, шла шагом. Места были дикие, незнакомые, и женщина со страхом озиралась по сторонам, прислушивалась к каждому шороху. Ещё большую тревогу в неё вызвали замеченные ею следы недавно проехавшего всадника. Он двигался в том же направлении, что и она.

И вдруг из-за поворота, навстречу ей, показался верховой. Кувискаал испугалась, рванула гриву лошади, та послушно остановилась. Но было уже поздно. Всадник заметил её, стукнул под бока своего коня и, ломая кусты, рысью объехал её.

Это был он! Тот самый незнакомый человек, что приходил с нойоном в их юрту! Она успела заметить окровавленную рукоятку ножа, заткнутого за пояс. В крови была и рука, в которой он держал повод.

— Кей! — насмешливо, протяжно крикнул он ей вдогонку и ещё больше прищпорил коня.

Сердце Кувискаал сжалось. Опоздала? Не сумела уберечь того, о ком всю жизнь думала? И насколько позволяла дорога, она погнала свою лошадь вперёд.

Вскоре тропа привела её к крутому берегу реки. Далеко внизу шумела вода небольшой, буйной речушки. На лошади ехать дальше было нельзя. Она соскочила с неё, пошла по узкой тропинке и через несколько десятков шагов оказалась перед входом в пещеру. Полог из звериных шкур был оборван, из пещеры не доносилось никаких признаков жизни. Кувискаал подала голос один раз, другой — ответом ей было молчание. Она вошла.

У потухшего очага лежал Сырагар. Одна рука его откинута в сторону, другой он ухватился за грудь. Меж пальцев виднелась застывшая кровь. Его, видно, убили предательски, во сне: на лице застыла счастливая улыбка, испорченная гримасой боли.

Кувискаал бросилась на колени, прижалась к любимому лицу. Опоздала! Она виновата в его смерти! И эта тяжесть будет висеть над нею всю жизнь!..

Она поднялась, вытерла рукавом слёзы на глазах, осмотрела последнее пристанище Сырагара. Оно совсем не было похоже на её, богатое. Но с какой бы радостью она променяла свою обширную белую юрту на эту убогую, голую пещеру!..

И тут она увидела ружьё в углу. С горящим взглядом подошла она к нему, проверила — заряжено. В последний раз

взглянув на любимого, Кувискаал быстро вышла из пещеры, подбежала к лошади, вскочила на неё и что есть мочи помчалась догонять убийцу.

Прошло много времени, пока она его настигла. Её начала уже одолевать мысль, что он, наверно, поехал не в сумон, а свернул куда-нибудь в сторону, что она не сможет выполнить задуманное. Она хотела было уже со злостью бросить ружьё и мчаться куда глаза глядят, чтобы забыться от горя, как вдруг увидела его. Он ехал теперь спокойным шагом и что-то негромко напевал.

Кувискаал подскочила близко к нему, подняла ружьё:

— Кей! — так же насмешливо, как и он, только громко крикнула она. — Получай твоих баранов и коня.

Он обернулся, увидел наведённое на него дуло ружья. Песня оборвалась на полуслове.

Грянул выстрел. Лошадь рванула вперёд, всадник начал медленно клониться набок и упал ей под копыта.

Кувискаал подъехала. Он был мёртв.

— Собака! — с презрением промолвила она, отбросила в сторону ружьё и тронула лошадь.

Евгений Меркушин

ПОДАРОК ДРУГА

Рассказ

Старший брат мой Максим работал в геолого-разведочной партии Терлиг-Хая, расположенной среди высоких гор. Небольшие домики рабочего посёлка цепочкой растянулись по берегам быстрой горной речушки. День был пасмурный. Временами в окно квартиры стучал косой хлесткий дождь. Максим, сидя за столом, чертил проект новой штольни.

Перебирая книги в его личной библиотеке, я заметил на верхней полке портрет Владимира Ильича Ленина, вырезанный из газеты и вставленный в дубовую рамку. На обороте его было написано «Фын Ю-Лян. 1920 год». Газетная бумага, наклеенная на картон, сильно потёрлась и пожелтела от времени, но черты лица ещё хорошо сохранились.

— Откуда этот портрет? — спросил я у брата.

— Подарок друга, — ответил Максим. Лицо его стало задумчивым и серьёзным. — Если хочешь знать эту историю, могу рассказать.

...Мне шёл девятнадцатый год, когда разгорелась гражданская война в Забайкалье, — начал, не торопясь, Максим, набивая табак в трубку. — Однажды летом наш партизанский отряд выбил карателей из станицы Зоргал, что стоит на голубой Аргуни. После тяжёлого боя привязали мы с отцом лошадей у плетня, а сами зашли в низенькую избушку.

Кругом ни души, даже куры со страху попрятались. Открыл я западню в подполье и крикнул:

— Кто там есть живой? Вылезай!

Никто не откликнулся. Только через минуту послышался

шорох и из темноты показалась седая голова старушки. Глаза у неё большие, смотрят на нас умоляюще:

— Чьи вы, сынок, будете? — спрашивает.

— Красные, бабушка, не бойся.

— Слава тебе, господи, — вздохнула она, тяжело поднимаясь по лесенке. — Второй день сижу здесь. Страху перетерпела, не дай бог никому.

Она суетливо стала растоплять печку сухим аргалом, потом поставила варить большой чугунок с картошкой.

— Вчера перед нашей избой каратели собрали всех подростков, у которых родня в партизанах, — рассказывала старушка, утирая глаза передником. — Разнагишали их, бедных, и заставили под гармошку плясать. Один белобрысый уштер норовил всё плёткой хлестать по голому телу, а остальные хохочут, любо им, как дитятки извиваются. Так вот и запороли, окаянные, соседского Андрюшку, не сдюжил, сердешный. Четырнадцать годочков минуло ему, царство небесное.

Надвигались сумерки... Я напоил лошадей, отпустил их в загон и такую почувствовал усталость, что не помню, как свернулся на отцовской шинели, подложив под изголовье монгольское седло. Ночью слышу сквозь сон глухие выстрелы и конский топот. Старушка тербит меня за плечо:

— Вставай, сынок, беда опять приключилась. Белые занимают станицу.

Схватил я ружьё и выскочил во двор. Ночь тёмная, хоть глаза выколи. Не успел я с крыльца сбежать, кто-то бах по голове прикладом. Я повалился на землю. Наралились на меня двое, ругаются на чём свет стоит, верёвками руки вяжут, а один рот зажимает. Попал его палец мне на зубы — придавил его, даже кость хрустнула. Избили они меня до потери сознания и в пустой амбар бросили.

А на другой день снова поиздевались вволю и повели на расстрел. Смотрю, батька мой рядом шагает, весь в крови, и рубаха на нём вся изорвана в клочья.

— Не довелось нам, Макся, при Советской власти пожить, — тихо сказал отец, а в горле у него что-то хрипит и губы распухли. Хочу сказать что-нибудь в ответ и не могу, язык будто присох, не ворочается.

Солнышко уже к вечеру клонит. Молча идём мы и смотрим в последний раз на огненный закат, на родимую степь и золотистый ковыль; клокочет всё в груди, а что поделасшь? Никуда не уйдёшь. Один из конвойных ткнул меня прикладом в спину, крикнул:

— Чего, стерва, кулаки сучишь! Шагай!

Поставили нас, шестерых пленных, на краю глубокой ямы, возле тарбаганьих нор, заросших зелёной травой. Стою в одном белье, а ноги так и подкашиваются, вот-вот свалюсь.

Подняли белоказакки винтовки по команде офицера. Вижу, крайний в меня целится, а у самого руки словно лихорадка бьёт. Понимаешь, узнал он меня. Наш станичник Семён Кугенков, бедняк из бедняков, видно, что его насильно белые мобилизовали. Грохнули выстрелы. Пуля только чиркнула мне плечо. В тот же миг обернулся я и прыгнул через яму. Откуда и прятё взялась! Бегу, спотыкаюсь, пули визжат. Одна перебила левую руку выше локтя, а другая вот здесь повредила ключицу.

Спрятался я в кустах возле Аргуни, темнеть уже стало. Дрожу весь от холода. Слышу — погони. Бросился я тогда в воду и поплыл на правый берег к китайцам. Вода холоднющая, захлёбываться начал, выбился совсем из сил. Только нащупал ногами дно и потерял сознание...

Очнулся на следующее утро в китайской фанзе, чумизой и гаоляном пахнет. Стоит надо мной китаец с бритым лбом и длинными чёрными косами. Смотрит так ласково и говорит нараспев на ломаном русском языке:

— Моя ходи вчера на ваш берег, видел тебя белые так бух! бух! Стреляли. Моя знает, ты большевика. Шибка хо!

Китаец щелкнул одобрительно языком, поглаживая шершавой ладонью мою голову. Сам протягивает мне рис в фарфоровой чашке и две палочки вместо ложки. Не успел я до пищи дотронуться, слышу, на конях скачут. «Кзаки!» — искрой мелькнула страшная мысль. Китаец спрятал меня под циновками, а сам вышел на улицу. Остановились всадники у фанзы, давай кругом шарить. Один ткнул дважды в циновки шашкой, чуть было в меня не угодил. Потом схватил китайца на пороге за косы и заорал:

— Признавайся, фазан, куда запрятал гадёныша!

Взвыл от боли китаец, но не вымолвил ни слова.

Пнул его казак подкованным сапогом, вскочил на коня и галопом обратно.

Три месяца заботливо ухаживал за мной китаец, фанзы перевязывал, новую одежду достал. Полюбили мы друг друга, как братья. И вот настало время расстаться. Переправил он меня на лодке через Аргуни. Ночь лунная, вода тихо плещется. Стоим мы на берегу в обнимку, а слёзы у обоих так и кажутся. Долго этак стояли и плакали, жалко было ему меня отпускать. Потом присели на мокрый песок. Даёт мне китаец мешочек с пампушками и бумажный пакет вот с этим портретом, сам никак не может успокоиться.

Пожал он на прощанье мне руку и сказал:

— Шаңго, сеза, шаңго¹. Я твоя братка.

¹ Иди, мальчик (парень), иди.

Побрёл я вдоль берега, оглянусь назад, а китаец всё ещё смотрит мне вслед.

На четвёртые сутки разыскал я свой партизанский отряд. Окружили меня ребята, спрашивают: где был, как живым остался?

Достал я бумажный пакет, вынул портрет Ильича, подаю им. Сам рассказываю всё как было.

— Молодец, Максим, береги его, как память о хорошем друге, — сказал командир.

Зашил я портрет в карман гимнастёрки, два года хранил у самого сердца, во всех боях он со мной побывал.

Много лет прошло с той поры. Но я и сейчас забыть не могу, как спасал мою жизнь Фын Ю-Лян, мой первый китайский товарищ.

Максим умолк, снова набивая табаком трубку. Заметно было, что он взволнован от нахлынувших воспоминаний.

Сильнее прежнего забарабанил дождь по крыше, сверкали молнии и где-то далеко в ущелье тяжело ударил гром. Долго я рассматривал портрет Владимира Ильича, думая о том, как дорого имя вождя на земле для каждого рабочего человека.

Олег Гаврилов

СЧАСТЬЕ ЛОПСАНА

Рассказ

Ночь в тайге наступает как-то внезапно, здесь нет мягких полутонов и постепенного перехода ясного погожего денька к ночи. Ещё только что было светло и ясно, но вот покрасневший диск солнца скрылся за зубчатым хребтом, и сразу в лесу под мохнатыми лапами пихт и кедров наступила темнота. А луна уже давно поднялась над горизонтом, и, казалось, ждала, когда дневное светило уйдёт на покой, чтобы залить бледным мертвенным светом тёмный мрачноватый лес и зазубренные вершины гор. Мороз в это время крепчает, слышно, как кряхтят лопающиеся от холода деревья-великаны, снег загорается бесчисленными мириадами алмазных блестков, и ели кажутся по-новогоднему разукрашенными в призрачном лунном свете. Воздух приобретает особую звучность, и далеко кругом слышен малейший хруст снега, потревоженного при движении...

В это время я успел добраться до заброшенной в глухой тайге охотничьей избушки, вскипятить чай, сварить подстреленных дорогой рябчиков и теперь отдыхал, расправив приятные ноющие от усталости ноги на широких нарах, покрытых пушистыми оленьими шкурами.

Внезапно мой отдых был прерван щёлканьем копыт, фырканием оленей и мелодичной песней возвращавшегося охотника. Через несколько минут в узкую дверь избушки протиснулся коренастый паренёк. Швырнув небрежным жестом на нары связку шкурок, он улыбнулся смуглым скуластым лицом и, озорно прищулив глаза, протянул традиционное:

— Эки-и, эш!

Затем, стараясь придать улыбающемуся лицу больше солидности, расстегнул шубу и протянул к жарко пылавшей печке огрубевшие на морозе руки. Немного помолчав, я спросил, каковы сегодня его успехи. Он кивнул головой на связку шуток и степенно пояснил:

-- Мало-мало есть! Пятнадцать бельчонок, да алды¹ удалось добыть, — и не удержавшись, широко улыбнулся. --- Сегодня хороший день.

Я начал рассматривать добытых зверьков, разглаживая руками шелковистый густой пух тёмного с сединой соболя. Постепенно завязался разговор. Иргит, так звали охотника, сообщил, что добыл восемнадцать соболей, около двухсот белок и с десяток колонков. Затем он рассказал, что другие охотники его зваца Лопсан и Сарыг-оол добыли ещё больше его. Особенно удачно поохотился звеньевой Лопсан. На его счету уже тридцать два соболя и больше трехсот белок. Из разговора я узнал, что Лопсан и Сарыг-оол уехали на три дня в отдалённое урочище Кара-Ужар, богатое соболями, и сегодня должны вернуться.

Как бы в подтверждение этих слов вскоре послышался скрип снега, и в избушке появились охотники, обсыпанные падающей с деревьев кухтой.

— А, охотовед приехал, — протянул худощавый, невысокого роста старик. Его лицо, изборождённое глубокими морщинами, оживилось. Умными, глубоко посаженными глазами он пристально, как бы изучая, посмотрел на меня.

— Вовремя угадал, — добавил он. — А то ждать бы нас пришлось. Мы с Сарыг-оолом далеко были. Однако двести километров по тайге проехали, соболей искали. Около избушки совсем соболей не стало — выбили.

Его спутник, обнажив копну иссиня чёрных волос, молча прислушивался к разговору, затем встал и, кивнув Иргиту, вышел на улицу. Иргит, быстро одевшись, поспешил следом за ним.

— Олешек пошли кормить, — сказал Лопсан. Сарыг-оол сам никогда за стол не сядет, пока олешек не пустит кормиться, и Иргита к этому приучает.

Затем Лопсан достал из-за голенища маймака, сшитого из оленьих лапок, длинную узорчатую трубку и, набив табаком, прикурил. Через несколько затяжек он бережно вытер трубку полой халата и протянул мне.

— Иргит за последнее время скучать в тайге стал. Скоро два месяца будет, как вышли на охоту. Кино, говорит, давно не видел, радио нет, книжки, что с собой брал, все пересчитал,

¹ Алды — соболя (диалект.).

да и Чечекмаа часто по ночам стала сниться. Сегодня говорить с ним буду.

Слова Лопсана прервал визг собак и скрип отворяющейся двери. Впустив клубы морозного воздуха, в избушку вошли охотники...

В тайге нет гостей. Неписанная традиция гласит: кто первый придёт в избушку, тот и должен готовить ужин для себя и для товарищей, находящихся в тайге. Следуя этой традиции, я стал угощать охотников. Ужин прошёл в молчании и быстро, но чаепитие затянулось. Налив себе чашку крепкого, чуть подсоленного и приправленного молоком чая, Лопсан попросил меня рассказать новости.

Новости! Какое короткое слово, но как много нужно говорить. Охотников интересовало буквально всё. Они спрашивали, сколько пушнины добыло соседнее, соревнующееся с ними звено, как идёт охотничий промысел в других районах области, как проходит подготовка к фестивалю молодёжи, с какой скоростью летает самолёт ТУ-104, вышибли ли агрессоров из Египта, установилось ли спокойствие в Будапеште, сколько стоит урянхайский соболь на международном рынке, принята ли Монголия в ООН, скоро ли будут патроны к карабинам. Когда бесконечное чаепитие кончилось, стрелки часов показывали двенадцать. С нар поднялся Лопсан и, подбросив дров в погасшую печурку, сказал:

— Шестьдесят семь вёсен встретил я в тайге, но каждый раз радуюсь, как ребёнок, когда что-нибудь новое узнаю. Спасибо, тарга, шибко хорошо рассказал. Однако, давай новости из мешка, завтра сами читать будем.

Я достал из рюкзака газеты и журналы и передал старику. Руки Иргита невольно потянулись к ним.

— Подожди!—строго остановил его старик. — Сейчас я расскажу такое, чего в газете не найдёшь.

Затянувшись душистым дымом, старик спокойно начал своё повествование.

— Вот! — кивнул он в сторону Иргита, и тот, смутившись, низко опустил голову. — Молодой сильный парень, а часто от него слова недовольства слышишь. Обижается, что бани в тайге нет, что спит не на пружинной койке, что приёмник в избушке не поставили. Впрочем, у каждого человека своё понятие о счастье,—неожиданно грустно сказал старик.—После сахара и пряник горьким кажется, а после согуны¹ и хлеб слаще сахара. Так же и счастье. Пока нехватишь по горло лиха, счастье своё не оценишь. Послушайте, как мы жили.

Родился я, когда зима сломалась и солнце начало растоплять смолу лиственниц. Обтёрла меня мать сухой травой, завернула в шкурку пыжика (молодого оленя) и уложила в

¹ Согуна — горький дикий лук.

берестяную кавай¹, утеплённую сухим растёртым навозом оленя. И так болтался я в зыбке на спине оленя, пока не стал держаться на своих ногах. Волк где завидит зверя, там и живёт. Так и мы. Убьёт отец марала, ставим чум около него и объедаемся так, что ходить не можем. Кончится мясо, складываем чум — всё имущество наше один олень возил—и опять кочевать. От голода животы так подводит, что кору деревьев, как зайцы, грызли. Вымирал тувинский народ. Муки, крупы, сахару мы не знали.

Один раз ездили мы всей семьёй в соседний сумон смотреть новый котёл. Охотник, который купил его, очень доволен был, что обманул китайца-купца. Купец взял за котёл столько соболей, сколько вошло в котёл и в придачу ещё горсть бисеру дал. Добрый был купец!

Богатая зверем тайга и рыбные озёра принадлежали нойону Да-хошуна. За то, что мы охотились в тайге, приходилось отдавать нойону часть пушнины. Приедет чиновник, надо платить албан (натуральный налог пушшиной). Отдашь лучших соболей, да в придачу «белек» (подарок) дашь тужумету, чтобы не смотрел на тебя зверем. Нойону ещё ундюрюг (налог) платить надо. А что останется у тебя, везёшь длинноносому купцу. Приедешь к нему, а он ласковый, как жирный кот, но руки-когти в тебя запустить норовит. Подарок даст. спиртом угостит, а когда уезжать хватишься, пусто в сумаче. Приходилось товары брать в долг. В долг возьмёшь, всё равно, что петлю себе на шею набросишь. Будет тебя эта петля душить до самой смерти. Рано умерла вся моя семья от какой-то дурной болезни. Шаман лечил, но сколько ни призывал духов, ничем не мог помочь. Забрал он за лечение последних оленей и жалкий скарб, а я пошёл бродить по тайге. Долго скитался я так, чуть не умер от голода. Ветер качал меня, как молодую ёлочку.

Пришёл на реку Хамсару к русским посольщикам-староверам. Русские тогда только начинали здесь селиться. Стал батрачить у них. Откормился маленько. Правда, кормили меня под порогом, в избу не пускали. У них религия строгая, говорили, что собакам и тувинцам нельзя в избы ходить. Здесь я впервые узнал вкус хлеба. До чего же он вкусным мне тогда показался. Староверы научили меня рыбу ловить, добывать соболя кулемками...

Вся жизнь бы прошла в батраках, если бы не пришла новая власть. Отняли землю, тайгу и озёра у баев. Выгнали нойонов, чайзанов и тужуметов. Легче жить стало...

Потом колхоз организовался, и я вступил в него. Только здесь я узнал счастье. Сколько пушнины добудем, сколько ры-

¹ Кавай — зыбка.

бы добудем — всё наше. Большое стадо оленей развели — государство нам помогало. Артель большая, сил много, зажили богато. Посёлок не узнать — нет берестяных чумов и юрт, появились сельсовет, клуб, больница, школа, чёрный ящик хорошие песни поёт, со всего мира новости говорит. Внучка меня читать научила. В книге, как в богатой тайге, следов много-много. Долго не мог разобраться я в книжных следах. Так соболя в тайге целый день гоняешь. По следам видишь, что он делает, но пока доберёшься до него, много поту прольёшь. В книжке похоже. Бродишь по строчке, буквы знакомые, но пока слово из них сложится — пот градом катится с лица. Но ничего, одолел! Сейчас в книгу смотрю, и всё хорошо понимаю, будто читаю таёжные следы по первому следу.

В колхозе жить стал, богатство в дом пришло. И ещё скажу, что уважать старика стали, депутатом в райсовете выбрали, теперь власть в своих руках держим. Думал ли я, бедный арат, что когда-нибудь дождусь такой жизни? А ещё нынче летом ездил в город-сказку. Раньше у меня и снов таких не было, даже в сказках об этом не говорили, что я посмотрел своими глазами.

Лопсан как бы нечаянно распахнул халат, и на груди его блеснула золотая медаль участника сельскохозяйственной выставки. Морщины старика разгладились, глаза молодо блеснули из-под кустистых бровей. Он вынул из кармана свёрток и, развернув мягчайшую оленью замшу, достал оттуда красную книжечку. Высоко подняв её над головой, старик торжественно проговорил:

— Вот кто принёс нам счастье! Я, старый арат, до конца буду верен партии за то, что она сделала меня человеком, — и, взглянув на Иргита, добавил, — когда-нибудь и ты, Иргит, расскажешь внукам о том, как мы живём сейчас, и им, жителям солнечной страны коммунизма, интересно будет послушать об этом.

Неожиданно голос старика наполнился гневом и силой:

— Но если заморские росомахи будут мешать нам строить счастье, пусть знают, что Лопсан ещё бьёт белку в глаз и не даст спуску кровавым коккаракам¹.

Он был великолепен в эти минуты. От его маленькой фигуры с красной книжечкой в руке веяло силой, мужеством и убеждением. В избушке воцарилось торжественное молчание. Старик опустил на шкуры и, хлебнув остывшего чая, неожиданно сказал:

— Однако, спать надо! Утром в Кара-Ужар пойдём соболей гонять.

Я вышел из избушки. Лёгкие обжёг морозный воздух. За

¹ Коккарак — волк.

хребтом тянул унылую песню волк. Звёзды неярко светились в побледневшем небе.

На востоке, где рождается солнце, кармином наливалась заря.

СЛУЧАЙ В ГОРАХ

Рассказ

День клонился к вечеру, и мороз крепчал с каждым часом. От большой болотистой мари, раскинувшейся на высокогорном плато, поднимался вверх тёплый влажный воздух, но охладившись, тут же оседал, окутывая белой ватой тумана чахлые кустики высокогорной карликовой берёзки. По мари, чавкая копытами, бродило стадо оленей. Казалось, что это движутся какие-то сказочные звери, так как в тумане изображение их было увеличенным и расплывчатым.

Налетел порыв ветра, всколыхнул плотную завесу тумана, стряхнул обильную кухту с кустов. Олени тревожно вздёргнули вверх свои увенчанные ветвистыми рогами головы и зашевелили подвижными замшевыми ноздрями. Порыв ветерка донёс до оленей запах врага, и через мгновение всё стадо, поднимая при скачках фонтанчики ржавой воды, понеслось по три в сторону темнеющего леса.

Колхозный оленевод Серен, сгорбленный годами, как лиственница северным ветром, находился поблизости от стада. Он удивлённо вскинул голову и огляделся. Вдалеке зыбкими тенями мелькали спины удиравших оленей, еле слышно доносилось шлёпанье копыт по вязкой, не поддающейся морозу трясине.

— Что могло встревожить оленей? Ведь такие хищники, как волк, рысь или росомаха, редко нападают на добычу днём, предпочитая действовать под покровом темноты. Наверное, олени испугались звука падающих пластов кухты,—мелькнуло в голове оленевода.

Тем не менее, он ловким, выработанным годами движением, вскинул ружьё на плечи и поспешил за оленями.

— Тайга близко, день кончается и разбежавшихся оленей могут задрать хищники, — подумал Серен.

Не успел он пройти и полсотни шагов, как впереди послышалось ворчанье, и в колышавшемся мареве тумана показалась тёмная копна, бешено несущаяся навстречу оленеводу. Серен быстро сдёргнул с плеча ружьё и, клацнув затвором, послал в ствол патрон. Глухо щёлкнул в тумане выстрел. В то же мгновение что-то со страшной силой толкнуло Серена в грудь.

и он почувствовал, что падает в холодную пропасть. Перед глазами бешеной каруселью замелькали радужные круги...

Старый, со свалывшейся клочками шерстью, огромный бурый медведь ещё не ложился этой осенью в берлогу. Совсем недавно его ранил в плечо кусок свища, недостаточно метко пущенный охотником. Медведь скрылся в непролазной густой уреме, и до самой осени отлеживался там, залечивая рану. Жир, накопленный на зиму под шкурой, исчез во время болезни.

Ослабевший и исхудавший, покинул медведь место своего убежища, когда рана немного заросла. Инстинкт подсказывал ему, что в берлогу ложиться нельзя, не имея запаса сала, которое сохранило бы ему жизнь и тепло во время долгой зимней спячки.

...И пошёл бродить по тайге, нагоняя страх на её обитатель, голодный и обзолённый, с ноющей раной, медведь-шатун. Что может быть страшнее в тайге, чем встреча с шатуном, которому голод и злоба придают ужасную силу? Пугливые маралы моментально исчезали, едва зачуяв запах его смрадного косматого тела, грациозные косули паслись на открытых местах, где к ним нельзя было подкрасться, лоси степенно уходили в тайгу, едва завидев его горбатую спину.

Вначале медведь питался опавшими шишками кедра, но затем их растаскали белки, мыши, сойки, кедровки и другие обитатели тайги, остатки же завалил глубокий снег. Медведь покинул бескормные места и пошёл шататься по горам в поисках пищи.

В этот день он добрёл до широкой мари, и здесь его обоняние зашекетал запах пасущихся оленей. Медведь моментально прилёг и маленькими подслеповатыми глазками стал оглядывать местность. Невдалеке пощипывало мох стадо оленей, предводительствуемое большим старым быком с красной тряпкой на шее.

Медведь, расплотившись, как пустая шкура, вжался в мох и стал медленно подползать к стаду, которое, не замечая опасности, постепенно приближалось к нему. Когда он дополз до кустика, росшего в одиночестве перед открытой марью, передовой олень поднял голову и огляделся.

Шатун залёг — дальше двигаться было нельзя. Несмотря на то, что голод подстегивал его, он терпеливо лежал за кустом, выжидая момент для нападения. Олени постепенно приближались, не замечая затаившегося врага. Когда до них осталось несколько прыжков, порыв ветерка донёс оленям запах медведя, и они исчезли в тумане. Охота сорвалась!

Медведь уже собирался покинуть лежку, как вдруг послы-

шались шаги и показался человек. В другое время медведь бы уступил ему дорогу, но сейчас, гонимый голодом и злобой, он со слепой яростью бросился навстречу. Раздался выстрел в его грудь прошла раскалённая игла, но шатун в предсмертной конвульсии сжал в страшных когтистых лапах слабое податливое тело человека...

Долго ждала Агармаа мужа в этот вечер. Уже погасли огни в домишках небольшой, затерянной в горах, оленеводческой фермы, но муж не возвращался. В полночь вернулся встревоженный сменный пастух. Он не нашёл ни Серена, ни стада оленей.

Агармаа наскоро оделась, и они с пастухом поспешили к заведующему фермой. Бригадир Мендуме, узнав, что пастух Серен потерялся со стадом оленей, встревожился. Серен был опытным оленеводом, и только какой-то неожиданный случай был причиной тому, что его не нашли на пастбищах.

Скоро в темноте ночи тусклыми светляками замелькали огни фонарей, слышались удивлённо-испуганные людские возгласы и лай собак. Бригадир быстро отобрал пятерых бывалых и опытных мужчин на поиски Серена. Решено было начать их, не дожидаясь утра.

Через некоторое время пастухи уверенно продвигались вперёд по знакомой тропе, ведущей к пастбищам, освещая её желтоватым светом фонарей. Чего не мог найти сменный пастух в темноте, то быстро отыскивали с фонарями опытные следопыты. Разбираясь в запутанных следах оленьего стада, они дошли до болотистой мари. Тут следы потерялись, но это не смутило оленеводов. Несколько человек пошли в обход мари, остальные остались разыскивать потерянные следы.

Прошло несколько часов безуспешных поисков, когда прибежал посыльный от группы пастухов, ушедших в обход. Он сообщил, что найдены следы стада оленей, разбежавшихся по тайге, но следов Серена не обнаружено...

На востоке заметно посветело и фонари стали не нужны. Один из пастухов, пристально вглядывавшийся в болотистую равнину, обнаружил на ней тёмное пятно. Через несколько минут вся группа направилась к нему. Когда пастухи добрались до места, их глазам представилась страшная картина.

Среди низких болотных кочек лежал, широко раскинув руки, неподвижный Серен, а сверху, обхватив его когтистыми лапами, покоилась туша огромного медведя. Лицо Серена, залитое своей и чёрной медвежьей кровью, было неузнаваемым, кожа на голове была изодрана когтями зверя и свисала кровавыми лоскутьями. Рядом валялось отброшенное ударом ружьё.

С трудом освободив тело Серена из закостеневших медвежьих объятий, пастухи положили его на разостланную шубу. Старый товарищ Серена оленевод Мендуме тихо, словно боясь неосторожным движением нарушить установившуюся тишину, наклонился над телом и приложил ухо к груди. В это время из груди Серена вырвался еле слышный, хриплый стон.

— Он жив! — воскликнул Мендуме, и по щекам его, блеснув, скатились слезинки. — Быстро готовьте посылки. — произнёс он.

Пастухов не нужно было долго просить, в мгновение ока были изготовлены лёгкие посылки с натянутой на них палаткой. На них осторожно положили завернутое в шубы тело Серена, и печальная процессия тронулась в путь. За весь переход пострадавший ни разу не пришёл в сознание, только изредка стонал, когда посылщики неосторожным движением причиняли ему боль.

Когда солнце выглянуло из-за поросших лесом хребтов, Серен был доставлен в посёлок. Там его уже ожидал приехавший из колхоза молодой врач. Беглый осмотр больного дал неутешительные результаты — сломана грудная клетка и повреждён череп.

Врач осторожно отмыл от запекшейся крови лицо больного. Ему помогала Агармаа. Она автоматически двигала руками, но её сухие воспалённые глаза, не отрываясь, смотрели на неузнаваемое пожелтевшее лицо мужа, на его ввалившиеся щеки и заострившийся нос. Страшное горе, свалившееся на неё, оглушило и перехватило слёзы, только в горле стоял какой-то горький липкий комок, и она делала судорожные глотательные движения, пытаясь избавиться от него.

Врач сделал Серену укол, и тело больного затрепетало. Через несколько минут дрогнули веки, Серен открыл глаза, и невидящим взглядом уставился в потолок. Затем взгляд прояснился, приобрёл осмысленность, и хрипкое тяжёлое дыхание вырвалось из больной груди сквозь стиснутые зубы. Врач наклонился к больному.

— Где о-о-олени? — услышал он хриплый голос. Затем веки Серена сомкнулись, и он снова потерял сознание. Агармаа с криком метнулась к мужу, но врач мягким движением отстранил её.

— Эмчи! Спаси его! — кричала женщина, ломая руки.

— Я сделаю всё, что в моих силах, — ответил врач. — Но больного надо отправить в областной центр. Там опытные хирурги, они спасут ему жизнь.

В комнату тихо вошёл Мендуме, и врач повернулся к нему:

— На оленях везти больного на аэродром нельзя, семидесятикилометровую тряску ему не выдержать. Свяжитесь по ра-

ции с областным центром, я передам санзадание и вызову сюда самолёт.

Мендуме вышел. Через полчаса группа оленеводов под его руководством разыскивала площадку для посадки самолёта. Многочасовые поиски не увенчались успехом — подходящей площадки не находилось.

— Нужно посадить самолёт на озеро,—предложил Мендуме.

— Там тонкий лёд, он не выдержит тяжести самолёта, — возражали оленеводы, но бригадир настаивал на своём.

Вскоре в область сообщили о возможности посадки на озеро и данные толщины льда. Из аэропорта ответили, чтобы на озере готовили площадку и посоветовали наморазживать лёд.

Весь день и ночь кипела работа на озере. Из прорубей таскали ведрами и возили в бочках воду, разливая её тонким слоем на поверхности очищенного от снега льда. Ядрёный ноябрьский морозец быстро сковывал разлитую воду. Толщина льда немного увеличилась.

В это время врач, уже не спавший вторые сутки, боролся за жизнь больного, который то на короткое время приходил в сознание, то снова впадал в забытие. По радию передали в область об ухудшении состояния больного и попросили быстрее высылать самолёт.

Утром в кабинет начальника аэропорта вошёл стройный юноша в лёгком комбинезоне и мохнатых собачьих унтах. Начальник поднялся из-за стола, крепко пожал протянутую ему руку, прошёлся по комнате и закурил папиросу.

— Товарищ Воронин, я вызвал вас, чтобы поговорить о предстоящем полёте, — повернувшись к пилоту, сказал он.

— Я готов к вылету! — ответил лётчик. — Материальная часть в порядке, врач уже ожидает на аэродроме. Сейчас я беседовал с гидрологом о ледовом режиме озера. Посадить самолёт на озере можно. У берегов лёд толще, чем на середине. В начале посадки тяжесть самолёта незначительна, затем она будет возрастать, но по направлению к берегу будет увеличиваться и толщина льда. У берега лёд вполне выдержит тяжесть самолёта.

Начальник внимательно посмотрел на волевое, задубленное ветром лицо пилота и спросил:

— Какую погоду обещают сегодня синоптики?

— Погода неважная, горы закрыты облаками, но я надеюсь провести машину, — ответил Воронин.

— Ну что ж, желаю вам счастливого рейса...

Через несколько минут самолёт с красными полосами на крыльях оторвался от взлётной дорожки и взмыл в небо.

Полчаса полёта, и холмистая степь осталась позади. Под крылом проплывали горы, покрытые густой щёткой тайги. На небе стали появляться небольшие с рваными краями тучки, затем самолёт вошёл в сплошную облачность. Машину начало сильно болтать.

Воронин потянул ручку на себя, и машина послушно стала набирать высоту. Пробив облачность, лётчик стал проклядывать курс, следя за показаниями приборов. Самолёт выходил к точке посадки. Внизу расстилалось безбрежное море клубящихся беломраморных облаков, ярко освещённых солнцем. Посадочная площадка была закрыта. Пилот взглянул на альтиметр. Стрелка прибора показывала 3000 метров над уровнем моря. Пробивать облачность и выходить на посадку нельзя — самолёт может врезаться в горы. Заложив несколько виражей над невидимой посадочной площадкой, пилот положил машину на обратный курс...

Получив известие о вылете самолёта, врач приказал готовить раненого к отправке на озеро. Через полчаса, бережно закутанный в меха, Серен был доставлен на место. Прошло несколько томительных минут ожидания, затем присутствующие услышали гул мотора. Он постепенно нарастал, но машину не было видно в облаках, сплошь закрывших небо. Было слышно, как самолёт кругами ходил над озером, потом гул его стал постепенно затихать. Отчаянию Агармаа не было предела. На её глазах умирал муж, долгие годы деливший с ней радости и невзгоды, и ему ничем нельзя было помочь.

Прибежал запыхавшийся радист и передал известие о том, что через четыре часа будет повторная попытка посадить самолёт.

В указанный срок все собрались на озере. Небольшой ветерок разогнал облака, между ними появились широкие просветы. Мендуме, пристально вглядывавшийся в небо, первым заметил маленькую точку на горизонте.

— Летит! — крикнул он.

Толпа ожидающих всколыхнулась, и взоры всех устремились вверх. Теперь уже все ясно видели выростающую на глазах серебристую машину. Самолёт с рёвом пронёсся над озером, и описав несколько кругов, зашёл на посадку. Вот лыжи коснулись льда, самолёт плавно спружинил и покатил по ледяной дорожке, отмеченной верхушками зелёных ёлочек, затем, взревев мотором, стал выкруливаться к берегу.

Присутствующие видели, как оседал молодой лёд под тяжестью машины, но ещё немного — и самолёт оказался у берега, где лёд был толще. Открылся прозрачный колпак кабины, и из неё показалось потное, от напряжения лицо пилота.

Воронин заглушил мотор, помог вылезти врачу, а затем направился рассматривать взлётную дорожку. Дорожка была в плохом состоянии, лёд растрескался, кое-где выступила вода. Взлетать будет очень трудно, тем более, что тяжесть самолёта увеличится.

— А что, если оставить врача, мелькнула мысль в голове лётчика, — и он отправился назад к самолёту.

Больной был уже устроен в кабине, рядом с ним хлопотала девушка-врач. Воронин спросил у врача, нельзя ли ей остаться здесь, и, получив отрицательный ответ, задумался.

— Да! Взлететь одному с раненым, который находится без сознания, нельзя—пужен врач,—подумал лётчик.

Неожиданно он вспомнил, как в детстве катался на коньках по неокрепшему льду речки. Лёд трещал и прогибался под ногами, но не ломался.

— Поднять самолёт можно с большим риском, но я рискую не только собой, но и жизнью врача, раненого, а также машиной, — сказал про себя Воронин.

Надо было решать, ждать, когда подмёрзнет лёд, нельзя, состояние больного резко ухудшалось. На лице лётчика заиграли желваки. Он мысленно ещё раз проверил все расчёты, вспомнил советы гидролога, но они давали малообнадёживающие результаты. Неожиданно Воронин улыбнулся.

— Выход найден! Как только он не додумался до этого раньше? Надо заставить несколько мужчин поддержать самолёт за плоскости, пока мотор разовьёт обороты, затем враз отпустить их.

Воронин подозвал к себе бригадира, и объяснил положение. Тот понимающе кивнул головой. Лётчик закурил, но сейчас же бросил папиросу, и, резко повернувшись к самолёту, влез в кабину. Заработал мотор, и дюжина крепких молодцов ухватилась за плоскости машины. Воронин прибавил газу. Самолёт закачался, задрожали расчалки. Винт постепенно прибавлял обороты, взметая позади тучу снеговой пыли.

Вот лётчик взмахнул рукой: — Пускай!

Мужчины отскочили от самолёта, и машина рванулась вперёд. Треска льда не было слышно, но все видели, как от самолёта разбегались в стороны лучистые трещины. Теперь это уже не было страшным — машина набрала скорость. Самолёт пронёсся мимо людей, стоявших с баграми и жердями вдоль взлётной дорожки, оторвался от озера и стал набирать высоту. Развернувшись над озером, он качнул крыльями и лёг на обратный курс. Оленеводы провожали его восхищёнными взглядами...

Погожим весенним деньком Воронина, вернувшегося из полёта, окружили плотным кольцом техники и свободные от

рейсов пилоты. Воронин смущённо отбивался от товарищей, но они не отходили. Они рассматривали большую пушистую шкуру медведя и засыпали его вопросами.

— Вот так зверь!.. — слышались голоса. — Ты где поохотился, Воронин?.. Да какой он охотник, когда ружья в руках не держал... Где достал шкуру?..

Воронину пришлось отвечать.

— Эту шкуру подарил мне олсневод, которого я в начале зимы в безнадежном состоянии доставил сюда. Он три дня ждал меня на аэродроме в райцентре, чтобы вручить этот подарок, — начал Воронин.

— Он сказал, что это шкура того медведя, который напал на него на болоте, и что выделал её он своими руками. Когда я попробовал отказаться от подарка, старик обиделся, и только моё согласие успокоило его.

«Акышкылар ынаа — хая-даштан артык!» — прощаясь перед отлётом, сказал он мне. — А ну! Кто скажет, как это будет звучать в переводе на русский?

Молодой лётчик-тувинец, стоявший ближе всех к Воронину, немного помолчав, ответил:

— Любовь братьев крепче скалы!

Николай Сердобов

НА СОПКЕ

Рассказ

В погожий осенний день из лагеря поисковой партии вышли два геолога. Перейдя по бревну рукав горной речки, которая с шумным вздохом вырывалась на простор залитой солнцем долины, они стали медленно подниматься в гору.

Откуда-то из-за палаток выскочила молодая сибирская лайка и, оглядевшись, помчалась вдогонку. У поросшего мхом бревна, где белой пеной вскипала речная вода, собака остановилась и жалобно заскулила. Услышав издали зов хозяина, она, повизгивая от страха, медленно поползла вперёд и вскоре радостно закружилась у ног геолога. Засученные рукава и расстёгнутый ворот чесучовой рубашки приоткрывали сильное, бронзовое от загара тело. Он часто приостанавливался, обращая обветренное лицо к своей спутнице. Их голоса терялись в шуме реки, и только после того, как они отошли от её русла и поднялись на изрытую траншеями и шурфами сопку, им вместе с большим горизонтом вновь открылся богатый мир звуков — и стрекотание кузнечиков, и смягченный расстоянием ласковый говор шумливой реки, и даже далёкое, исполненное прощальной задумчивой грустью, курлыканье журавлиной стаи.

...Вот мы и взобрались, Тамара, на всеми покинутую сопку. А я... я всё же верю в неё. Как в самого верного друга. И одинокая сосна у подножья мне кажется часовым. Она всё знает, но без заветного пароля ничего не отдаст. Вы не смейтесь, а лучше взгляните, как живописно выглядит наш палаточный лагерь и эта вертлявая, быстрая, словно озорная девчонка, речушка Унгеш.

А теперь, на правах хозяина горы, я вас посажу вот сюда, на свой каменный трон, а сам примощусь у его ступеней, раскрою трубку и помолчу...

...Почему всегда серьёзный и грустный? Отвечу вопросом. Видели ли вы человека, который бы веселился, когда от него сбежало счастье? Самое настоящее человеческое счастье. И смею уверить — не увидите. Человеку с незажившим горем чельзя от души смеяться, как и счастливому горевать... Да и слушать такой смех не легко...

Нет, не догонял. Стоял и смотрел, как оно удаляется, исчезает. Я и сейчас ещё всё смотрю ему вслед, хотя знаю — ничего не вернёшь, ничего не воротить. Помните Надсона — «как мало прожито, но много пережито, и всё оплакано, и всё забыто?» А вот у меня ничегошеньки не забыто, Тамара. Прошли годы. У меня, как видите, отросла окладистая борода и наступило бабье лето. В душе, как вот сейчас над нами, проносятся паутинки—верные предвестники осени с её холодными дождями и серенькими деньками. А я всё думаю о прошедшей весне...

Не согласен. Пессимист так не уцепится за невзрачную сопку, которую бросили, окрестив «Фальшивой». В моей руке всегда, как у солдата ружьё, геологический молоток, которым я, как врач, выстукиваю горное утро. Моя жизнь, как и ваша, как и всех землепытов-геологов, вся в большом поиске. Я даже чувствую себя сродни писателю. Он ищет и отбирает самое нужное человеку для его счастья из мыслей и чувств народа, а я — из земли-матушки. И я счастлив, что десятки труб дымят уже там, где когда-то белели наши палатки. Это счастье от меня никогда не сбежит, да без него и жить нельзя, а без того... можно, хотя порой бывает и трудно. Даже очень трудно Тамара...

Кто виноват? Только моя гордость. Разумеется, не та, которая окрыляет и озаряет горизонты. Нет, это было чувство другого, бесконечно более мелкого порядка. Даже не гордость, не гордыня, а какая-то жгучая смесь самолюбия, ревности, обиды, мнительности — вроде обжигающего душу грога. Откуда это у меня взялось, — понять не могу. Где-то внутри, в печёнках, что ли, дремало, а потом хватъ—и прорвалось...

Напрасно просите. Ничего интересного. Нечто подобное я где-то читал и, читая, зевал. Видно уж, не я первый, не я последний... Вам пригодится мой «онит»? Что вы, Тамара! Мы с вами много соли съели, прежде чем добрались до этой неказистой на вид сопки. И мне ли не знать, что история моей незадачливой любви вас ничему не научит. От вас даже самое прыткое счастье не убежит — ручаюсь. К вам женихи, словно мотыльки на огонёк, слетаются. Да вон, взгляните-ка. Видите человечка у вашей палатки? Держу пари — это Леонтьев.

Знать, ваше счастье, хоть вы и геолог, не в земле зарыто... Не говорить глупостей и рассказывать? Что ж, повинуюсь.

Я познакомился с Ниной под столом, куда, как и полагается малышам, я часто ходил пешком. Она была дочкой наших новых соседей, пришедших впервые к нам в гости всем семейством. Ница сразу же залезла в мой гараж. В одно мгновение в её пухлых ручонках оказалась моя гопочная машина из берёзовой чурки. Преступление, разумеется, повлекло столь же быстрое наказание. Из-под стола раздался двухголосый рёв. Вот тогда мы и спели с Ниной свою первую песню...

Садика наши были рядом, их отделяли только белые, как невесты, кусты жасмина. Мы подружились и весело играли в нехитрые детские игры, которые, сам не знаю почему, частенько заканчивались ссорой. Представьте на минутку, это не трудно, дорожку из травки-муравки, по которой катится разноцветный шарик и показывает через плечико красненький язычок бегущему вдогонку, до нельзя рассерженному мальчугану. Шарик закатывается под жасмин, а мальчик, не нарушая белой границы, возвращается в свой бастион. Разумеется, вскоре шарик катился в обратном направлении, и вновь наступал недолгий, но чудесный мир... Шарик вытягивался, тянулся к ясному небу, как дымок этой трубки, и незаметно обратился в стройную девицу с длинными косами.

Повырастали клёны, давно стали плодоносить посаженные отцом яблони, покосилось крыльцо — многое изменило время, но мы остались с Ниной по-прежнему самыми близкими и самыми неуживчивыми друзьями.

Появился у нас и общий друг — одноклассник Павлик Рябцев. Это было на редкость добродушное, тихое, но весьма настойчивое создание. Благодушная улыбка почти никогда не сходила с его пухленького личика. Сколько мы с Ниной ни пытались рассердить Павла, у нас ничего не получалось. Он не обижался на наши, подчас злые, шутки и неизменно, как тень, следовал всюду за мной. Если же Павлик отлучался из нашей компании, то мы наверняка знали, что он находится в своём садике у любимой грядки красных гвоздик.

Цветы, особенно гвоздики, были его большой страстью. В школе к нему крепко пристало шуточное прозвище — гвоздичный рябчик. В моих спорах, да и ссорях с Ниной он соблюдал строгий нейтралитет. Ница, как и прежде, в критические минуты, задорно смеясь, спасалась от меня бегством. Только теперь она уже не дразнила меня, как в детстве, своим язычком, а я — не шлёпал её, лишь норовил потянуть за чёрные, как смоль, косы. Нет, вру. Однажды она вспомнила свою детскую привычку.

В один из воскресных дней десятиклассники устроили прогулку на лыжах. Покой безмятежно спящего леса нарушили

зазорные, звонкие голоса. Убранные в белое деревья от избытка чувств, роняли на нас снежные хлопья, озорной морозец румянил щёки и горячил нашу и без того горячую кровь. Мы мчались по петляющей меж деревьев дороге. На ходу Нина изредка оглядывалась, чтобы узнать, следует ли за ней её команда.

Это было, конечно, напрасно. Следовать за ней, догонять её стало для меня такой же привычной необходимостью, как дышать. А Павлик, как я тогда думал, не мог долго находиться там, где не было меня. На одном из поворотов Нина, состроив насмешливую мину, окликнула нас, и на какую-то долю секунды красной вспышкой мелькнул её язычок.

— Ах, так?! Ну, тогда держись! — вскричал я и понёсся напрямик в просвет между соснами, где чёрными змейками мелькали её косы. Это была быстрая, но недолгая гонка. Перед крутым оврагом Нина резко свернула в сторону, а я пулей промчался мимо и пластом упал на искрящуюся под солнцем снежную пелену. Первое, что я увидел, когда поднял облепленную снегом голову, была Нина. Звонко смеясь, она протягивала мне свои руки в красных варежках. Отряхиваясь от снега, я с досадой и, как частенько, невпопад спросил, почему она всегда от меня убегает. Смех оборвался и лицо её стало серьёзным. В наступившей тишине мне явственно слышался перестук наших усталых сердец.

— Мне нравится твоё желание догонять меня, Игорь. Это правда. И потом, — тут она вновь рассмеялась, — я боюсь, как бы ты меня... не нашлёпал, злюка.

Надвинув мне на глаза шапку, Нина легко заскользила к полянке, откуда уже доносились голоса наших товарищей...

Вас интересует, что делал Павел? Он стоял перед спуском в овраг и внимательно разглядывал небо, хотя оно было безоблачно и смотреть туда ему было совсем не к чему.

Я сердито подтолкнул его в бок и спросил, почему он не участвовал в гонке.

— Она меня не звала... в овраг, — ответил Павел необычным для него серьёзным и даже отчуждённым тоном, продолжая, как мне показалось, насмешливо взирать в небеса.

В сердцах я послал его к чёрту, и, как всегда, ползёл по следам Нины. И, как всегда, невдалеке за мной следовал Павел...

Да, вы правы, Тамара. Но я тогда не задавался этим вопросом — за мной ли следовал Павел или только шёл вместе со мной по общим и дорогим нам обоим следам...

Разумяненное и оттого особенно красивое лицо Нины, её выразительные голубые глаза с густыми ресницами, запорошенными кристалликами снега, хрустальный смех и даже те маленькие красные рукавички — всё это живёт в моей памяти, как будто было только вчера. И я ничего не могу забыть —

так глубоко она, умная, чистая, светлая, запала мне в самую душу.

Мудра пословица — милые бранятся, только тешатся. Сколько мы ни ссорились, всё равно на другой день за партой, на катке, на белоснежной лыжне или в клубе я встречался с ней как ни в чём не бывало. И по-прежнему вокруг нас по замкнутой орбите вращался наш кругленький спутник — Павел Рябцев. В школе нас так и величали — неразлучной тройкой. Наша тройка была первой и в учёбе, и в спорте. Даже на вечерах самодеятельности мы выступали вместе. Наше трио пользовалось неизменным успехом. Запевала Инна, а подпевали я и Павел, у которого был необычный для его возраста и низенького роста приятный басок.

Помню, как одно время в десятом классе мы увлекались стихотворством... Прочитать? Хорошо, прочитаю, но прежде скажу вам спасибо, Тамара... Да за то, что слушасте вы меня. Никому ещё не изливал я свою душу, а ведь это так облегчает... Вы... вы не раз, быть может, и не подозревая, облегчали, мне моё горе и дружеской помощью, и тёплым вниманием, которых я ничем не заслужил. Вы первая прискакали на помощь, когда снежная лавина хотела меня заживо похоронить у подножья Кара-Дага, и потом долго сидели у моего изголовья, слушая мой бред и заставляя пить горькие снадобья...

Ну, так что же вам прочитать, из какой, как говорится, оперы? Хорошо, вот вам на суд, хоть и плохая, но наша лирическая песенка.

Юноша идёт с девушкой за околицу и просит её побыть с ним. Правда, Павел предлагал, чтобы с девушкой шли два парня, но мы это отвергли. На груди у девушки от волнения колышется цветок. Павел настаивал, чтобы это был обязательно красный цветок, а я — белый. Инна не могла разрешить наш спор. Она — я потом упрекал её в беспринципности — заявила, что все цветы хороши. Так мы и пели вначале это место каждый по-своему; я—белый, Павел—красный, а Инна, дипломатично — чудшый.

Потом наступила ночь, девушка вдруг заплакала, а расторопный юноша, отколов с девичьей кофточкой цветок, стал собирать в него крупные слёзы. Он думал, — девушка его любит, но когда рассвело, увидел, по-моему, чужие, а по Павлу—сухие глаза. Когда такая концовка была узаконена, Павел, к моему удивлению, согласился, что «белый» в песне звучит лучше, и он всегда почему-то пел это слово особенно громко, неизменно устремляя свой взор ввысь, к небу. Вот вам и вся песня... Без лишних слов? Без лишних слов она пелась так:

Ты сними с головы свою шаль,
Посиди со мной милая, милая.
Ничего для тебя мне не жаль,
Потому что ты очень красивая.

На груди твоей белый цветок
Словно встрет сегодня колышется,
А в глазах голубой огонёк
Почему-то уж больше не светится.

Будто дождь грозовой набежал —
По искам потекли капли крупные.
Я в тот белый цветок собирал
Твои слёзы печальные, жгучие.

А когда заалела заря,
Наступила пора расставания, —
Я увидит чужие глаза
И не стал назначать внозь свидания.

Она дорога мне, как память, как последняя наша песня с Ниной... Эту песню я несл, возвращаясь один с выпускного вечера...

Вы опять угадали, Тамара. Да, даже и там у нас произошла размолвка. Собираясь в школу, я обрезал почти весь жасмин и сделал четыре больших букета для любимых учителей. Пятый, малюсенький, букетик из нескольких белых цветков я спрятал на грудь, надеясь вручить его украдкой Нине.

Актный зал шумел, как потревоженный улей. Раскрасневшаяся Нина, прижимая к груди огромный букет красных гвоздик, с шутливым криком отбивалась от наседавших на неё подруг: «Дарёное, девочки, не дарят и не воруют!». Вблизи с слейным видом стоял Павел и рассматривал люстру. Как хорошо, что я спрятал свой жалкий букетик под сорочку. Не знаю, с этого ли дня или это случилось четыре года спустя, но я страшно невзлюбил красные гвоздики, и не только за их яркую, крикливую красоту и резкий пряный запах, а ещё за что-то другое, более важное. «Нет, — подумал я, — не все цветы хороши. Во всяком случае для меня». Гвоздики явно подпортили настроение, и оно не улучшилось даже после того, как мне и Павлу вручили аттестаты зрелости и серебряные медали. Нина, единственная в школе, получила золотую медаль.

— Как тебе не стыдно, Игорь, — укоряла меня Нина, когда мы под лёгкие звуки старинного вальса закружились по залу. — Ты мне даже ни одного цветочка не подарил. А как мне сейчас, для полноты счастья, недостаёт одного, только одного цветочка нашего жасмина, сорванного тобой для меня. Эх ты, недогадливый!

Не знала Нина, что совсем близко, у моего сердца, кружится вместе с нами предназначенный для неё маленький комочек белых цветов.

Как мне хотелось извлечь их на свет и вплести в её волосы на место сбившейся на белый лоб Павкиной гвоздики. Но я подавил, глупый, своё идущее от сердца желание и пробурчал высокопарные и, как мне тогда казалось, многозначительные

слова: «Если в сердце цветут красные гвоздики, ему не нужен белый жасмин». Эти слова больно поразили Нину. Она вздрогнула, вспыхнула и, прервав танец, отошла в уголок.

Только теперь я, пожалуй, могу,—и то лишь вчерне, объяснить, что переживала Нина. Она ещё никого всерьёз не любит и хочет, чтобы всё было по-старому, по-школьному, по-просто-му. Она хочет, чтобы около неё, как и раньше, были подружки и друзья-юноши, чтобы звучал смех, шутки и безмятежно искрилась весёлая дружба. И вдруг вместо всего этого жизнь от неё впервые требует чего-то нового и это, досель неведомое, волнуется, чем-то радуется и чем-то огорчается, даже пугает немного, хотя кругом светло, празднично и оркестр играет чарующий вальс — «Лесную сказку»... И вот, силясь прищипать сердцем и понять разумом это новое чувство, новый приказ жизни, долго будет одна сидеть девушка в дремучем сказочном лесу, машинально теребя и обрывая красные лепестки, пока кто-нибудь да не кто-нибудь, а прежде всего вездесущий Павлик не шаркнет ножкой, приглашая её на новый, на другой танец...

...Так мы росли и мужали. Я учился на геолога в столице, а мои друзья — в Воронеже, поближе к дому: Нина в университете, Павел — в сельскохозяйственном институте. Со мной училось много девчат, да и медички были по соседству, но никто из них, понимаете, Тамара, никто даже краешком не засланил мою Нину. Именно там, в Москве, в разлуке, дозрело моё чувство. Я понял, что это не простая привязанность, дружба, а та первая и последняя любовь, которая красит любого, будь он даже урод, и от которой цветут все силы и чувства, плавитяся — добреет сердце, а всё окружающее преобразуется, окрашиваясь в приветливые, ласкающие глаз и душу тона...

Почему последняя? А я не верю во вторую любовь. Я — однолюб. Да и как она может родиться, если жива, пока я жив, самая первая и самая сильная?.. Нельзя жить только прошлым? Трудно, но можно. А нужно ли — этого не скажу. Я расскажу вам лучше про свою последнюю встречу с Ниной.

Проездом на преддипломную практику я ненадолго заскакал домой. Расцеловав стариков и наскоро переодевшись, я побегал в садик. Был сиреневый тёплый вечер. В городском саду играл оркестр и лёгкие звуки вальса в обнимку с нежным ветерком кружились по всему городку. Золотая луна разукрасила землю причудливыми теневыми узорами листьев. Один из кустов жасмина, словно в сказке, вздрогнул, шагнул мне навстречу и передо мной, завершая дивное очарование памятной с детства картины отчего дома, возникла девушка в зелёном платье с белой отделкой, девушка, о которой я думал все четыре студенческих года. Это она смотрела на меня со страниц книг и из сновидений. Я хотел что-то сказать, но к горлу подступил тот комок, который обычно, и в большом горе и в боль-

шом счастье, подымается от сердца и не даёт выхода ненужным и жалким в такие минуты словам.

Осторожно, словно боясь расплескать дорогие мне чувства, я припал к Нине в своём первом поцелуе. На какой-то миг я увидел родные и счастливые глаза бесконечно близкого мне человека. И мне казалось, что всё ясно, всё сказано, всё решено — я любим. Но то, что произошло дальше, было для меня ужасным. Нина выскользнула из моих рук.

— А я думала — ты... побить меня хочешь, Игорь, — дождёсь до меня её трепетный от волнения голос.

Моим первым порывом было догнать Нину, поднять её высоко над кустами к морю лунного света, увидеть в его сиянии ещё раз озарённые любовью глаза, а потом крепко-крепко, по-мужски, привлечь к груди. Привлечь и понести в дом, к моим старикам. Я уже шагнул вперёд, как вдруг увидел на крыльце Нишиного дома взирающего на луну Павла, а на земле оброненный Ниной цветок. На траве, в одном из просветов теневого узора, зловеще чернела гвоздика. Я смотрел то на неё, то на Павла и не мог перешагнуть к Нине через разделяющий нас рубикон — через этот маленький, полупоблекший цветок. Мои протянутые к Нине руки опустились. Вместо неё я судорожно сжимал ненавистный цветок. И мне вновь вспомнился выпускной вечер, вновь прозвучали слова огорчённого юноши: «Если в сердце цветут красные гвоздики, ему не нужен белый жасмин...». Помимо воли меня подняла на свой гребень и понесла в океан горестных раздумий волна обиды и ревности. Как она, Нина, посмела уйти, когда я, пусть без слов, но в одном поцелуе излил и свою первую любовь и нивесть откуда пришедшую нежность? Ясно, — размышлял я, — она любит Павла и не случайно вышла ко мне с его гвоздикой в руках. А сейчас, где-нибудь там, за кустами жасмина, она безудержно хохочет, показывая мне язычок, как в детстве.

И вот в один миг исчезло всё очарование казавшегося лучшим в моей жизни вечера. Насмешливо улыбалась полнощёркая, как Павка, луна. Звуки оркестра, с задором исполнявшего краковяк, безжалостно били по нервам. Сгорбившись, я вместо Нины понёс в дом раздавленный в кулаке липкий цветок.

На другой день, сославшись на простуду в дороге, я не вставал с постели, — боялся, трусишка, как бы при встрече Нина не рассмеялась мне в лицо. А ещё через день поезд мчал меня в далёкую, теперь ставшую родной Сибирь. Так мы и расстались...

Может быть, ждёт? Нет, не ждёт, Тамара. Может быть, только вспоминает изредка... Откуда я знаю? Из её письма. Вот кусок мрамора, в котором я по старомодному обычаю сохранил её последние слова. Посмотрите, какой красивый узор.

Этим мрамором, найденным мной в глухой алтайской тайге, украшена новая станция метро. А! Вас интересует только письмо. Что ж, читайте, но, пожалуйста, вслух. Я хочу впервые услышать, как прозвучат прощальные слова Нины. Или подождите минутку, Тамара. Я закурю... Теперь читайте.

«Игорь! Я ждала Вас. Ждала четыре года, которые показались мне вечностью, а Вы, Вы всё не догоняли меня... Знать и не любили всерьёз. А я, глупая, много, много пережила и, если хотите, перестрадала за эти годы... Много я плакала и ждала, что придёте Вы с белым цветком собирать, помните, как в нашей песне, мои печальные, жгучие слёзы... Так и не дождалась. Писать и звать Вас я не решилась. Мне было до боли обидно, досадно, да и боялась спугнуть Ваше, быть может, настоящее счастье. Мне рассказал тогда Павел, что у Вас роман с однокурсницей. И вот я скажу завтра «да» человеку, от которого устала убегать — Павлу. А сегодня прощаюсь со своей юностью — с Вами, Игорь. Как бы то ни было, самое лучшее, что у меня пока было в жизни — это память о Вас, память о том, как Вы догоняли меня, когда это было не очень нужно, и не догнали в самый нужный, последний раз. Если кого любите или полюбите — обязательно догоните. Это моя последняя просьба, если хотите — последний приказ командира нашей бывлой юной тройки, которая с весёлыми бубенцами мчалась по школьным годам. Не сердитесь на меня, это было бы не только жестоко, но и бесполезно: меня уже теперь больше нельзя догнать, потрепать за косы, хотя я этого и заслуживаю больше, чем в нашем далёком, невозвратном детстве — замуж выхожу без любви.

Среди моих игрушек, их свято берегут старики, чудом сохранилась твоя гоночная машина, за которую ты меня однажды побил, а потом, добрый, подарил мне её. Вот на ней я и умчусь завтра от всего того, над чем сегодня лью свои слёзы и осушаю их, погружая пылающее лицо в букет Ваших и моих, пахнущих нашей юностью, жасминов... Поверьте, никто больше меня не желает того, чтобы Вы, нет, ты, Игорёк мой глупый, нашёл и догнал своё другое счастье. Это последнее своё письмо подписываю так, как могу это сделать только сегодня.—
твоя Нина...».

Ой, простите, я сам не знаю, что делаю. Нет, не плачу. Это дым ест глаза. А вы? Тоже дым? Пусть будет дым... Великое спасибо вам, Тамара. И за то, что исповедь мою выслушали, и за то, что слова Нины прочли так, как будто она сама поговорила со мной напоследок... Вы хорошо передали и её любовь ко мне и её горе... Да, да, и её наказ. Когда я слушал вас, закрыв глаза, а потом открыл их, мне показалось, что это не вы, а она здесь со мной, что это она укоряет меня и прощается... Вот почему я напугал вас, протянув к вам руки...

Слушая вас, я забыл, что Нина теперь далеко. Она ведь опять побежала вперёд. Заканчивает в этом году аспирантуру. И знаете, Тамара, у неё растёт дочка. Говорят, вся в мать, такой же шарик, каким четверть века назад была Нина... И кто знает, может быть бегает сейчас по травке-муравке возле неё маленький мальчик. Только пусть он, когда вырастет, не будет таким жестоким и ревнивым, каким был я... Пусть не разбивает своими руками своё счастье, да и другим не даёт...

А теперь... теперь мне остаётся думать только об этой каменной красавице. Я заставляю её рассказать, что она может дать людям для их счастья. И как мне сейчас ни грустно, я всё же счастлив, что мне выпала доля геолога с её трудным, но радостным поиском того, из чего плавится, отливается и куётся наше общее счастье — и Нины, и ваше, Тамара...

Хорошо и то, что вы тоже геолог. Если не вы, кто бы ещё рискнул взобраться со мной на эту сопку и выслушать мою исповедь? Вы хороший товарищ, Тамара, и я от души желаю вам счастья. О каком счастье? О вашем. Вчера перед сном Лентьев разоткровенничался со мной. Сегодня вечером он сделает вам предложение. А вечер уже наступил, и он ждёт. Я? Я пожелал ему успеха и счастья... Тоже от души? Не знаю... Что с вами, куда вы? Тамара!..

* * *

Уже давно отгорел закат и на землю спустились лёгкие сумерки, а на сопке всё ещё отчётливо виден был силуэт человека с поникшей головой. Низко над ним по темнеющему, но не потерявшему ещё своей голубизны небу, стая за стаяй, вслед за солнцем проплывали курчавые облака.

Словно решив утешить и ободрить хозяина, сибирская лайка сосредоточенно лизала его беспомощно свисающие с колен руки. Бесстрастным часовым чернела у подножья одинокая сосна. А внизу, за речкой, зажглись огоньки. Возле походной кухни вспыхнул большой костёр и вереница искр золотым бисером поднялась к небу. Возле одной из палаток заиграл баян и вдаль понеслась милая сердцу пушкинская песня:

Ночь пройдёт, и спозаранок
В степь далёко, милый мой...

Лагерь готовился ко сну и к предстоящей утром перекочёвке на новые места. Долго царил суетливый, весёлый шум сборов, звучала песня за песней... А когда всё стихло, те, кто ещё не успел заснуть, отчётливо слышали, как вдоль лагеря к палатке девушек тяжело пробежал человек. Слышали, но не придали никакого значения. Никому было невдомёк, что то была запоздавшая, но неотвратимая погоня за счастьем.

Несколько разнокалиберных труб, низкие недостроенные корпуса цехов, первые посадки ещё неокрепших деревьев и небольшие домки с весёлыми окнами, полукольцом окружившие величавую сопку, — таким мне запомнился рудник «Пезданский», когда я впервые посетил его год назад.

Был воскресный день, и над молодым посёлком стоял весёлый шумок. Я и сопровождавший меня парторг рудника — пожилой усатый рабочий с необычайно живыми, молодо поблескивающими глазами, — взобрались на леса строящегося клуба. Невдалеке от нас, по дороге, ведущей на сопку, с весёлым говором прошла празднично одетая семья. За руки родителей крепко держался крохотный мальчик, которого они иногда поднимали над землёй и бегом проносили над сверкающими под солнцем лужицами от прошедшего накануне дождя. Возле горделиво поднявшейся у подножья сопки одинокой сосны путники сделали небольшой привал. Мужчина дружелюбно постучал рукой по стволу дерева, как обычно похлопывают по плечу близкого друга, и что-то сказал стоящей перед ним с приподнятой головой стройной женщине. Она звонко рассмеялась и обняла мужа. Подхватив на руки жену и сына, мужчина зашагал вперёд тяжёлой, но уверенной поступью сильного и счастливого человека. Его покрасневшую от напряжения шею крепко обвили две пары дорогих рук, придавая ему новые силы для движения вперёд — для борьбы и жизни.

— Это наш главный геолог, — сказал парторг, заметив, что я с нескрываемым интересом наблюдаю за молодой семьёй. — Первооткрыватель нашего месторождения. Здесь он нашёл не только руду, но и своё счастье, которому нельзя похорошему не позавидовать и не порадоваться. Хорошая, неразлучная тройка...

И он поведал мне историю о том, как при помощи первой пришла, вобрав в себя всю её силу и страсть, вторая любовь геолога.

Михаил Соболев

НЕОБЫЧНЫЙ РЕЙС

Рассказ

Несчастье произошло в тот самый момент, когда они его меньше всего ожидали. Санчи, оставшийся на небольшой полянке, чтобы приготовить на костре несложный походный обед геологов и уже начавший открывать консервные банки, вдруг услышал издали отчаянный крик. Он раздался как раз с той стороны, куда ушёл Николай — его старший товарищ по работе, постоянный спутник в бесчисленных путешествиях по этим диким, первобытным местам. Он ушёл осмотреть окрестности, пока Санчи должен был варить обед. Такая уж у Николая натура — как ни устал, а даже минуты времени потерять не хочет. И вот — крик. Тревожный, с призывом о помощи.

Испуганно всхрапнули лошади, сразу оторвавшись от сочной травы. Они обе повернули головы в ту самую сторону и как будто стали чего-то выжидать. А Санчи с ловкостью прирождённого таёжника вскочил, схватил карабин и, ломая кусты, бросился на помощь товарищу. Многолетний опыт, знания, полученные им по наследству от многих поколений его родителей, безошибочно подсказывали ему, что надо действовать как можно быстрее в тайге, где опасность может возникнуть в любой момент.

Санчи пришлось бежать недолго. Вскоре он увидел картину, при виде которой у неопытного человека от страха сжалось бы сердце. Среди кустов его друг боролся с внезапно напавшим на него большим медведем. В руке Николая сверкнул нож — единственное оружие, которым он располагал. Огромный зверь с разинутой пастью могучими лапами зажал противника,

мял, душил его. Николай вскрикнул ещё раз, уже слабее, и стал опускаться на траву.

Медведь заметил второго человека, дико зарычал и приподнялся во весь рост. Это его и погубило. Первым же выстрелом Санчи разнёс ему череп. Зверь сделал несколько бессмысленных, неверных шагов, бешено хватая лапами воздух, и тут его ужалила вторая пуля — прямо в сердце. Лохматая, буро-коричневая туша рухнула на землю, на свежие травы, из зелёных ставшие красными.

Санчи, взволнованный, подбежал к товарищу. Вот когда он испугался по-настоящему. Жив ли его друг?

Всё оказалось хуже, чем он ожидал. Лицо Николая было в крови, левая рука казалась безжизненной, правая нога была неестественно подогнута — наизусть, сломана. Из-под разодранной в лохмотья одежды обильно текла кровь. Товарищ был без сознания. Какие-то несколько минут борьбы со страшным хозяином этих лесов стоили ему слишком дорого.

Уроженцы этих мест в таких случаях не предавались бесполезным сетованиям. Они становились ещё более энергичными. Таков был и Санчи. Он сразу решил, что ему надо делать. Первое — помочь раненому, второе — немедленно отправиться на стоянку их небольшого поискового отряда. Как отправиться — он тоже знал. Тайгой туда — километров сорок. С большим не доберёшься. Есть другой путь — река. Надо сколотить маленький плотик.

Санчи промыл раны Николая, прикрепил наскоро сделанные дощечки к руке и ноге, которые считал сломанными, и убедившись, что непосредственной опасности пока нет, что его друг сейчас вот, в эту минуту не умрёт, бросился мастерить плотик. Всё это было с детства известно и привычно жителю тайги. Вот за что его уважали в партии и ни под каким видом не решились бы расстаться с ним. В этих родных для него местах он был для геологов — уроженцев далёких краёв — просто-таки незаменим.

Не будем описывать весь этот тяжёлый путь по своенравной реке с обрывистыми берегами, с переменчивым течением, внезапными мелями и неожиданными быстринами. Путь, который занял вечер и добрую половину ночи. Утром маленький плотик причалил к берегу возле походного лагеря геологов. Ни усталости, ни нервного напряжения не чувствовалось у Санчи, когда он ворвался в палатку начальника и буквально вытащил его из спального мешка.

Тот моментально поднял на ноги весь лагерь. Фельдшер, осмотрев больного, мрачно сказал:

— Положение опасное. Переломы, глубокие раны, а может, и внутреннее кровоизлияние. Своими силами не справиться. Радируйте в город. Пусть высылают санитарный самолёт.

Радиограмму в городе приняли своевременно. Самолёт был готов к старту. Но пилот Анай-оол нервничал: синоптики не давали погоду. Он зло смотрел, как северная часть неба, ещё полчаса назад бывшего голубым, безоблачным, покрывалась предательской серой мутой тумана.

Так прошёл час. Ничего отрадного. А из далёкой партии поступила новая радиограмма: больному хуже, медленней становится пульс, прерывистой дыханием.

И Анай-оол не выдержал.

— Командир! — требовательно и в то же время просяще обратился он к высокому пилоту в кожаной куртке, который стоял на поле и тоже с беспокойством смотрел на небо. — Разрешите мне лететь.

Тот с удивлением посмотрел на него.

— А сводка синоптиков? Самолёты в такую погоду не имеют права выпускать.

— Но там же умирает человек...

— Знаю, что там трудно... А если и ты врежешься в скалы?

— Может, сумею проскочить. Это ведь в сторону надо лететь. Кто знает — может, там лучше.

Анай-оол хорошо понимал, насколько легковесен его довод. Ему ли, бывалому пилоту, сражавшемуся на фронтах минувшей войны, облазившему за мирные годы все уголки своего родного края, не знать, что облачность сплошная, без разрывов, что правила предписывают в такую погоду таким самолётам, как у него, находиться на земле! Конечно, большим рейсовым машинам эта погода не страшна, но маленькому «санитару»...

И всё же он настоял на своём. Да и то, пожалуй, больше потому, что и сам командир и окружавшие их пилоты чувствовали, что они ответственны за жизнь человека, который где-то там, далеко в горах и тайге, может быть, находится на той грани, переступить которую — значит умереть. А тут ещё девушка-врач, которая так умоляюще смотрит на командира своими ясными голубыми глазами. Она молчит, знает, что этим мужчинам в лётной форме виднее, как поступить и нечего ей лезть в их профессиональные дела, в которых она мало пока разбирается. Но в глазах — просьба: «Надо лететь».

И командир соглашается.

— Ладно, Анай-оол. Против правил, но разрешаю. Только помни: не пробьёшься — возвращайся назад. Твоя ответственность возрастает. Там — человек, а вас ещё будет двое. Я уже не говорю о машине. Напрасно рисковать запрещаю.

Это был единственный самолёт, поднявшийся в то утро с аэродрома. Он скоро скрылся из глаз пилотов и техников, столпившихся возле машин.

Чем дальше летел Анай-оол, тем яснее он представлял, что

пробиться через плотную завесу не удастся. Перевалы, через которые проходила обычная трасса, были наглухо закрыты. Анай-оол взял правее — и тоже без успеха. Суровые, хмурые ребристые скалы грозили снизу своими острыми гранями. Они были угрожающе близки. А выше была только одна мутная челена. Противный туман обступал со всех сторон, и чтобы не потеряться в нём, пилот вынужден вновь и вновь возвращаться обратно.

Безнадёжность борьбы со стихией была очевидна. Тогда Анай-оол попытался поднять машину до предела, но и там оказалось то же самое. Туман — один из самых страшных врагов лётчиков — караулил его и на высоте, где самолёт уже исчерпал все свои возможности.

Они вернулись. Медленно вышли — посуровевший сразу пилот и печальная девушка.

В ответ на немой вопрос командира Анай-оол коротко ответил:

— Не смогли пробиться...

Потянулись часы томительного ожидания. А радиogramмы из далёкой партии сводились к одному: «Когда же?..».

И совершенно неожиданно погода как будто смилостивилась. Такова уж особенность этого горного края—за день может быть несколько перемен. Синоптики обещали улучшение видимости. Анай-оол и врач не отходили от машины.

Снова взревел мотор. На этот раз — победно, торжествующе—так по крайней мере показалось людям. Снова твёрдые руки пилота легли на штурвал.

Теперь они шли по очистившейся дороге. Только в ущельях, на выступах скал, остались грязные лохмотья тумана. Ярко засияло солнце. Всё преобразилось внизу. Показались серебристые реки, бескрайние зелёные просторы лесов. Даже неликудимые горы стали выглядеть приветливее.

Вот и место, указанное в радиogramме. Самолёт теряет высоту. Видно, как приветливо машут шапками маленькие фигурки людей, бегущих по полянке. Анай-оол уже собирается идти на посадку — вдруг снова даёт газ, нос самолёта поднимается. Даже сквозь гул мотора девушка-врач слышит, как ругается пилот.

— Дьяволы, — кричит он. — С ума посходили, черти!..

Врач недоумевает. А пилоту всё стало ясно. Полянка настолько мала, что ни сесть, ни взлететь с неё невозможно даже такой маленькой машине. Долететь до цели и сделать аварию!..

Анай-оол начинает обшаривать окрестности. Именно обшаривать. Он проносится над самыми верхушками кедров и лиственниц, он тщательно изучает каждый «пяточок», где можно приземлиться.

Есть от чего впасть в отчаяние — он находит более или

менее сносные места, но это далеко от лагеря — километров пятнадцать—двадцать. Пилот хорошо знает, что значат эти километры в густых джунглях тайги. А жизнь человека, может, зависит от считанных минут?

Анай-оол не верил в везение. Он верил в опыт, знание дела и мастерство. И они не подвели его. Конечно, тут была и удача. Он нашёл место для посадки вблизи лагеря. Правда, далеко не идеальное, но такое, где можно было осторожно сесть и взлететь.

Они оба облегчённо вздохнули, когда машина, подпрыгивая на кочковатой земле, остановилась. Доставить сюда больного было делом короткого времени. Он был очень слаб, лицо сильно побледнело и черты как бы обострились, но он уже пришёл в себя.

— Ну, кажется, дело не так уж плохо, — добродушно сказал пилот, окружившим его геологам.

Но врач, осматривавшая раненого, приподнялась и на её лице Анай-оол не увидел выражения радости. Наоборот, в глазах была тревога.

— Хуже, чем вы думаете, — тихо сказала она. — Требуется срочное хирургическое вмешательство. Всё решает время. Надо как можно скорее попасть в город, в больницу. Я здесь мало что могу сделать.

Хорошо сказать — скорее... Погода опять закапризничала. Раньше она не пускала их сюда, теперь не выпускала домой. Снова хребты оделись этой проклятой белесой пеленой. Опять Анай-оол, как беспомощный котёнок, тыкался в разные стороны — и не находил выхода из ловушки. Он крепко стиснул зубы. А девушка с замиранием сердца следила за состоянием больного. Ещё не хватало того, чтобы он скончался в самолёте, когда уже находится на полпути к спасению!

Оставался ещё один путь — неверный, опасный, но, пожалуй, единственный — над самой рекой, которая текла отсюда прямо к городу. Пробираться над её извилистым ложем, между крутыми берегами на скорости двести километров в час рискованно. Но как видно, в этом рейсе без риска не обойтись.

И Анай-оол решил.

Он стал как бы частью машины, слился с нею. Смотрел вперёд, только вперёд, каким-то внутренним чутьём угадывая повороты и успевал в нужный момент переложить штурвал. Если в это время кто-нибудь мог видеть, как над самыми волнами реки, на бреющем полёте мчится крылатая машина, он замер бы от волнения и беспокойства за этих отчаянных людей. Девушка предпочитала не смотреть на бешено мчавшиеся по бокам, такие близкие серые скалы, каждая из которых угрожала гибелью.

...Самолёт пришёл благополучно. Напрасно в тот вечер

ждали Анай-оола домой. Он с аэродрома направился в больницу. Снова потянулись мучительные минуты, пока делали операцию.

И только когда врач сказал, что жизни раненого больше уже не угрожает опасность, пилот расслабленно опустился на скамейку. Впервые за этот день Анай-сол почувствовал, что он очень устал.

Владимир Ермолаев

ОХОТНИКИ

Рассказ

Иван Степанович дошёл до большого кедра и, прислонившись к его могучему стволу, закурил.

Со стана он ушёл до рассвета. Надо было осмотреть места, выбрать, где поставить капканы на волка и ловушки на горностаю, подглядеть, где шляются росомахи и рыси. Но погода выпала неудачная. Утром пошёл снег, и только под вечер разошлись серые тучи.

— Какая благодать! — говорил сам с собой Иван Степанович, оглядывая дикие скалистые горы. — Сколько тут полезного зверя, — и марал, и сохатый, и соболь... Камень и тайга хранят большие богатства. Но человек здесь ещё не хозяин, не взял в свои руки сокровища, не использует всего, что они могут дать. Он приходит сюда как гость, в расчёте на обильное угощение, не заботясь о том, что будет после него, — останется что-нибудь или не останется, лишь бы самому урвать побольше. И не подозревает он, что сам себя обворовывает.

Начало темнеть. В тайге, да ещё в таких горах, как эти, где солнце только в середине дня заглядывает в ущелья, ночь приходит почти без вечера. Ветер стих и едва шевелил вершины кедров.

Послышался шорох и чьё-то тяжёлое дыхание. Иван Степанович оглянулся. В трёх шагах стоял серо-голубой волк. Он тяжело дышал, свалившийся на бок язык судорожно вздрагивал.

И зверь, и охотник от неожиданности опешили. Иван Степа-

нович успел сдёрнуть с плеча ружьё, но на выстрел времени не осталось: волк сделал отчаянный прыжок в сторону. Дрогнули вершины акаций, потом качнулись где-то ещё раз и всё затихло.

— Ах, ты, гад! — вырвалось у Ивана Степановича. Стрелять было бесполезно—густой, высокий кустарник мог скрыть хоть сотню волков.

До зимовья оставалось недалёко. Впереди показался ельник, похожий в сумерках на чёрную непроницаемую стену, и только в одном месте, в глубине ельника теплился одинокий квадратик света...

— Значит, Савелий на стану, — вслух подумал Иван Степанович и прибавил шагу.

Керосиновая коптилка освещала внутренность избушки, жарко топилась железная печь. Савелий сидел на толстом кедровом чурбане и свеживал белок.

— Ага, пришёл, — сказал он обрадованно, — я уж думал, заночуешь. Одному тоскливо... Ну, как дела?

— Дела ничего, погода вот никудышняя, — ответил Иван Степанович, снимая с себя и встряхивая у порога полушубок и шапку и вешая их на деревянный гвоздь.

— А я опять на Крутом натолкнулся на остатки марала. Съели всего, только клочья шерсти остались да обглоданная голова. Но и ту, черти, хотели утащить, да рога в коряжнике застряли. В твой старый капкан, должно быть, большой зверь попадал, — от одной лапы все пальцы в капкане оставил, а сам ушёл.

— Так это он, наверно, на меня налетел! — засмеялся Иван Степанович и рассказал о встрече с волком.

На другой день охотники ещё затемно двинулись вверх по реке. Шли не торопясь. Мерно поскрипывал оседавший под лыжами снег. На востоке небо начало светлеть, и контуры гор стали резче.

— Ох, и утёсы здоровые!—задирая голову, сказал Савелий. — И зверя тут полно...

— Да, добра много есть,—согласился Иван Степанович.— Надо только по-хозяйски им распорядиться.

— Чего же тут распоряжаться, приходи и стреляй сколько душе твоей угодно. Зверей на всех хватит, сотни лет добывай — не выбьешь.

— Это кажется так, а на самом деле, дай волю, всех побьют. Теперь ещё волков расплодилось, что ни след, то и волчий. Ты заметь: сколько мы следов маралов видели — все взрослые... А где же молодняк? Вот то-то! Волки, брат, их пожирают. От них и сохатый не уберётся.

Савелий вдруг остановился и вскинул ружьё на прицел.

Из-за поворота по кромке берега, закинув ветвистые рога на спину, нёсся марал.

Иван Степанович схватил Савелия за руку.

— Брось! Не трогай! Нельзя же...

Марал, увидев охотников, кинулся в сторону и исчез за выступом горы.

Савелий опустил ружьё и, повернувшись к товарищу, удивлённо спросил:

— Ты чего это, всерьёз или в шутку?

— Какие же шутки. Зачем он нам? — Мясо у нас есть, зря ведь загубишь. Да никто нам и разрешения на него не давал...

Савелий молча накинул на плечо ремень ружья и пошёл вперёд.

Иван Степанович покачал головой. Ему не нравились горячность товарища и слишком лёгкое отношение к охоте... Савелия он знает давно, но на охоту пошёл с ним впервые.

Они дошли до ключа Крутого, залитого свежей наледью. Узкое мрачное ущелье, на склонах кое-как удерживаются низкорослый кедрач и горная акация, запуская корни в щели скал. Здесь и зимой господствует камень — снег сдувается ветрами начисто, задерживаясь лишь в заветерьях.

— Вон там, налево, — указал Савелий.

Сквозь наледь просвечивали остатки съеденного волками марала. Охотники осмотрели косогор и наткнулись на уходящую в гору тропу. Идя по ней, обнаружили несколько куч мяса, тщательно запрятанного в снег.

— Волчьих запасы, — промолвил Иван Степанович. — Ведь вот до чего хитра скотинка! У медведей переняли манеру — заготавливать впрок...

— Смотри! Соболь! — возбуждённо прошептал Савелий, показывая на небольшой след на снегу в промежутках камней.

— Что ж тут особенного, места здесь самые соболиные. Нынче должно больше их быть, — второй уж год как запретили добывать. Красавец зверёк! Нравится он мне. Как птица летает по тайге, — говорил Иван Степанович, провожая взглядом соболиную стёжку на снегу.

— Слушай, давай пару капканов поставим! — воровато оглянувшись, предложил Савелий.

— Это ты оставь! Нас с тобой колхозники промышлять послали, а не браконьерствовать, — сердито отрезал Иван Степанович.

— Да ты что, сам законы пишешь, что ли! Думаешь, так вот все охотники и исполняют их? — обиженно возразил Савелий.

До вечера ставили ловушки и капканы, а когда стемнело, вернулись в зимовье.

На следующий день они порешили разделить участки про-

мысла. Те капканы, которые находились вверх по реке, будет осматривать Савелий, а те, что ниже по реке — Иван Степанович.

Прошла неделя. Промысел был хороший: добыли больше десятка волков, двух рысей и одну выдру. Рано утром охотники расходились в разные стороны — каждый на свой участок и не видели друг друга до потёмок, когда оба, уставшие, иногда промокие, сходились в зимовье. На следующий день всё повторялось в той же последовательности.

Осмотрев добытую за сутки пушнину, оценив её качество, приводили в порядок шкурки: очищали от жира, натягивали на правилки, сушили. Намаявшись за день, спали, как убитые.

Однажды Савелий вернулся на зимовье сильно прихрамывая. В пути его захватила пурга. Где-то на спуске с крутого косогора он прозевал поворот своей накатанной лыжни и наделет на занесённый снегом осокорь. Правая лыжа лопнула, нога ударилась о корень. На другой день нога так опухла, что Савелий не мог идти на осмотр капканов и ловушек.

— Ну, ничего, — сказал Иван Степанович, — посиди на зимовье день-два. Завтра я схожу на твой участок, посмотрю, как там.

— Нет, ты уж ходи на свой, а я к завтраму поправлюсь, сам пойду, — отговаривал его Савелий.

Но ни завтра, ни послезавтра он идти не мог. Опухоль ноги не спадала. Иван Степанович собрался осматривать его капканы. Савелий был недоволен и ворчливо доказывал, что каждый охотник должен сам следить за своими ловушками, посторонний может только испортить дело...

— Вот чудак, — удивлялся Иван Степанович, — если попало там у тебя что-нибудь, так я ведь не съем, сюда же принесу. — Чего уж ты такой ревнивый?

Иван Степанович шёл по савельевской полузанесённой лыжне, всматриваясь в следы зверей. Они раскрывали перед ним жизнь обитателей тайги. Вот след марала, вот глубокая борозда в снегу — ход выдры, а это сохатый перемахнул лыжную дорогу. Здесь близко к ней подошёл матёрый волк, прошёл несколько шагов параллельно лыжне, свернул в сторону и полез в гору. Колонки и горностаи настроичили на снегу свои узоры, в которых не так легко разобратся...

На устье Крутого в зарослях горной акации настрожены капканы. Взяв ружьё на изготовку, Иван Степанович осторожно пошёл туда. Едва он поднял из-за кустов голову, как увидел лежавшего на боку волка. Услышав шорох, зверь вскочил, но тут же перевернулся и, дёргая зажатой в дугах капкана ногой, дико завизжал.

Иван Степанович прицелился и с одного выстрела покончил с ним. Потом обошёл соседние капканы, но там ничего не было.

Не торопясь вынул добычу, вымыл снегом руки и, присев на колодину, решил пообедать. Достал из заплечного мешка сухари, кусок вареного мяса и принялся за еду, по привычке оглядывая окружающую местность. И тут ему бросилась в глаза узкая полоска притёртой ко льду наледи снега.

Покончив с обедом, он вышел на лёд. Полоска снега оказалась старым лыжным следом, переходившим на другую сторону реки, где рос густой ельник. На берегу след пропал, но в ельнике его нетрудно было обнаружить, хотя он был запылён свежим снегом. Под широкой ёлкой след оборвался, сухие мелкие ветки валялись вокруг.

— А-а, вот оно что! — произнёс Иван Степанович и длинно выругался.

Сняв лыжи и оставив ружьё, он полез на ель. В густых ветках была привязана кожаная сумка. Иван Степанович снял её и сунул за пазуху.

Прошло несколько дней. Нога у Савелия зажила, и однажды он стал собираться.

— Ты далеко? — спросил его Иван Степанович.

— Пойду капканы смотреть.

Иван Степанович молча вышел из зимовья и тотчас же вернулся с сумкой.

— Твоя это?

Савелий попятился и сел на чурбан, спрятав лицо в тень.

Иван Степанович отстегнул ремешки и встряхнул сумку. Два тёмных соболя легли на стол. Длинная ость ценного меха поблескивала в скудном свете оконца.

— Какой же ты товарищ! Какой же ты охотник! Кого ты оборовываешь? Но имей в виду—за кражу судят! А за подлый обман своих товарищей охотники судят по своим законам...

Иван Степанович повернулся к стене, сдёрнул с гвоздя винтовку и, шагнув к Савелию, грозно крикнул:

— На, возьми твоё ружьё! Забери свои вещи и уходи! Низовская избышка свободна, живи в ней, промышляй, и пускай волки тебе будут товарищами. А мне таких друзей не надо.

— Сам уходи! — визгливо закричал Савелий.—Тебе тесно со мной, ну и уходи, а я отсюда никуда не пойду! Ты не имеешь права меня выгонять, изба не твоя, а колхозная. А насчёт товарищества, так ты сам оказался плохим другом, если вздумал на меня доказать, — значит, ты сам предатель.

— Плохой я буду колхозник, а ещё хуже того коммунист, если скрою твоё браконьерство. Ещё раз говорю, забери свои вещи, возьми, какие надо, припасы и уходи. Добром прошу, уходи! Мне тошно на тебя смотреть...

Савелий забежал по избе, хватая то одно, то другое, трясущимся

щимися руками запикивая вещи в мешок, и не переставая ругаться и выкрикивать угрозы:

— Ладно, я уйду! Соболей найду кому продать... Но если ты на меня докажешь, — скажу, что вместе с тобой промышляли их, что и твоя доля в них имеется...

— Не кричи, Савелий. Не грозись. Неправдой меня не замараешь. За соболей ты один будешь отвечать, твоё это поганое дело, ты и отвечай... Но на охоту больше никогда не пойдёшь. Ты не промышленник. А может, и колхозником не будешь. Как ведь взглянут на твои дела. Если ты на промысле браконьерствуешь, то можешь оказаться таким же и в артельной жизни.

Завязав дрожащими руками мешок, Савелий сгрёб со стола соболей и швырнув их на пол, истерически крикнул:

— Нате! Пользуйтесь моим трудом, артельщики!

И толкнув ногой дверь, выбежал из избы.

На грязном земляном полу, сверкая, точно драгоценные алмазы, лежали соболиные шкурки.

СТИХИ, ПОЭМЫ

Степан Сарыг-оол

ГОЛОСУЮ ПРОТИВ АТОМНОЙ ВОЙНЫ

От золота, от злобы опьянев,
Дельцы невинной крови захотели.
Но подымается народный гнев!
Он оградит младенца в колыбели.
Спокойно спи, сестрёнка. За тебя,
За жизнь, за мир поставил подпись я.

И ты не бойся, мать. Твоих детей
Дыханье смерти ранней не коснётся,
По всей земле в защиту матерей
Могучий гневный голос раздаётся.
За справедливость, мать, и за тебя
Уверенно поставил подпись я.

Накопленный веками мудрый клад,
Который бережно хранят потомки, —
Безумцы и преступники хотят
Взорвать на воздух, превратить в обломки...
К ним ненавистью грозною кипя,
За прадеда поставил подпись я.

Я РОБЕЮ

Я смотрю на Хенче сквозь забор.
Взор ласкает праздничный убор.
Кто её в таком наряде ждёт?
Может быть, воскресный хоровод?!
Светится румянец на щеках,

Солнцем ей подаренный в степях.
Чуть дотрагиваясь до волос,
Ветерок ей гладит пряди кос.
Закружился возле Хенче вдруг
Вихрь волчком и обежал вокруг:
Обнял девушку, в глаза ей заглянул,
С платья нового пушинки отряхнул.
Рядом ива, ревностью горя,
Кланяется девушке, даря
Серьги тонкие с серебряных ветвей.
И на ухо что-то шепчет ей...
Даже облачко, плывя над головой,
Прикрывает девушку собой,
Чтобы этот образ чистоты
Не затмило солнце с высоты.

Только я единственный стою,
Чувство к Хенче прячу и таю,
И от зависти кружится голова...
Я не те ей говорю слова.
Месяцами я слова искал, —
Я в глубинах сердца их собрал,
А теперь всё спуталось... И вот
Утираю лишь незванный пот.

Губы Хенче что-то говорят,
Озорно сверкает детский взгляд...
Только мой язык и сух, и нем, —
Мне не повинуетя совсем.

ДОСАДА

Зачем так рано я полюбила,
Себя связала любовью ранней?
Из детства — в зрелость переступила,
Не озарённая светом знаний.

Цветок весенний не видел лета ...
Увял он рано, ещё весною...
Зачем же, милый, скажи мне это —
Пошла так рано я за тобою?

Ты не сердись на мою досаду,
На жалость к юной, ушедшей силе—
Свою ошибку нам помнить надо,
Чтоб наши дети иначе жили.

ХОМУС

У старых юрт кузнец Даш-оол,
Среди навоза и соломы,
Совсем негаданно нашёл
Старинного ножа обломок.
Кузнец, не покладая рук,
Стал с нетерпением трудиться,
И нож хомусом стал, и вдруг
Запел хомус волшебной птицей.
И гордой девушке одной,
Не захотевшей жить у баев,
Кузнец отдал хомус резной,
— «Храни за пазухой», — добавив.
Хомус услышал сердца спор.
Мечты поведал и печали
Он девичьи. И с этих пор
Они в легендах зазвучали.
Но эту девушку едва
Не извели святош укору.
Хомуса тихие слова
Лишь были для неё опорой.
Не раз родители детей
Пугали: «Не носите в чаши
Хомус — накличете чертей,
Они с собою вас утащат!..».
Хомус! Он вечно будет жить,
Как жил века в душе народной,
Вовеки будет он служить
Победе правды благородной!
Хомус!..
Мечтал кузнец Даш-оол
О жизни новой и счастливой..
Теперь в театры ты пришёл,
Принёс нам песен переливы.

Байкара Ховенмей

СНЕЖИНКИ

Оделись белым шёлком нежным
Вершины гор, леса, поля.
Тепло укрыта пухом снежным
Моя родимая земля.

Смеются дети, бьют в ладоши,
Зимы приходу рад любой,
На лыжах мчатся молодёжи
Со склона любо вперёбой.

Но суть не в том, что рады дети,
Что нынче снегу каждый рад, —
Пушинки звёздчатые эти
Об очень важном говорят.

Не узнают снежинки места,
Где в прошлом падали году!
Ушло бывшее в неизвестность,
И юность встала на виду.

На пустырях, недавно голых,
Забывших бедных юрт взамен,
С посёлком в ряд стоит посёлок,
Как знак счастливых перемен.

Уже не грусть в глазах аратов,
И не пугает их зима:
Корм для скота у них богатый,
Уютны и теплы дома.

Кружитесь, белые снежинки!
Зима, богатства умножай!
Не зря тувинцы и тувинки
Предвидят славный урожай!

Летит снежинок добрых выюга,
И улыбается народ:
Он, словно ласкового друга,
Встречает мирный Новый Год!

Сергей Шюрбю

ЛЕНИН

Великий Ленин первым из борцов
Повергнул в прах помещиков, купцов.
Что жадно пили кровь живых людей,
Как на пирушке сладкое вино,
И строили дворцы из их костей.
Великий Ленин первым был вождем,
Кто цепи разрубил стальным мечом
У тех, кто в муках тяжких век стонал,
Чья жизнь была страшнее, чем в аду,
И кто нужду с рождения познал.
Великий Ленин первым из творцов
Тьму озарил, давившую свинцом,
И сущностью борьбы в сердца проник.
Путь к счастью поколеньям указал, —
Да будет он в бессмертии — велик!

СЛОВО О МОСКВЕ

1.

Промелькнул и исчез мой Кызыл подо мной.
Словно конь, вздыбясь волнами, весь в серебре,
Улуг-Хем бесноватый сверкнул на заре.
Надо мной только небо, — лазурь с сединой

Великанами встали Саяны — вожди,
Гордецы проводили с почётом меня.

Край родной, все родные, друзья — позади;
Мысль рванулась вперед, далью сердце маня.

Сколько рек, сколько сёл мне встречалось в пути.
Но ещё не узнал я их славных имён!
Без меня их красе величавой цвести, —
Так в Москву я влюблён, так Москвой поглощён!

Каждый раз, как впервые, я вижу Москву, —
Не узнаешь столицу в лучах и цвету!
Новым жгучим желаньем горю и живу;
Рвётся сердце в Москву, одолев высоту.

О, суровые годы священной войны,
Грозный облик Москвы, напряжение сил!
Негавидел врагов я, и в сердце страны
По ночным затемнённым кварталам ходил.

А теперь, чуть шагнув по московской земле,
Вихрем радости свежим я властно объят.
Как снежинка весной, я растаял в тепле
Добрых солнечных улиц, высотных палат!

II.

Я в потоке людском Красной площадью плыл.
Словно радуга свет пролила с высоты.
Он горел, колыхался в груди, не остыл.
Расцвели у Кремля неземные цветы.

Реки радостных дум, песен всех ручейки,
Устремились в Москву морем бурным людским.
Ветры все, все цвета, звуков всех родники,
Тут слились, зашумели прибоем морским.

Волны все в океан бурно мчит Улуг-Хем.
Взгляды всех к Мавзолею наш век обратил.
Ленин вечно в Кремле откликается всем,
Собирает народы в содружество сил.

И заметил меня Ленин в море людском,
Взглядом ясным он душу мою разглядел:
Осветил всё, что было её тайником,
И пожатьем руки моё сердце согрел.

* * *

Не тоска по родным и друзьям дорогим, —
Только труд неумемный тревожит меня!

Я — должник перед Родиной, страстью гоним,
Дело ждёт меня, в дом мой далёкий маня!

Не повеса я праздный, напрасный, смешной, —
Я на вахте расту, я — боец на посту!
Освещён я Москвой, всей великой страной,
Словно птица взлетаю, набрав высоту.

Святят звёзды Кремля у меня на виду.
Я во тьме непроглядной дорогу найду,
Через горы пройду, вечно верен труду,
Не сверну я с пути, к ясной цели приду!

РОДНОЙ ГОРОД

Не славословлю, не хвалю
И красок ярких зря не лью.
Мой город — сверстникам подстать,
Смог величавым, строгим стать!

Родился, начал жить я здесь,
Увидел город в солнце весь;
Пел Улуг-Хем мне свой хомей
Над колыбелью первых дней.

Здесь детство всё, — пора забав,
Прошло, в лугах цветы собрав.
Здесь я учился. В первый раз
Вошёл когда-то в первый класс.

Смысл цифр, жизнь букв я здесь познал,
Открыл все тайны, мудрым стал.
Здесь май я встретил; в светлый час
Шёл на свиданье в первый раз.

Я в жизнь вошёл, взволнован, строг,
Переступил её порог.
Здесь полюбил Отчизну я;
Её судьба — судьба моя!

Я строил улицы в пыли,
Что вдоль и поперёк легли.
Сады сажил, растил я здесь;
В листве густой прохлада есть!

Я создавал домов черты:
В цементе, в красоте дворцов,
Я вижу юные мечты
И пламя замыслов творцов!

Не славословлю, не хвалю,
И красок ярких зря не лью.
Всем городам любовь дарю,
Но город свой сильней люблю!

НАПЕВЫ ЖИЗНИ

Весь театр гудит.
 В нём говор, смех, жара;
Как будто в чаще
 Слышен птичий гам.
В рядах пестреют платья, веера, —
Вот так
 цветы сбегают по лугам.

И гаснут люстры.
 Полумрак вокруг.
Шум замолкает.
 В зале тишина.
Взмах дирижёрской палочки.
 И вдруг
Соната властно хлынула, нежна.

Стал лёгок, невесом я.
 Зал исчез.
На крыльях звуков
 я лечу в простор.
Колышутся поля,
 темнеет лес,
Синеют гребни величавых гор.

Коснулся сердца свежий ветерок,
Журчат в распадках резвые ручьи;
Хлеба вскипают морем вдоль дорог,
В пруду играют лунные лучи.

То юный смех
 дорвётся вдруг сюда,
То голос милый
 вздвогнет, как цветок,

Юрий Кюнзегеш

ДОРОГА В САЯНАХ

Кулумыс — высокий перевал.
Глянешь вниз, и вздрогнешь, удивлённый.
Над бездонной пропастью меж скал
Мчится наш автобус запылённый.

Да, дорога эта нелегка,
Небо раздвигается пред нею.
А внизу клубятся облака,
Над землёй зелёною белея...

Скалы подставляют ветру грудь
В вышине, зарёю осиянной,
Обступают и сужают путь,
Дышат прелью, сыростью туманной...

Вниз, в безбрежный луговой простор,
Мчимся, как стрела, не без опаски.
А вдали синеют шапки гор,
Не воспетых ни в стихах, ни в сказке.

Кажется, что налетишь вот-вот
На копьё скалы и разобьёшься.
Кажется, коль не убавишь ход —
В пропасть обязательно сорвёшься.

Но уже долина, и опять
Запах трав медовых осязаем...
Хочется водителя обнять —
Он Саян заоблачных хозяин!

С тех пор, как проскакали
Мимо снежных
Вершин Саян,
Прошло уже трое суток.
Вокруг пестреет
Ширь стеней безбрежных.
И я уснул.
Но сон дорожный чуток.
Я просыпаюсь.
За окном вагона
Урал — седая
Старая река.
Там волны шепчутся
Неугомонно
С гранитом и кустами
Ивняка.
Напомнили они
Мой Елисей упорный,
Неудержимый.
Скалами он сжат...
Монгун-Тайгу,
И летом на которой
Нетающие ледники
Лежат.
Затосковал я по тебе,
Родная,
Под ветра шелест
И колёсный стук.
В далёкий край
Из дома уезжая,
Я взял тепло
Твоих девичьих рук.
А ты всё ждёшь
В тени густого сада.
Когда опять
Скажу тебе: люблю,
И буду гладить локоны я,
Глядя
На небо, что подобно
Хрусталою.

ПОСЛЕ ЛИВНЯ

Дождь прошёл... На луже, у дороги,
Ветерком кораблик белый закачало

Капитан поехал босоногий
Молнию искать — она в степи упала.

Потонул кораблик в луже-море.
Капитан угрюм и зол — в грязи рубаха.
И матросы, затеявая ссору,
Усмехаются, кричат ему: «Неряха!»

Как досадно... Он домой усталый
Возвратится. Мать возьмёт ведро воды,
Капитана смелого заставит
В ванну лезть — страшнее нет беды.

УРОЖАЙНАЯ ОСЕНЬ

Меж колосьев багряных,
В море спелых хлебов
Мой комбайн неустанно
Песнь выводит без слов.

Бьют зерна водопады
В кузова машин.
Щедрой осени рады
Мы всегда от души...

То ль пшеницей густою
Стали солнца лучи,
Что играли весной
На земле, горячи.

То ли славную осень
Вышивала она,
Трактористка колхоза,
Что стройна и умна.

Ветер песню уносит
В голубой небосвод.
Пусть комбайн, славя осень,
Во весь голос поёт.

ОБРАЩЕНИЕ К ПЕСНЕ

Где ты, песня, что, бывало
Слово дивной красоты,
Облик милой рисовала,
Вешней свежести цветы?

Потому ли ты поэта
И обходишь стороной,
Что, словами занят где-то,
О тебе забыл — родной?!

Как же так случилось скверно?
Приходи — поговорим.
Песня, вывод твой неверный!
Не терзайся, песня, им!

Разве это преступление —
На заветной лемби петь,
Колыбельной откровенье,
Иль будить призывов медь?!

Песня, будь стране пригодной,
А пошлёт народ на бой —
Стань в листовке всенародной
Хоть единственной строкой!

ПРОСТОРЫ СИБИРИ

Зелёным будто покрывалом
Оделась ты, моя Сибирь,
От Сахалина до Урала —
Какой простор, какая ширь!

Мой поезд мчится дни и ночи...
Конца и края нет у ней,
Сибирь, Сибирь! Люблю я очень
Твои леса и даль полей.

«ТУ-104» стальнокрылый
Сверкнёт стрелою над тобой,
Давно ли мы мечтами жили
Начать полёт сверхзвуковой?

Нигде, наверно, нету в мире,
Где б песни пелись так легко,
Как их поют у нас в Сибири,
Хоть от Москвы мы далеко.

Олег Сувакнит

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПАРТИЯ!

В жестокой, суровой борьбе рождена ты,
Сквозь все испытания с честью прошла.
Под знаменем красным, высоко поднятым,
Свободу и счастье ты людям дала.

За правду и счастье борьбу возглавляя,
Да здравствует партия наша родная.

Ты разум и волю, и силу, и славу,
Народную гордость и счастье труда
В себе воплотила навеки по праву,
Прославлена мужеством ты навсегда.

Отечество наше в труде прославляя,
Да здравствует партия наша родная!

Коварных врагов ты в боях одолела.
Весь мир озарила сияньем идей —
Ты светлым путём на великое дело
К вершинам ведёшь миллионы людей.

Немеркнущим солнцем страну озаряя,
Да здравствует партия наша родная!

ПОЛЮ РОБСОНУ

В далёкий край летит твой голос —
Его Москва передаёт,
И песню, что за мир боролась,
С тобою целый мир поёт.

И негр, и русский — все народы
Поют с тобою об одном,
И с песней мира и свободы
Семьёй единой мы живём.

Над всей землёй несётся голос,
Москвою посланный в эфир,
И ветер гнёт на поле колос,
И песня облетает мир.

ДЕЛО НЕ В КРАСОТЕ

Базыр — весёлый паренёк,
Девчатам очень нравился,
Окончив с нами институт,
Женился на красавице.

К нему зашли мы как-то в дом,
Базыр лежит в постели,
При виде нас у молодца
Вмиг уши покраснели.

Мы зачерпнули ковш воды,
Базыру — бух! — за шею:
Ну и бездельник, лодырь ты,
Жену ты так жалеешь?

И мы покинули его.
Какой же он бездушный!
Жена работает — он спит,
Зарывшись весь в подушках.

Хоть будь в сто раз красивей он.
Но коль бездельник страшный—
Нет смысла жить с таким, поверь:
Испортишь жизнь напрасно.

РУЧЕЁК

Недалеко от Красных скал
Ты, ручеёк мой, вытекал.
Зимой и летом в тишине,
Не умолкая, всё журчал.

Склоняясь утром над тобой,
Я слушал голос твой живой...
В цветах пестрели берега,
Как платье девушки родной.

А нынче, друг мой, ручеёк,
Мне предстоит, ох, путь далёк,
Но отражение моё
Прошу тебя, чтоб ты сберёг:

Придёт красавица моя,
Его увидит... Не тая,
Расскажет о любви большой...
Её не просто потушить:
Любовь её — пожар лесной.

МОЙ ЦВЕТОК

Среди цветов букета моего
Я розу полюбил сильнее всего:
Давно понравился её мне цвет —
Без розы бледным выглядит букет.

В торжественный и солнечный денёк
Я подарю любимой мой цветок,
Своей рукой на блузку прикрою —
Ведь это знак, что я её люблю.

ПЕСНЯ ВОРОБЬЯ

Пел, глядя с Бома на дорогу,
Обыкновенный воробей:
«Теки по зёрнышку, пшеница,
Пустой желудок мой набей!»

Когда ж дорогой потянулась
Колонна грузовых машин, —
Воробышек, томясь надеждой,
Им вслед быстрее поспешил.

Прибитые дорожной пылью,
Он зёрна заприметил вмиг,
И стал выклёвывать их живо,
С весёлой присказкой: «Чик-чик!»

Набито брюшко до отказа,
Достигнут сытости предел.
Тут, крылышком взмахнув усталым,
Обжора серенький запел:

«Неужто до конца уборки
Натура выдюжит моя?
Иль крылья потеряют силу
И пешеходом стану я?»

Салим Сюрюн-оол

КЫЗЫЛУ

Весёлым нарядом сверкая,
Как дуг многоцветный весной, —
Расцвёл ты от края до края,
Прекрасный мой город родной.
Как радуги лёгкой сиянье,
Светлы твои стройные зданья.

На синем стоишь Улуг-Хеме,
Вверяя свой облик волне
И гордо всходя перед всеми
На зыбком живом полотне,
Где в мягком волнистом движенье
Прекрасней твоё отраженье.

Недаром твоей красотой
Гордится тувинский народ.
Поэт, восхищённый тобою,
В стихах тебе славу поёт.
И стройность твоих очертаний
Художнику снится почамн.

Забоятся верные руки
О праздничном блеске твоём,
Не молкнут весёлые стуки
На стройках ни ночью, ни днём.
И песни звучат, не смолкая,
О счастье родимого края.

Особенный, неповторимый
Цветок, что и зиму цветёт, —

Таков ты, мой город любимый,
У глади серебряных вод.
Расти! Красотою своею
Прославь берега Енисей!

Кызыл-Эник Кудажы

ДВА ЯГНЕНКА

Там, где птицы свищут звонко
На полянке, под горой,
Жили-были два ягнёнка,
Детки матери одной.

Мама — добрая овечка
Мяч дала им поиграть,
И ушла спокойно к речке
Мягкой травки пощипать.

Не успела скрыться мама
За зелёный косогор,
Меж ягнят — детей упрямых
Разгорелся жаркий спор.

Тот бодает — дышит злобой,
Этот — больно бьёт ногой.
Наконец устали оба
И решили меж собой:

Не помирисья тут, видно, —
От обиды хоть заплачь.
Чтобы не было завидно —
Пополам разделим мяч.

Взяли нож... Через мгновенье
Воздух вышел.
Каждый рад:
Стал играть в уединеньи
Половинкой каждый брат.

Братья ловки, братья прытки,
Но мячи — запоминай —
Неподвижны, как корыта,
Хоть воды в них набирай.

КОТЁНОК

С зелёными глазами, полосатый,
Жил серенький котёночек у нас.
Смешной, не по летам своим усатый,
Он поздно просыпался каждый раз.

Не чистил зубы, с мылом не купался,
Считал всё это за тяжёлый труд:
Слюною, не стесняясь, умывался
Грязнуля этот, нехороший плут!

КОЗЛЁНОК

Он быстрый был, как ветер.
Но не кичился этим.

Нося рога кривые, —
Не хвастал — как иные.

И знал любой ребёнок —
Красавец тот козлёнок.

ДОЖДИК

Дождик, дождик с высоты,
Лейся часто, густо.
Поливай мои цветы,
Мамину капусту.

А не хочешь нам помочь,
Ну так и не надо.
Сам полить я их не прочь
Из ручья у сада.

СПОР

Басня

Зазнавшись,
Молоток сказал:
«Я — поважней,
Чем генерал.
Я сталь ковал,
Я всё могу, друзья.
Нет труженика лучшего, чем я!»

Услышав это,
Наковальня
Вздыхнула: «Хвастасишь?..
Похвально!
Как мог забыть ты обо мне,
Коль об меня стучал до дыр ты на спине.
Скажу, не затевая спора,
Что всей работы
Я —
Опора!»

Тут клещи звякнули:
«Позволь!
Над вами в кузне
Я —
Король!..
Вы без меня
Ни то, ни сё.
Я здесь главенствую во всём!»

Но старый мех
Вскричал в задоре:
«О, как смешны вы
В этом споре!..
Дохну —
И закипит вода,
И сталь размякнет
Без труда.
Молчите. Спорить, право, стыдно.
Я — старший чином.
Всем ведь видно!..»

Хоть этот спор слышали не впервые,
Молчали скромно Руки трудовые.

СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ

В саду черёмуха цвела,
Росистым серебром звеня,
Огонь лукавых ясных глаз
Упал в тот вечер на меня.

Как звёзды, ясные глаза.
Увидишь их — душа в огне.
И слов не хватит рассказать,
Как взор тревожит сердце мне.

Не знала раньше я тоски,
Жила, черёмухой дыша...
Но опадают лепестки,
Полна тревогою душа.

Зачем меня так мучишь ты?
Мою любовь ты пожалей.
Пока в саду цветут цветы,
Скажи мне правду поскорей.

Монгуш Кенин-Лопсан

Я — СЫН ОКТЯБРЯ

(Отрывки из поэмы)

1.

Чёрное время судьбы моей,
Светлое время судьбы моей
Связаны с детства, с далёких дней
С бурной волной, Улуг-Хем, твоей.

Я не забуду тот грозный год;
Прошлого ночь и счастья восход
В битве жестокой столкнулись тогда —
Это запомнилось навсегда.

Ветер речной, Улуг-Хема волна
Душу мою пробудили от сна:
Сын арата — бойцом я стал,
Против белых в бой поскакал.

И доньне, как часовой,
Хайырман — скала над рекой.
Мест родных, где жила моя мать,
Мне из памяти не утерять.

Что за тревога владеет душой,
Если услышу, как бьётся прибой?..
Мать моей силы, родная река,
Или ты просишь меня, старика,
Внуку поведать о дальних годах,
О партизанских боях?..

2.

...Тихо, тихо текла река.
 Ночью белые к нам пришли.
 Взяли старого старика,
 И связали, и повели.
 «—Вы возьмите корову дойную,
 Старика отпустите домой —
 Вместе б дожили старость спокойную —
 Муж ты мой, свет ты мой... —»
 Со слезами старуха взывала,
 То валилась в пыль, то вставала.

Разогнали плачущих женщин,
 Скот забрали,
 И нас, как скот,
 Вместе с братом погнали меньшим —
 Руки связаны, кровь течёт...

«—Бьют чиновники шаагаем
 До уродства, до глухоты.
 Мы здоровы — так здесь шагаем,
 А больные мрут, как кроты.
 Измываются над аратами
 Беляки — нойонов друзья...
 Что за время такое проклятое!» —
 С горечью думал я.

Хайырман моя высокоглавая!
 Ни снегов, ни дождей на главе твоей...
 Ты видала дорогу кровавую,
 Ты глядела нам вслед, горько сетуя...

3.

С тех пор, как родился на белый свет,
 Я и не думал о смерти, нет!
 В самую дикую глушь, в тайгу,
 Наши враги от красных бегут.
 Злые, в лохматой шерсти бород,
 Нас они гонят с собой, как скот.
 Крепче ремнями связали нас,
 Последние тряпки содрали с нас,
 Грозно блестят за спиной штыки —
 Гонят нас прямо на лёд реки.
 В драных идыках да босиком

Мы по глубокому снегу бредём,
Жгучий мороз — немоготу —
Птицы валятся на лету!
Иней — тайги прекрасный парад...
Ветви под ним от мороза трещат!
Шубой укрыт, как в шатре ледяном,
Спит Улуг-Хем богатырским сном.
Лишь полынья, словно чёрный глаз,
Смотрит с тревогой на нас.

Брата Балчыра схватил беляк
— Ой, загубил молодого враг!
Бросил он брата вниз головой
В чёрную воду реки родной!..

4.

...Если враги смертью грозят —
Духом упасть, сдаться нельзя:
Твёрдо мы встали, силы собрали,
Мы партизанами стали.

5.

...Наша судьба решалась в те дни:
С кем идти и каким путём?
Сможем ли к правде прийти одни?
Где мы друзей найдём?

К тем, кто зажжёт огонь Октября,
Решили идти араты —
К тем, чьи знамёна горят, как заря —
В щетинкинские отряды!

Пусть на тувинском, родном языке
Не говорили разведчики с нами —
Общая цель звала — вдалеке
Реяло Красное знамя!..

6.

Тучей — вершину горы Того
К ночи покрыли белые орды,
Всю ночь оттуда вели враги
Огонь по красному городу.

«— Красные, видно, спокойно спят,
А то перебиты — весь берег тёмный...» —
И через реку белый отряд
Переправляется на пароме.

...Льют пулемёты свинцовый дождь.
Красные метко огонь открыли,
Твоих защитников, чёрная ночь,
Словно осенние травы, косили.

Вспышками выстрелов взорвана тьма,
Бегут беляки, смятения полные —
Иные, от ужаса без ума,
Кидаются в бурные волны...

За брата, погибшего в полынье,
За сердце, которому больше не биться,
Ты кровью своею заплатишь мне,
Белый палач и убийца.

За близнецов, до рожденья убитых,
Мишу — и со мною, товарищ, мсти ты!
Мсти палачам, родная река,
За повешенного старика!

7.

Трофеи — оружие — не засыпаны пылью:
Всё полностью красным друзьям мы сдали,
На самом видном месте сложили —
Там, в Донмас-Суг, партизаны стояли.

Мы им сказали: «Одна заря
Светит нам с вами.
Путь нам не страшен.
Дороже золота дружба наша:
Мы — сыновья Октября!»

8.

...Есть место, которое сердцу дорого.
Мимо проходишь, всегда поклонисься.
Я снова в Кызыле, памятном городе.
Годы мои уж к старости клонятся.
Гошу у сына. Он старому рад.
Родная река под окнами льётся...
С внуком на берег иду — говорят,
Там сердце Азии бьётся.

Вот и могила. В ней спят друзья,
С которыми вместе сражался я,
С которыми вместе мы в бой пошли,
Чтоб белых смести с тувинской земли.

Мне будённовку с красной звездой
Русский боец подарил тогда...
Вижу: на памятнике, надо мной,
Эта горит звезда!..
Счастье тебе они дали, внук —
Не забывай их, маленький друг.

Там, в лощинах Бора-Тогэ —
Как малые дети, цветы весной.
Словно свободный арат на коне,
Спешит Улуг-Хем на праздник большой.
Волны его — раскалённый металл —
Лёд тяжёлый от них растаял.

Позволь мне, река, разбившая лёд,
С тобою сравнить советский народ,
Который высоко знамя несёт,
Братьям меньшим — надежду даёт.

Спросят меня:
«— Где ты вырос, дед?»
Дам я короткий, гордый ответ:
«— Рождён Октябрём на земле Тувы.
Под светом октябрьским живёте и вы!»

Я ХОЧУ

По капле влагу собирая,
С вершин, где вечный снег и лёд,
К слиянью с морем, в даль без края
Неугомонный Ус¹ течёт.

В душе стремительней потока
Растёт и ширится мечта:
Как он, отправиться далёко,
Увидеть новые места.

¹ Ус — река в Саянских горах, впадает в Енисей.

РУКИ ЛЮБИМОЙ

Мы—дети высоких гор.

У нас обычай такой:

Созревшие шишки фвать в вершине кедра густой.

Взобрался я высоко, ты еле видна вдали:

Ты ловишь добычу мою,

Не дав ей коснуться земли.

Кедровник стоит стеной, лучами залитый весь...

Как белка, скачу в ветвях, как белка, я дома здесь,

Как белка, беспечен я...

Но если буря придёт,

И вниз, на камни, меня, как камень в ручей, швырнёт.

И гуща родных ветвей, шума, пронесётся мимо...

Я знаю:

Меня спасут,

Разбиться мне не дадут

Руки моей любимой.

БРАТЬЕВ У ТЕБЯ МНОГО

(Колыбельная песня)

Счастлирое вечное лето

Настало для деток, малыш!

В потоках лучистого света

Ты в солнечной комнате спишь.

Бай-баюшки, баю-баю.

У детской кровати стою.

Проснёшься — и в дальние страны,

Играя, направишь полёт.

Легко проскользнёт сквозь туманы

Твой сказочный конь-самолёт.

Бай-баюшки-баю, сынок.

Так много на свете дорог!

Достигнешь Пекина под вечер

И будешь взволнованно рад,

Когда к тебе хлынет навстречу

Ватага китайских ребят.

Бай-баюшки-баю. Ясны

Твои серебристые сны.

Небесной широкой дорогой

Назавтра прибудешь в Москву.

Братишек у мальчика много,

Не только в игре, — наяву.

Я песенку сыну пою.

Бай-баюшки-баю-баю.

ТОРГУЕМ БЕЗ КУПЦА

Много тяжких дней кочевал я, дети,
По горам урочища Хондергей.
Там купец торговал — всех купцов на свете
С виду — ласковой, сердцем — черствей.

Помню, раз я сменил быка на холстину,
Отмерянную по длине быка.
Хотел попросить хотя бы сатюну,
Но крикнул купец: — Цена велика!

Тут охотник Тагба, мой дружок старинный,
Шкуру бобра достал из мешка
И мехом — густым, шелковистым, длинным —
Нежно потряхивает слегка.

Купец отвернулся. Надутые щёки
Так и ходят — взад и вперёд...
Понравился мех!.. С поклоном глубоким
Шкуру Тагба купцу подаёт.

Но снова купец заревел медведем:
— Зимняя шкура на что мне летом?
Ладно уж, дам, как добрым соседям,
Аршин холста... Спасибо на этом!

Мой друг побледнел, шагнул уже к двери —
Купец всполошился: — Постой! Постой!
А я гляжу и глазам не верю:
Сундук открывает. Набитый! Большой!

Но вдруг меня купчина заметил:
— Холст получил за быка? — Проваливай!
Вот как жилось кочевникам, дети,
Как с нами «добрый» купец разговаривал!..

Теперь арат—хозяин артели,
Другим и не помните вы отца.
А в магазине, что захотели,
Придёте и купите, без купца.

Каждый подходит, смотрит товары,
По вкусу себе выбирает фасоны...
И я хожу не в холстине старой,
А в дорогом костюме бостоновом.

О ТЕЛЕФОННОМ РУКОВОДСТВЕ

До конторы твоей, Белек-тарга,
Всего-то двадцать шагов,
Но можно подумать — хребты и тайга
Разделяют нас, как двух пастухов.

Звонит телефон. Я трубку хватаю,
Думаю, важная новость какая...
Но слышу голос знакомый:
— Эй,
Поговорить заходи скорей!

Зайду. Ты мне, так и не вымолвив слова,
Бумагу суёшь — и прощаешься снова.
Сидишь, озабоченно смотришь на стол,
(Бумажку какую-то там не нашёл).

Морщинами лоб твой изрезан, как губка
А в правой руке — телефонная трубка:
Кого-то в контору зайти к себе просишь...
На ферму зову — ты лишь:
— Некогда! — бросишь.

Так где же узнать тебе наши дела?
Ты часть телефона, хозяин стола!

Константин Тоюн

ПЕВИЦА

Локоны чёрные твои,
Голос, подобный звонкой струне,
Глаз светозарные лучи
Сердце ласкают нежно мне.

Плавная поступь, нежный стан,
Взлёт горделивый чёрных бровей --
Песня, душевна и чиста —
Вечно живут в душе моей.

Сердца не в силах я сдержать —
Просит и молит сердце с тоской:
Спой, мне, красавица, опять,
Нежную песню спой.

Снова и снова хочется мне
Видеть твой светлый, солнечный взор —
Слушать и слушать в тишине
Песню и эхо с гор...

Тюлюш Кызыл-оол

НЕ ДОПУСТИМ ВОЙНЫ!

Мы не хотим войны! Долой войну!
Она и так нам памятна до боли...
Мы любим жизнь, и труд, и тишину,
И гул на стройках, и колосья в поле.

Нам нужен мир! Людей любой страны
Роднит одно единственное слово.
Оно для поджигателей войны
Звучит предупреждением суровым.

Опять войной нам угрожает враг,
Но всё же перейти рубеж не смеет:
Не даром над землёю алый стяг
Всё выше и победней пламенеет.

А если нам случится защищать
Свою в боях добытую свободу ---
Благословит бойца на подвиг мать,
И твёрдо, на смерть, будет он стоять,
Как довелось советскому народу.

Сая Бюрге

ЗА МИР

Простые люди всей планеты
Единством воли мы сильны,
Единым братством мы согреты
Единым знаменем осенены.

Мы — труженики.
Мир нам нужен.
Войну разжечь мы не даём.
Мы братства щит, в работе дружной,
Как броневую сталь, куём.

За жизнь детей, за труд и отдых --
За счастье борется народ.
К вершинам мира и свободы
Родная партия вслёт.

Алдын-оол Даржаа

ЧАА-ХОЛЬ

Прозрачны воды Чаа-Холя,
Они целуют берега,
Щебечут, как шегол на воле,
Перелетающий луга.

Реки далёко колыбель:
Её баюкали озёра,
Ткала ей одеяло ель,
Где пышны лиственниц уборы.

Араки пенной озорней,
Прорвав таёжные меха,
Она звенит среди камней,
Как лёгкий посвист пастуха.

И торопливо ветви ив,
Нагнувшись, пьют речную влагу,
И вместо бус крутой обрыв
Ей бросил россыпь спелых ягод.

С купающимся малышом
Шутливо борется волна —
Такой борьбою — хурешом
Здесь детвора увлечена.

Зато строителя-борца
Который к нам в тайгу пришёл,
Смывая пыль с его лица,
Целует нежно Чаа-Холь.

За отступивший в страхе лес,
За покорённые века
Люблю тебя — в алмазах ГЭС
Неугомонная река.

В слезах восторга мчишься ты
К границам Родины своей,
Через Саянские хребты,
Войдя в могучий Енисей.

И пусть бескрайняя Сибирь
Там величава и тиха, —
Твой нежный плеск наполнит ширь,
Как звонкий посвист пастуха!

ВОДОПАД В ГОРАХ

От тяжких лет,
От снежных непогод, от ливней,
Скалы скелет
Весь в трещинах, хоть крепче бивней.

А перед ней,
У самого подножья, рядом,
Среди камней,
Река клокочет водопадом.

Её волна —
То, словно небо, голубая,
То зелена,
На солнце бликами играя.

Пасу коней
Для поискового отряда,
И в тишине
Люблю сидеть у водопада.

На водопой
Привёл коней, держусь за повод.
Живой водой
Сам освежусь — и счастлив, молод.

А струй оркестр
Льёт звуки чистые, как волны.
Они окрест
Слышны мне, — резвы, своевольны.

Глотну глоток —
И стану радостней, бодрее.
Звенит поток —
И жить во мне желанье зреет!

КУКУРУЗА

На тропинку между сосен,
Где отвесна крутизна,
Как-то раз прохожий бросил
Кукурузы семена.

И взошли они богатым
Украшением жёстких мхов,
— Украинские девчата
Средь тувинских пастухов.

* * *

Простёрлась от подножья гор
Ковром польнь.
Куда ни глянь — степной простор
Да неба синь.

Так нежно жаворонка трель
Звучит с высот,
Словно, качая колыбель,
Мать песнь поёт.

ВЕЧЕРНИЕ ОГНИ

Из-за хребта взошла луна,
Туман в ущельях густ и сер...
Не здесь ли встретиться должна
Она с созвездием Угер?¹

И я, взглянув через хребты,
Увидел дальние огни.
Они зовут из темноты,
Тревожат сердце мне они.

Пусть, как угрюмая душа,
Густеет сумрачная мгла —
Зовут меня, теплом дыша,
Огни далёкого села.

¹ Угер — созвездие.

С матерью вместе про радость весеннюю, ясную
Песню дочурке споём.
Ты родилась в молодую эпоху прекрасную —
Счастье земное моё.

Долю твою охраняет великая Родина.
Славу ей сердцем пою...
Глазки закрой, что чернее осенней смородины.
Баюшки — баю, баю.

* * *

Цвета вешних небес голубой Улуг-Хем,
Убаюкан я песней безбрежной твоей.
К берегам твоим волны горбатые льнут,
Солнце с ними балует, мальчишки рзвей.
Переполнено сердце тобой до краёв,
О, родная река, мой степной чародей!

ЦВЕТИ, ЧЕРЁМУХА

Кругом земля зазеленела,
Цветы и травы подняла.
Черёмуха, чтоб сердце пело,
И ты цветы, белым-бела!

Здесь молодое поколение,
Вдыхая запах твой, росло.
Скорей, черёмуха, в цветенье
Над нами встань белым-бело!

В твоей тени с любимой сяду...
Сказать ты б, может, помогла
Ей то, с чем в сердце нету сладу...
Так расцвети, белым-бела!

Светлана Ковлова

ГОРДОСТЬ

Королевой ходила
Под ситцевым флагом косынки.
Синей сталью
Блистали глаза:
То огонь, то — как льдинки...

Не скопила добра,
Не поставила дом,
Не сковала,
Оградой да скотным двором,
Молодые, горячие силы.

«— Погоди, доберёмся — убьём», —
Кулачьё ей твердило.

Многим в тяжкой беде помогла,
И сама не забыта бедою:
Пятерых сыновей родила,
А живы лишь двое,
Не вернула ей мужа война...

И глядишь — на висках седина,
Красноватые веки...
Нынче книги меняет она
В сельской библиотеке.

Спекулянтка,
Кулацкая дочка,

Повстречалась ей на базаре.
Торжествующими глазами
Поглядела:
« — Цветёшь не очень-то!
Ни картошки своей,
Ни сала!
На казённой квартире стала!
Не в тепле стареешь,
Не в холе!
Сыновья-то —
студенты, что ли?
А в тридцатом,
Помнишь,
Как было?
Королевой ходила!» —
И злорадная, на прощанье
Засмеялась женщине вслед..

А она на нашем собрании,
Комсомолка далёких лет,
Коммунарка в деревне первая —
Есть,
Чем в жизни гордиться ей, —
Учит нас быть повсюду верными
Комсомольским традициям.

За простыми словами
Здесь, перед нами
Юность женщины этой встаёт —
И косынка,
Как знамя,
И девчоночье сердце поёт:

Не в деньгах моя сила,
Не добром,
Не рублём дорожу —
Королевой ходила —
Королевой хожу!

БЕЗ ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА

ЦИКЛ СТИХОВ

*Посвящается красным парти-
занам Малого Енисея.*

1. «ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ...»

Ни самолётов не было, ни танков,
Не грохотал и орудийный гром.

Шёл партизан с одной дрянной берданкой
Голодным,
Страшным,
Снеговым путём.
Его пугались хмурые монашки
С детишками,
Которых «дал им бог».
Старуха грозная
В собачьей чашке
Голодному пшвырнула:
-- «Жри горох!»
Он шапки не ломал в поклопах, дерзкий,
Он знал:
С врагами няньчиться нельзя..
Дошла до гнёзд кулацких,
Староверских,
Октябрьская гроза.
В родные сёла приходило горе:
То тот, то этот белыми убит..
Недаром по долинам и по взгорьям
Так много деревянных пирамид.
Да, за победу нашей, новой веры
Погибло много смелых и простых...

Но крепкие,
Как камень,
Староверы
Со всем богатством подались в скиты,
Ворота крепко-накрепко замкнули,
Чтоб каждый лаз был брёвнами забит..

Сперва—из-за угла—летели в красных пули,
Потом смирились.

Но старинный быт,
Но цепкое кулацкое мещанство,
Покамест не разрушены сполна:
Нет выстрелов.
И спорим-то не часто --
А всё идёт война!

И хлеб на склонах горной Тоджи сея,
И поднимая в небо вертолёт,
Мы,
Молодость,
В верховьях Енисея
Ломаем древний лёд.

2. ДОМ

Иду — и в окна заглядываю:
Какая там жизнь, за окнами?
Открытая, ясная, ладная —
А может быть, гниль болотная?

Хозяева обижаются,
Засовами запираются,
Но, словно пёстрые томики,
Навстречу мне раскрываются
Дома,
Домишки
И домики.

Дом на вид приземист и кражист,
И хозяин — такой же точно,
Тут бревно если в стену ляжет,
Так уж прочно.
Борода густа у хозяина.
Руки жёсткие — строил сам.
Любит он,
Как будто нечаянно,
Похвалиться гостям:
— «Мой-то дом — не то, что казённый —
Мой-то дом — десятиконный!»

Окон в доме, и вправду, десять.
Полотна, чтобы их завесить,
Метров двадцать, небось, пошло —
Почему же здесь не светло?

Чистота.
На полу ни крошки.
Всё промыто, подметено..
Только свету и есть,
Что в окошке,
Что пробьётся сквозь полотно.

А стемнеет — слепые щелки,
Щурят ставни,
Скрипуче ворча..
Электричество сплошь в посёлке —
Здесь — убогонькая свеча.
Мёртвый шёпот.
Молитв словечки.
Мутноглазые человечки
Ходят, старое сторожа...

Хоть бы от этой
Копеечной свечки
Вслыхнул пожар!

3. УЧЕНИЦА

Пятиклассница шла через лес.
Долгий путь —
Километры —
От дома до школы.
Дома ей говорили:
— «Вселится бес
В тех, кто душу продаст комсомолу!»

Дома ей говорили:
— «Обычай блюди,
Проклянём иначе навеки!..»
А снега исчезали,
И шли дожди,
И вскипали горные реки...

И когда ей сравнялось тринадцать лет.
Услыхала новое слово:
Все —
И бабка, и мать, и отец, и дед —
Стали сватать за пожилого.
Был он грузен,
И грязен,
И бородат,
Не курил
И не ел с «мирскими»...

И девчонка ушла на сто лет назад,
Потеряла лицо и имя,
И иконная чёрная «благодать»
В душу цепко впилась когтями...
Комсомолу бы эту душу отдать,
В путь далёкий уйти с друзьями!

Нет,
Не «божьи рабы» — эти дочь и сын,
Сила новая в жилах бродит —
Юность рвётся на стройку,
В Хову-Аксы,
Из прогнувшегося «Беловодья»,¹
И старушечий мир всё равно умрёт,
Как за жизнь ему ни цепляться —

¹ Беловодье — легендарная обетованная земля староверов.

И девчонка шагнёт вслед друзьям, вперёд,
Когда минет ей восемнадцать,
И не с божьих высот,
А с чистых небес
Дождь весенний на землю брызнет...

Ученица,
Бредущая через лес,
Придёт к настоящей жизни.

4. ПЕСНЯ ИДЕТ

Только пьяные в деревне пели,
Да и то не в долгий срок поста.
Только на рождественской неделе
Здесь мальчишки славили Христа.
Да ещё,
Над люлькой,
Напевали
Матери пятнадцати годков
Про свои заботы и печали,
Про мужей — угрюмых мужиков.
Да ещё,
По вечерам,
В молельной
Старики гнусили про своё,
И сливалось с песней колыбельной
Страшное могильное нытьё.

...В сельском клубе —
Девушка-подросток.
Рыженькая,
Строгая,
В очках.

Здесь, в тайге, работать ей не просто —
Вон, афишу клеит по клочкам.
Как старалась!
Как вчера писала:
— «Завтра приезжает к нам кино...»
И сорвали.
Начинай сначала.
А кино приедет всё равно.
И на смотре, поздно или рано,
И на праздничном концерте, тут,
В древних староверских сарафанах
Девушки по кругу поплывут,
В постный день в деревне грянет песня —

Трезвая —
А пьяных веселей —
И весною не Христос воскреснет,
А воскреснет юность на селе.
И прославит пенная россыпь
Юность, победившую старье...

Здесь недаром девушка-подросток
Дело делает своё.

5. СЫН

Сын вернулся из армии.
Он сидит за столом.
Допризывники — парни
Шумят за углом.

А с отцом не поладили:
Пусть ругается он —
Сын не едет к Палладию¹
На поклон.

— Ох, семья-то расколется!
Как беду миновать?
Вот и плачет и молится
Богомольная мать.
Птицей испугнутой мечется:
— Как же... Господи...
Комсомол...
А в душе её радость
Всё-таки плещется —
Сын пришёл!

Сам решит —
Он не маленький —
Веры хитрый вопрос...

Поступил он механиком
В леспромхоз.
Как работает — видели?
Дело новое спорится,
И уже
Начинают гордиться родители
Комсомольцем.
Прочь засовы пудовые!
В дом врывается жизнь.

¹ Отец Палладий — глава одной из староверских сект.

Старики поверили в новое:
В сына.
В труд его.
В коммунизм.

6. ЦВЕТЫ

Здесь лежат под землёю плотною
Партизаны
В шабурах, через нитку проклятых,
Самотканых.

Здесь стоит тишина таёжная,
Дремлют кедры —
Лишь гудит иногда тревожная
Песня ветра.

Да по узкой тропе геологи
Проходят порою —
И опять тайга
Прикрывает пологом
Могилу героев.

Но сегодня солнце бедовое
Видеть радо
Всю в цветах,
Штакетную
Новую
Голубую ограду.

Там,
Где прежде бродили стаями
Синеглазые волки —
Там,
Взамен одиноких заимок,
Вырастают посёлки.

Где цеплялись за жизнь кулацкую
Поборники старой веры —
Там несут цветы
На могилу братскую
Пионеры.

*Анатолий Емельянов,
Светлана Козлова*

ВЫСОКОГОРЬЕ

Поэма

1.

Вот и осень проскользнула мимо .
Врач сказал:
— Пока ещё зима,
Уезжайте.
Вам в Туве не климат.

Да, не климат,
Знает и сама.
Врач сама.
Она ли не сумеет
Откровенно говорить с собою?
По ночам всё чаще, всё сильнее
В сердце перебои.

Хорошо, что рядом с ней,
В альбоме,
Целый медицинский институт.
Все друзья её, конечно, помнят,
Вместе с ней работают, живут.

Сколько их —
Весёлых, грустных, строгих!..
Дорог каждый маленький портрет...

Но сегодня все глядят с тревогой,
Перед ними ей держать ответ:

Как у ней с работой получилось?
Много ли дала она Туве?
Может, и напрасно проучилась
Вместе с ними столько лет в Москве?

Ночь косится в комнату угрюмо,
За окошком ветер, гололеть...
Надо всё сегодня передумать,
Заново всю жизнь пересмотреть.

2.

В квартиру,
Где прожито детство,
Где мать на глазах постарела,
Где — девочкой — приглядеться
К каждой пылинке успела, —
Вот в эту квартиру тесную
Вошла в счастливой тревоге:
Далёкие,
Неизвестные,
Ждут выпускницу дороги!

Пришли попрощаться соседи.
Пошли разговоры и толки,
Что вот, мол,
Далёко уедет,
С родными не встретится долго...

Потом о Туве говорили,
Что край этот дикий и странный,
Что много там камня и пыли,
А город Кызыл — деревянный.

— А главное — опыта нету, —
Заметил задумчиво кто-то,
И вот миллионы советов,
Как ехать,
Как жить,
Как работать.

И так без конца поучали,
И каждый всё знал и всё видел...

Родители больше молчали —
Молчали,
Как будто в обиде.

Не нравились ей разговоры,
Да не было времени спорить,
И эти тревожные сборы
Хотелось ей как-то ускорить.
Ей виделись новые дали,
Большие, хорошие люди —
Они её ждали,
И звали,
И знали,
Что трудно ей будет.
При чём тут советы и жалость?

Все вещи сложила, связала,
И комната вдруг показалась
Частицей вокзала.

3.

Ветер и запах бензиновой гари.
Дорога обрывами колесит.
Старушка в автобусе
Вспоминает аварии:
— Господи, пронеси!..
Поворот,
Поворот,
Поворот,
Поворот, —
И как только голова
Не закружится?
Вперёд,
В синеву,
В высоту,
Вперёд —
Сквозь леса
И скал красноватых
Содружество.

Горный ручей с ледяной водой —
Напиться,
Смочить горящие щёки...
Гранит —
Рыжеватый,
Зелёный,
Седой, —
Обрыв,
Невозможно, какой глубокий.
Ус.
Немножко похож на ус, —

Сивый, узенький, с завитками.
Тут и вправду,
Только не трусь:
Слева речка,
А справа — камень.

Первая юрта,
Как холмик тёмный.
Красные волны отар кругом...
Вот он какой —
Этот древний, скромный,
Веками обжитый дом!..

Косо — скала над рекой.
И сразу —
Чьи-то задумчивые рассказы
О партизанском налёте смелом,
О есауле белом...
Воспоминания...
Их немало.
В дороге услышишь целые повести.

— А я ничего об этом не знала, —
Даже стыдно становится.
Стемнело.
Туран.
Дорога ровнее.
Дальше опять крутой перевал.
В сумерках горы неясно синеют...

Руки под голову,
Укрылась плотнее —
Матерью спящей лежит Тува.

Паром как будто стоит на месте —
Ждёт, когда город навстречу двинется...

Начало знакомое
Последних известий
Её разбудило в вестибюле гостиницы.

4.

Так вот какой он,
Незнакомый город!
Нет, не таким он снился ей ночами.
Совсем вплотную подступали горы,
Охваченные первыми лучами.

Их ближние вершины пламенели,
Горели склоны заревом багряным,
А дальние виднелись еле-еле,
Почти сливались с утренним туманом.

Ну, ладно.
Время в город собираться.
А про себя она уже решила,
Что надо обязательно забраться
На самую высокую вершину.

...Голубоватый домик двухэтажный.
Землянка — рядом.
Непривычно.
Странно.
Но над высокими лесами важно
Линуют небо башенные краны.
Как много строек!
Летним солнцем залиты
То сруб из брёвен,
То — рядами — камень...
Она почти бежала по асфальту,
Постукивая звонко каблуками.
И, наконец, у здания обкома
Остановилась, чтобы осмотреться...

Да, город был,
Конечно,
Незнакомый,
Но было как-то радостно на сердце.

5.

Можно ли это назвать больницей?
По виду — самый обычный дом.
Только у входа,
По стенкам,
Таблицы
И вывеска — с красным крестом.

Ну, что ж —
Начинать,
Так надо с начала.
Что в жизни труднее таких начал?..

Признаться,
Сестра с полгода ворчала
На молодого врача,

Но постепенно всё входит в привычку --
Перебои с билтами
И разъезды по фермам.
Прекратились с сестрой
Неизбежные стычки,
Жизнь стала наполненной,
Ритмичной и мерной.

6.

Двое суток лошади шли, скользя,
По тайге, по горам.
Но в Кызыл не добраться.
Больная при смерти.
Ждать нельзя.
Здесь надо делать ей операцию.
А делать некому.

Случай сложный...
Чуть ошибьшся —
Большая беда...
Читала.
Но ничего похожего
Сама не видела никогда.
В Кызыл позвонить?
Там опытной люди,
Приедут, помогут...

Чего она ждёт?
Погода нелётная.
Самолёт не придёт,
А если машиной—
Так поздно будет.
Самой придётся.
И началось,
И три с половиной часа продолжалось
И ни сомнений,
Ни страха,
Ни слёз —
Одна работа осталась.
Вот всё.
Наконец, основное сделано.

Связалась с городом по телефону:
В трубку
Главный хирург
Закричал возмущённо:
— Девчонка!
Какое ты право имела!

Да,
У него есть добрая слава,
Авторитетней искать здесь некого.
— Кызыл, алло!
Я имела право —
Не бросить же так,
Умирать,
Человека!..

7.

Некрасивая и пеловкая,
Всю ли жизнь тебе жить одной?
Он приехал в командировку,
В посевную,
Весной.
За два дня объехал бригады,
Ферму,
Школу и интернат...
Заглянуть и в больницу надб...

И она приезжому рада,
Он же — слушательнице рад.

Говорил красиво и просто,
Что, должно быть,
Ей скучновато:
Хоть работы,
Конечно,
Досыта,
Но досуг в селе небогатый.
Он ведь тоже недавно приехал,
И работать начал с успехом —
Но,
Представьте,
Какое горе:
Климат...
Высокогорье...

Поглядел —
Не прямо ли в душу ей?
В пальцах смял белоснежный платок...
— Вы бы, доктор,
Меня послушали —
С сердцем что-то не то...

Как ему не поверить!
И как его жаль:
Такой молодой...
Невозможно, чтоб...

Пальто расстегнула,
Сбросила шаль,
Надела халат
И взяла стетоскоп.

А он без конца говорить был готов,
Что в городе,
Всё же,
Врачи — формалисты:
Сердце — тонкая вещь...
Поди, разберись там...
Но она уже знала:
Совершенно здоров.
Ничего не сказала ему.
Поднялась,
До дверей проводила.
Ушёл, поохав.

Тут она и почувствовала
В первый раз:
С сердцем плохо.

8.

Нет, она себя не пожалела,
Никогда себя не берегла —
Всё,
Что в жизни знала и умела —
Всё работе,
Людям отдала.

Этот дальний,
Маленький посёлок
Степь,
Где золотому полю быть,
Голубое небо Баян-Кола—
Всё она успела полюбить.
Что болезнь,
Невзгоды и усталость,
Если в каждом вот из этих сёл,
Вся,
Как есть,
Душа её осталась,
И в душе её осталось всё?..
По всему Советскому Союзу,
В самых отдалённых уголках —
Там её товарищи по вузу
На своих участках и постах.

Здесь—её ответственный участок,
Ей его доверила страна —
Здесь её мечта,
Работа,
Счастье,
Здесь она любима и нужна.
Никуда отсюда не уедет.
Эта жизнь необходима ей,
Чтоб не сдаться,
А придти к победе,
Чтоб заставить сердце стать сильней.

Нет на свете мест пустых и скучных,
Жизнь везде серьёзна и проста —
Правда,
Есть ещё пустые души —
Но для них повсюду пустота.

Путь её
Неровен был и труден,
Но прошла его —
И поняла:
Счастье там,
Где ты нужнее людям,
Там,
Где очень трудные дела.
Если это,
Главное богатство
Бережно в душе своей хранить,
За любое дело можно браться,
На любых высотах можно жить.

Многого ещё не совершила,
Настоящим делом занята...
Вот она,
Высокая вершина,
Вот она,
Большая высота.

Анатолий Емельянов

ПОЁТ КАРА-КЫС

Голос звучит и звучит,
Всегда молодой, неустанный,
В каждое сердце приходит,
Как друг дорогой и желанный —
Это поёт Кара-Кыс.

Горы и степи Тувы,
И небо её голубое,
Труд и веселье народа,
Горе и счастье людское —
В песнях твоих, Кара-Кыс.

Сколько любви
В этом маленьком сердце вместилось!
Как в Улуг-Хемской волне,
Вся Тува отразилась
В песнях твоих, Кара-Кыс.

Вот ты собрался,
Уедешь в далёкие страны..
Рано иль поздно
Вернёшься опять за Саяны:
Слышишь? —
Зовёт Кара-Кыс.

СЫН

В деревне избушка
На самом краю приютилась.
Глядит в занесённую степь,

Одинока, грустна...
Уже вечереет.
Позёмкой земля задымилась,
Усталая женщина молча сидит у окна.

Здесь жил мой приятель —
Такой незаметный и скромный
Нескладный мальчишка:
Скуластый, упрямый, худой —
А был он мечтатель,
Поэт,
Фантазёр неусмный,
А жил он тревогой.
А жил он чужою бедой.
Бывало, в окне
Разглядит сквозь метель,
За снегами,
Как зноем дымится по волжским откосам песок,
Как прадед-бурлак,
Упираясь босыми ногами,
Натруженной грудью,
Всем телом на лямку налёг.

А то вдруг увидит,
Как в пламени средневековья
Сгорают умы,
Чтоб дорогу векам озарить...
А там — по дорогам,
Политым слезами и кровью
С унылою песней
Бредут мудрецы — кобзари.

Но время пришло,
И разрывы гранат прегрмели,
И кровь обагрила
Просторы родимой страны —
И верные долгу,
Мы оба надели шинели,
Мы оба пошли
По суровым дорогам войны.

Тяжёлый был путь.
Рассказать о нём можно бы много.
Идёт пехотинец,
Согнувшись,
В земле и в воде...

Кто знал этот путь,
Кто шёл по солдатским дорогам,
Тот вдвое полюбит и землю,
И жизнь, и людей.

Друзья мои,
Сердце моё переполнено болью:
К тебе я вернулся,
Родная моя сторона —
И вижу избушку,
И в чёрное снежное поле
Глядит его мать,
Вечерами сидит у окна.

Что видит она в этом чёрном,
Заснеженном мраке,
Где всё занесло,
Замело,
Закружило пургой?

Сожжённая степь.
Поднимается рота в атаку.
Идёт её мальчик
В последний решительный бой.

...В деревне избушка на самом краю прилепилась.
Стоит одиноко...
А дальше — поля и поля,
Большая Россия,
Любовь его,
Гордость и сила,
Вскормившая сына,
Спасённая сыном земля.

Эдуард Татаринский

ДРУГ ПОЁТ

Проходит время в поисках сюжета,
Найдёшь его — вдруг не хватает слов...
Слова придут — но снова, как на зло,
Опять-таки чего-нибудь да нету.

Мой друг — тувинец сел в седло,
Поводья подобрал,
Слегка коня пришпорил...
И песня родилась,
И песню унесло,
И ей уже тайга да горы вторят.

Слова просты и нехитёр мотив.
Чудесной задушевностью богата.
Она — о том, что видится в пути
Влюблённому в свою страну арату.

Мой друг поёт.
И мне хотя б на треть
Такого же завидного умения,
Чтобы о всём увиденном пропеть
Со всей душою, полной вдохновенья!

РАЗВЕДЧИЦА

На колене свежая заплата,
Полевая сумка на боку.
Кончиком косынки грязноватой
Ветер нежно трётся о щеку.

В аромате лиственничной смолки,
Привезённой только из тайги,
Ты идёшь по улице посёлка,
Завернув, как парень, сапоги.

Этот день, размеченный заранее,
Да и ожидаемый давно,
Посвящён столовой, книгам, бане,
И, как полагается, — кино.

И пускай косынка грязновата,
Скромца твой не девичий наряд,
Всё же поселковые ребята
Вслед тебе завистливо глядят

Потому ли, что такой желанной
Кажется улыбка нежных губ,
То ли потому, что завтра рано
Ты опять, разведчица, — в тайгу!

ВСЁ-ТАКИ СПОЮ

Весь Кызыл
 в знамёнах алых тонет
Звонким песням улицы узки.
Хорошо мне
 в праздничной колонне
Чувствовать тепло твоей руки.
Хорошо — и слов иных не надо,
Радости конца и края нет —
Май, веселье,
 ты со мною рядом,
Ласковый весенний первоцвет
Ты со мною,
 и как будто лучше
Самому себе кажусь сейчас.
Как не позавидовать поющим,
Если песня
 в сердце родилась.
Про любовь, про смоляные косы,
Про судьбу чудесную мою,
И хотя я вовсе безголосый,
Но сегодня всё-таки спою!

ПИСАТЕЛЬ НА ПЕРИФЕРИИ

Ах, как же,

как же...

Яня Полищук!

Мы вместе с ним

В одной учились школе,

Знаком, знаком...

А Саша Корнейчук,

Не то, чтобы знаком,

Скажу вам более --

Встречаемся и он, и я

Как закадычные друзья!

Какой размах! Какая полнота!

Вы знаете его «Калиновую рошу?»

Ведь мой сюжет...

Как выписана там

Индифферентность

современной тещи!

Да, между прочим,

С пейзажистом Ге

Я тоже был на дружеской ноге...

Так журналист, прибывший из Москвы,

Мизинчиком поглаживая шляпу,

В одной из областных газет Тувы,

Как говорится, «заправлял арапа».

Увлёкшись, в ожидании похвал,

Усердствуя и не скупясь на слово,

И как он только Лёвой не назвал

Льва Николаевича Толстого?!

И долго б длилась болтовня,

Когда бы кто-то не спросил сурово:

«Скажите, вы не близкая родня

прабабушке прадедушки Крылова?»

Петр Воевода

БЫЗААНЧИ

Я сниму со стены бызаанчи
И смычком поведу по струне.
Моя песнь о любви зажурчит,
Как журчат ручейки по весне.

В этой песне слова горячи:
Снег растопят, развеют пургу,
Так звени же, моя бызаанчи,
Я сегодня молчать не могу.

Солнце нежные шлёт мне лучи,
Засверкала на листьях роса...
Расскажи-ка друзьям, бызаанчи,
Как черны моей милой глаза.

Я от сердца отдал ей ключи,
Потерял я и сон, и покой,
Ведь такого, моя бызаанчи,
Никогда не бывало со мной...

Моя песнь о любимой звучит.
Её ветер над степью несёт...
Разве может молчать бызаанчи,
Когда сердце от счастья поёт!

СЕКРЕТАРЬ

Между бровей — упрямые морщины.
Виски украсила густая седина.

Нет, не в годах здесь кроется причина,
Всему виной, ты говорил, война.

Недаром на твоей груди алеет,
В лучах сверкая, орден боевой,
Его вручал тебе ещё на Шпрее
Бывалый генерал за подвиг твой.

То было, кажется, совсем недавно.
Свистели пули, сердце холодя.
И ниль на землю оседала илавно
От частого снаряжного дождя.

Ты уцелел в горячем вихре боя
(Наверное, в «сорочке был рождён»),
Бойцы, поднявшись следом за тобою,
Шли на рейхстаг — последний бастион.

Потом—запас, далёкая дорога,
Знакомые до кустика места.
Хотя в боях ты огрубел немного
Зато перед людьми душа чиста.

И вот теперь ты—секретарь райкома,
Забыв о кабинетной тишине,
Ты по неделям не бываешь дома.
И чувствуешь себя, как на войне.

Райком—твой штаб. Звонки не умолкают
И беспрестанно движется народ,
И каждый срочно говорить желает.
Весна торопит, на поля зовёт.

Ведь не легко победа достаётся,
Кому об этом знать, как не тебе.
Ты жизнь готов отдать, коль так придётся,
До капли партии — твоей судьбе.

ДЕВУШКЕ-ТУВИНКЕ

Ты сегодня трепетной рукою
Распахнула дверь впервые в зал,
Где профессор старый, с сединою
Год за годом лекции читал.

Девушка-тувинка из сумона,
В этот день мечты твои сбылись:
Ты пришла из юрты задымлённой
В новую студенческую жизнь.

Дочь арата!
Светлый и прекрасный,
Мир науки встал перед тобой —
Засиял, как солнце утром ясным,
Над твоей степною стороной.

СТРОИТЕЛЬ

Здесь был пустырь, теперь — взгляни-ка.
Вознёсся дом в три этажа,
На окнах солнечные блики
Переливаются, дрожа.

Над крышей тянется антенна,
Из труб клубит весёлый дым,
И ты, строитель вдохновенный,
Гордишься детищем своим.

Ты, знаю, славно потрудился,
В отделке вижу мастерство,
Недаром дом тебе приснился,
Когда закончил ты его.

А завтра я увижу снова
Тебя, строитель, на лесах,
Неугомонного, простого,
На кладке корпуса жилого
Уже на новых пустырях!

В МИРЕ ЕСТЬ МОСКВА!

Я родился в маленькой Туве.
Говорила мать — нашла в траве.
Это было в августовский день
У речушки, что зовут Тургень.

С малых лет я пас чужих овец —
По наследству передал отец.
Так бы и прожил я до седины,
Со скотом бродя в степи один...

Но узнал я — в мире есть Москва
Где в руках народа все права,
Где все люди меж собой равны
И заветам Ленина верны.

Думал я: как далеко Москва!
Долетят ли к ней мои слова

О любви, что в сердце я берѣг,
О которой знал лишь ветерок,
Да Саяны в шапках снеговых,
Облака в просторах голубых?..

...Голос мой услышала Москва.
Расцвела, как сад, моя Тува.
Эту силу ты дала, Москва,
Так прими любви моей слова.

Николай Сердобов

«ОРЛЫ»

От райисполкома мы отъехали ранним утром. Первые брызги бодрящих лучей солнца, безоблачная голубизна высокого неба и лёгкий ветерок с юга — всё обещало погожий летний денёк. Провожаемая петушиными выкриками и лаем полусонных собак, наша машина спустилась в лог, обогнула заболоченный кустарник и вырвалась в степь.

Шофёр Василий, с которым я только вчера познакомился, своими рассказами обо всём понемножку помогал коротать путь в отдалённые колхозы района. Молодой, вихрастый, он старался казаться солидным бывалым человеком и по любому вопросу имел, казалось бы, собственное мнение. Однако нетрудно было догадаться, что от многих начальников, которых по долгу шоферской службы приходилось развозить по району, Василий перенял не только набор различных сведений, но и совершенно несвойственные ему привычки и манеры. В его словах и поведении было много чужого, наносного.

Часа через три у подножья высокого горного хребта, на фоне поросших тайгой северных склонов, показалось село. За околицей пестрели незаконченные постройки животноводческих помещений и тепловой электростанции. Всюду безлюдно и тихо... Мне стало тоскливо и досадно, как всегда, когда видишь, что работа ждёт человека; вспомнились слова председателя райисполкома: «Полеводство у них на большой, а строительство — на мизинчик».

Оглядевшись, Василий зацокал языком и покачал вихрами:

— Э, да тут ещё сонное царство. Ан нет... Слышите?

Где-то вблизи, заглушаемый выхлопами мотора, раздавался звонкий, но одинокий, и как мне показалось, унылый стук топора.

— Да, слышу. Это и есть «мизинчик»...

— Какой такой «мизинчик»? — удивился Василий.

— А тот, который стучит. Пойдём.

И вот мы перед молодым плотником. Увидев нас, он откинул назад льняные волосы, смахнул с лица рукавом синей рубахи бусинки пота и улыбнулся улыбкой трудового человека, довольного тем, что незнакомые люди застали его за работой. Василий с нескрываемым любопытством и с некоторым высокомерием разглядывал «Мизинчика». Юноше это не понравилось и улыбка также быстро сбежала с его добродушного лица, как и появилась. Взгляд серых глаз утратил свою приветливую лучистость и стал серьёзным, почти строгим. Я поздоровался и шутливо спросил, где же его бригада.

— Не моя она... Казанцев у нас бригадиром. Тихий он, а некоторые спать горазды. Бока пролежат — на спину лягут, со спины — на бок...

— Ясное дело, «Мизинчик», — перебил его Василий. — Они крутятся вокруг своей оси, а дело стоит.

— Дело-то не стоит, — сердито пробасил парень. Ему явно не понравился бойкий шофёр.

— Ну пусть не стоит, так ползёт. А ты знаешь как оно, дело-то, должно идти вперёд? Полным ходом. На прямой передаче!

«Мизинчик», не слушая Василия и всем своим видом показывая, что он и без него знает, как должно идти дело, приставил к глазам ладонь и, обращаясь ко мне, сказал:

— Вот, идут наши работнички.

Не торопясь, следуя за седоусым колхозником, к нам приближалась группа плотников. Не успели они подойти, как неугомонный Василий принялся их распекать.

— Поздновато, поздновато, ребята. Так дело не пойдёт. Солнце-то вон уже где.

«Ребята», младшему из которых было не менее сорока лет, удивлённо уставились на Василия. Я поспешил поздороваться и протянуть им кiset.

Молча свернули сигарки. И только после того, как над нами поплыли синие махорочные дымки, один из плотников удостоил Василия ответом.

— А спешить нам, паря, некуда. Всё одно матерьялов нет. Видишь, пусто, а этих, — он ткнул сапогом в ближайшее бревно, — нам на полдня не хватит. Мигом окантуем и на мох уложим.

Это объяснение не удовлетворило Василия и он стал упрямо повторять:

— Всё фавно непорядок. Это непорядок, ребята.

«Мизинчик», которого не без основания коробил поучительный тон Василия, необычайно точно передразнил его:

— Непорядок, ребята... А это порядок, что у тебя мотор тархтит? Эх, ты... непорядок!

Под общий смех Василий побежал к машине, ругая себя за промашку, непростительную для такого опытного шофёра, каким он считал себя. После этого случая на Василия уже никто не обращал больше внимания, а «Мизинчик» демонстративно повернулся к нему спиной.

Когда наш разговор коснулся председателя артсели Андриенко, то в словах плотников зазвучала большая обида. Выяснилось, что у строителей он бывает только проездом. Перекурит «по тоненькой» и бывал таков. Понадеявшись на тракторы МТС, он не организовал зимой вывозку древесины, хотя в колхозе — табун лошадей.

Самую же горшую вину Андриенко плотники видели в том, что он больше, чем им, доверяет случайным людям, приходящим нивесть откуда с топориками за кушаками. Доверил им строить электростанцию, а они и напартачили. Получили аванс и утекли. Некоторые из них и топора-то никогда, видать, не держали. А вот недавно сам привёз из Кызыла «орлов» — плотников-рвачей и кружится возле них, по выражению Андрея (так звали «Мизинчика»), как пчела над цветком:

— Платит им бешеные деньги. Барашков режет. Коней на трелёвку лучших дал. А нам, что ни спроси — нет, да нет.

— Верно гутаришь, Андрейка, — поддержал хлопца седусый плотник. — А мы ведь не хуже их. У нас самих душа болит, что строим медленно. А у них заместо души, знамо дело — карман большой и всё.

— Нет, ещё не у всех душа болит, дядя Игнат, — не согласился Андрей. — Возьми Прохорова, Митрича, да вот и Лукьянова нашего. При нём скажу. Много кантовать надо их душу, пока она прихворнёт по-хорошему.

— И это верно, паря, — согласился Игнат, затапывая ногой окурок и вприщур смотря на смутившегося Лукьянова. — Но всё ж если они «орлы», — здесь он махнул рукой в сторону леса, — то и мы не мокрые курицы. Нам матерьял подавай, да людей подбавь и без них сами всё срубим.

— Срубим, знамо дело срубим, — гддержали его плотники.

— Только не скоро дождёшься от нашего Андриенко материала-то... Скажешь ему, а он улыбнётся — и весь сказ, — медленно, не без горечи произнёс Андрей. Он ступил на бревно и стал смотреть куда-то в тайгу, где, должно быть, лежал тот долгожданный «матерьял», по которому так сильно стосковались плотники.

— Что же, и улыбнуться уж человеку нельзя? — заступился Василий за председателя колхоза.

— Лучше бы он не улыбался, а помогал. Улыбаться и ты, чай, с девками мастак, — отрезал Андрейка.

Мне всё больше и больше нравился этот паренёк, его деловитость, рассудительность и даже по ребячески заносчивое, петушиное отношение к Василию.

— Хорош мужичок с ноготок, — думал я, заглядывая в его глаза, полные мысли и непосредственного чувства.

Прощаясь со строителями, Василий похлопал Андрейку по плечу и, деланно улыбаясь, сказал:

— Ну, нажимай, «Мизинчик», нажимай. Это я тебе без улыбки советую.

Андрейка только зло сплюнул. Уж больно обидным казалось ему новое прозвище, которым с первого слова окрестил его райисполкомовский задавалка-шофёр.

— Это ты на свой газ нажимай, а то я тебя вот этим мизинчиком, — Андрейка помахал кулаком, — как трахну!

— До чего же злющий парень! И чего он так рассвирепел? — размышлял вслух Василий, вырубивая машину. — Или назвал я его не так, как надо? Чудеса!

* * *

Председатель колхоза Андриенко, узнав, что я интересуюсь строительством, сразу заговорил о наёмной бригаде плотников. Да, дела шли плохо, но вот теперь, когда он с большим трудом привёз из области семь плотников, всё будет в порядке.

— Это не плотники, а орлы! Они не подведут! Теперь соседнему колхозу за нами не угнаться. Правда, правда! Посмотрите, убедитесь! Давайте скатаем к ним?

Мне стало ясно, что «орлы» — его гордость и ему очень хочется «скатать» к ним в тайгу, чтобы ещё раз убедиться в своей «ударной силе». Это чувствовалось и по восторженному тону, и по той спешке, с которой он собрал со стола бумаги и отпустил посетителей. Я был хорошо знаком с этими людьми, рыскающими по свету в погоне за большим заработком, и смотреть на них лишний раз не имел никакого желания, но отказать Андриенко счёл неудобным, и мы покатали к «орлам».

За пашней дорога свернула в тайгу, начался подъём. На нас сразу пахнуло прохладой, запахом леса и подтаёжных цветов-медоносов: кипрея, иван-чая, дикой гвоздики и люцерны. «Орлы» забрались высоко, — только проехав с десятка километров, мы увидели перегордивший дорогу аккуратно окаймлённый стрелёванный лес. Андриенко легко выпрыгнул из машины и подбежал к штабелю.

— Смотрите, вот это да! Двести кубиков за две недели. А лес-то, лес-то какой!

Василий придирчиво осмотрел сутунки, но не нашёл «ни сучка, ни задоринки». Лес был действительно первосортным.

«Орлов» мы застали под зелёным навесом за обеденной трапезой. Молодая повариха щедро разливала медным черпаком в огромные миски чаваристый борщ. Верховодил «орлами» восседавший в середине стола старик с красным носом и большим разрезом хитро поблескивающих глаз. Завидев Андриенко, он поспешно встал, сплюнул на траву неразжёванный кусок мяса и поспешил навстречу; остальные плотники приподнялись и заулыбались. После крепких рукопожатий нас пригласили к столу — меня и Василия суховато и кратко, а Андриенко — слащаво и неотступно.

— Не брезгуйте, не брезгуйте, благодетель Вы наш, Иван Анисимович. Покушайте, чем бог послал, ещё лучше работать будем, — твердил старый вожак, подталкивая довольного председателя артели к столу. Пока Андриенко наслаждался ароматным борщом и атмосферой всеобщего почитания, Василий, подсев к костру, стал перешёптываться с поварихой. Вскоре оттуда послышался приглушённый смехок. Старик метнул в их сторону тяжёлый взгляд, и смех мигом оборвался. После обеда он, загибая пальцы, стал перечислять артельную нужду, — просил подбросить мяса, крупы, сметаны и прочей снеди. Андриенко, разгибая стариковские пальцы, обещал всё требуемое доставить к вечеру. Проехав через улыбающийся «орлиный» строй, машина ринулась вниз.

— Скажите, — обратился я к Андриенко, — что Вы думаете сделать для укрепления своей бригады строителей?

— Трудное дело. Думаю, что эти орлы кое-чему научат наших. А вообще-то народ у нас неважный подобрался в бригаде.

— Ну, народ тут мало виноват, — возразил Василий. — Бригадира надо крутить.

— А мы не крутим? Больше, чем ты свою баранку. Вот вечером опять будем крутить на правлении.

Обращаясь ко мне, Андриенко пояснил:

— Инструктор райкома Достай-оол настоял обсудить на правлении отчёт Казанцева. Приходите послушать.

Я охотно согласился. Судьба строительной бригады, а стало быть, и строительства в колхозе, заинтересовала меня всерьёз. Я перебирал в памяти впечатления дня и мои мысли всё чаще крутились вокруг слов Андрейки: «Нет, ещё не у всех душа болит...»

Давно уже скрылась цепочка плотников, а я всё раздумывал об их судьбе. Вспомнил известные мне семьи отходников, трудный удел их жён — полувдов и детей — полусирот. Раза два, а то и раз в год стучатся отходники в свой полузабытый дом и начинается пьяный угар, который улетучивается не раньше, чем растает вся пачка привезённых хозяином денег. И тогда вновь (в который раз!) снаряжает жена в поход своего полупьяного, непоседливого мужа... Мало счастья в таких

семьях... А ведь среди этих отходников немало отменных мастеров, умеющих и любящих трудиться. Многие имена их, работай они честно и постоянно в одном колхозе, на одном предприятии, могли бы сверкать золотом на досках почёта и пестреть на страницах газет.

Среди отходников — люди разных профессий: плотники, жестянщики, печники, охотники, рыболовы... Их немного, но они есть, и с ними надо считаться. В нашей жизни нет, разумеется, никаких социальных причин, порождающих отходников, мешающих им честно трудиться на одном из государственных или колхозных предприятий, жить той оседлой, светлой жизнью, которой живёт весь народ. Поводы же, по которым они отошли или порой ещё отходят от коллективного труда, различны. Здесь и пережитки прошлого в виде мелкособственнической психологии (это главное), и неумение правильно понять и стойко преодолеть трудности нашего роста, а подчас и отсутствие должных условий и нужной работы с людьми по вине отдельных руководителей.

Поводов много, но отрыв от коллектива, попустительство отдельных нерадивых начальников и финансистов развивает у отходников одну и ту же тяжёлую, но вполне излечимую болезнь — жажду денег и ложной мнимой свободы. Эта болезнь ярким тавром лежит на лицах и в душах многих отходников. Она гонит их в непогоду вдаль от близких людей, от домашнего очага, от коллектива, где они росли, трудились и получили первую трудовую книжку, ныне спрятанную на дне походного сундучка.

Многие из отходников в глубине души понимают, что живут неправильно: своим уходом с производства они нанесли государству ущерб, где-то оставили оголённый участок, который не сразу был заполнен другими. Своим приходом в другой коллектив на доходный заработок, на особых, «вольных» правах они нередко вносят разлад, порождая у неустойчивых одиночек чувство зависти и желание пойти по их только с виду заманчивой дорожке.

С другой стороны, коллектив непрестанно втягивает в себя часть отходников, которые вновь становятся в строй тружеников и лишь с сожалением вспоминают о былой поре скитальчества, отходничества, отнявшей лучшие годы жизни. Не притянет ли могучий магнит — коллектив к себе и этих «орлов»?..

* * *

Вечер застал меня на МТФ. Вырываясь из-под быстрых пальцев доярок, белыми стрелками ударялось в подойники молоко, за стеной гудел сепаратор. Прибежавший мальчуган оборвал мою беседу с дояркой Бильчинмаа, о поучительной жизни которой я решил написать очерк. Договорившись о

встрече на завтра, я вышел на улицу. С полей группами и в одиночку возвращались колхозники. Издалека доносилась задорная девичья песня. Красный диск солнца лепил последние причудливо-длинные тени.

Небольшая, но добротню срубленная контора правления уже была полна колхозниками и разноголосо гудела — здесь велись деловые споры, раздавались безобидные шутки, а какой-то весельчак, пристально, с ухмылкой, смотря на покрасневшую молодку, тихо затянул песню: «Карие очи, чёрные брови...» Группа колхозников теснилась у новой стенгазеты, шумно восхищаясь меткими карриатурами на отдельных строителей. Наибольшее внимание собравшихся привлекала таблица трудодней, выработанных за июнь месяц. Здесь с одобрением слушали инструктора райкома Достай-оола, невысокого человека в простеньком сером костюме, сопоставлявшего имена колхозников, выработавших наибольшее и наименьшее число трудодней.

Скамеек не хватало, и многие из пришедших по собственному желанию усаживались на полу вдоль стен. Я занял место за столиком бухгалтера; рядом со мной сидела пожилая колхозница в красной косынке. Лицо её сосредоточенно и серьёзно.

...Казанцев говорил долго и убедительно. Бригада малочисленна, транспорт на вывозку древесины не выделяется, не хватает инструмента. До сих пор нет давно обещанных гвоздей, верёвок и скоб. Зато вольнонаёмные всем обеспечены, им председатель ни в чём не отказывает. Им — лучшая делинка, лучшие лошади, жирный барашек — все лучшее и прежде всех.

— Может быть, я и виноват, — закончил свой отчёт Казанцев, — но есть здесь больше меня виноватые.

— А ведь Казанок, пожалуй, прав, — негромко, ни к кому не обращаясь, промолвила моя соседка, поправляя косынку своими чёрными от загара руками.

Замечания Казанцева сильно задели Андриенко и он не мог удержаться от того, чтобы не выступить сразу же с ответом. Несверно, что он не уделяет внимания бригаде. Почти каждый день беседует с каждым строителем «по душам». Увеличить бригаду нельзя — нет людей. Строители ленятся, делают брак, берут частные подряды или работают дома. А пример им брать есть с кого. Здесь Андриенко подробно стал описывать подвиги привезённых из Кызыла плотников. В его словах звучала большая гордость за своих подопечных, нотки восторга. Выходило так, что «орлы» построят всё хорошо и в срок, а без них колхозу была бы труба.

Соседка опять взялась за свою косынку и, несмело обращаясь уже ко мне, произнесла глухим шёпотом:

— Хорошо гутарит. Вроде как он прав..

На её лице явно отражались недоумение и растерянность.

Члены правления и приглашённые колхозники выступали активно. Нашлись и такие, что, как видно, не в первый раз, хвалили Андриенко за наём частных. Большинство сходилось на том, что бригада работает из рук вон плохо. Особенно горячо и правильно выступали чабан Бальчий-оол, знатная в районе доярка Кривошеева и знакомые нам дядя Игнат и Андрейка. В их словах наиболее сильно звучала глубокая тревога за ход строительства, за артельное хозяйство.

— Партия нас зовёт давать стране больше молока, мяса, шерсти, яиц, — говорила Кривошеева, поворачивая в волнении из стороны в сторону значок ВСХВ, приколотый к бэргу нового габардинового костюма. — А мы ещё мало даём. Почему? Кормим плохо, а помещений и наполовину не хватает. Разве можно допустить такое, чтобы животные опять без крова остались? Смотреть невольно, как зимой у них всё нутро промерзает... Впору самой за топор взяться, а тебя, Казанцев, к коровам поставить. Да и то, чего доброго, скажешь, корова виновата — молока не даёт...

Достай-оол пододвинулся к Андриенко и, кивая в сторону выступавшей доярки, зашептал:

— Смотри, как быстро люди-то растут. Верные слова говорят...

Андриенко заулыбался и закивал головой в знак согласия. Однако вскоре его лицо приняло вновь недовольно-обиженное выражение. Кривошеева заговорила о председателе артели:

— У Андриенко один сказ — людей нет. А сколько ещё по домам сидят? То зимние каникулы справляли, а нынче — летние. Есть среди них и плотники дельные. Возьмите Николу Зауселина, Петьку Кудряшева... Всех не вспомню зараз — сами знаете. А кто виноват? Мы — правление, а наперёд всех ты — председатель. Зачем понавёз чужих мужиков да выше наших поставил? Не давали мы на то своего согласия. Ссамовольничал ты, Анисимыч. И ещё спрошу тебя, зачем Зауселина отпугнули? Всё на мелких работах держали, а на окосячку и другое, что посложней — не подходи. Испортит, дескать, чужие мастера лучше сделают. Вот они и надделали нам на станции такого, что не враз поправишь... А ведь Зауселин контору вот рубил — чем плоха? Вернуть его надо в бригаду; наши ещё утрут нос твоим залётным орлам-то. Право слово, утрут. И учёт надо подналадить там, а то жалуются мужики: старайся — не старайся — итог один. К чему я говорю? Да к тому, что направлять наших строителей нужно, доверять им надобно и спрашивать чаще, да побольше. А этого нет у нас. Вот моё слово, товарищи правленцы. Хоть и не всем по нраву, вижу, но другого нету у меня.

Я исподволь наблюдал за соседкой. Лицо её выдавало волнение и растерянность. После каждого выступления ей казалось, что больше всех прав именно последний, но она понима-

ла, что правда должна быть одна. Кто же действительно прав, как отнестись к бригаде «орлов», кто главный виновник плохого строительства? — эти вопросы её волновали глубоко, всерьёз. На впалых щеках появился неяркий румянец, глаза тревожно поблескивали, а пальцы всё чаще и чаще перебежали с одного на другой конец алой косынки. «Как хорошо, — подумал я, — когда дело так глубоко волнует человека...»

Слово попросил Достай-оол. Сразу же все притихли. Было видно, что инструктор здесь человек уважаемый. Говорил он доходчиво и верно. Достай-оол старался меньше говорить от себя, а умело отбирал из выступлений колхозников самое главное, самое верное и горячо их поддерживал. Создавалось впечатление, что всё, что надо сказать, уже сказано, а он только повторяет, поддерживает всё нехитрое, но верное, прозвучавшее до него. Слушал я его и невольно повторял сказанные им слова: «Как быстро растут наши люди!»

Достай-оол горячо поддержал Кривошееву. Да, Казанцев бесспорно виноват. Он не даёт отпор затесавшимся в бригаду лодырям и бракоделам, не опирается на лучших строителей, которые хотят ему помочь. Порастерял, а может быть ещё не нашёл Казанцев нужную каждому ответственность за порученное дело. Оправдания его несерьёзны. Их много слышали и много, понапрасну, им верили. Вместо внедрения сдельщины, у строителей — уравниловка. Отсюда и вывод: «Старайся, не старайся — итог один». Потом колхозу, стране нужны не только новые помещения, но прежде всего — новые люди, болющие не четвертушкой, не половинкой, а всей душой за колхоз. Строя новое, люди наши должны расти. И бригадир отвечает за этот рост. Про каждого, кто не улучшает работу, колхозники скажут прямо: «либо он не хочет, либо он не умеет работать». Не умеешь — учись, но ежели люди увидят, что не хочешь — тогда прогонят с позором. «Раз нам верят, будем, Казанцев, беречь это доверие, как самое дорогое в жизни нашей».

Андриенко тоже ошибся. Вместо того, чтобы укрепить свою бригаду, обеспечить её, сполна и закрыть все лазейки и отговорки Казанцева, он обошёл правление, создал «орлиную» бригаду. Хорошо сказал Бальчий-оол — не улетим мы с ней высоко и далеко. Общиплют они нас, орлы-то, и улетят, посмеиваясь. И Устав нарушил Андриенко. Устав разрешает принимать на работу специалистов, но разве это «специалисты»? Они по деньгам специалисты. А если у наших что и хуже выходит иногда, чем у «орлов», то не гордиться, а гореть от стыда надо, что мы сами для себя плохо делаем. Ложная это гордость. Верно говорили — расставаться надо с «орлами» и поскорее. Хотят — пусть вступают в колхоз, дорога им к нам не заказана, а так они только мешают нам. Не случайно около них Зауселин крутится. Мы оттолкнули его, а они к себе за-

тянуть думают. Но это ещё посмотрим, они у нас или мы у них кого унесём. Нам нужна своя сильная бригада и правление её создаст. Давайте сообща к труду привлекать тех, кто каникулы празднует. Далеко ещё не все мы ключи к ним испробовали, и ошибочно нам рукой па них махать. Не чужие они нам, а родня...

Неожиданно кто-то робко дотронулся до моего плеча. Я удивлённо повернулся и первое, что увидел — это глаза соседки. Они радостно светились и разительно молодили её морщинистое лицо.

— Вот кто всю правду-то сказал! — она подняла руку и торжественно произнесла, как я безошибочно почувствовал, самое дорогое для неё слово: Партия!

Предложения были сформулированы чётко: «орлов» — расчитать, бригаду увеличить вдвое, Андриенко обязать в трёхдневный срок удовлетворить заявку строителей, вывозку леса начать завтра. Руки подняли не только члены правления, а все, кто находился в конторе. Колхозники, не опуская рук, смотрели на ставшее пунцовым лицо Андриенко. В глазах у многих он прочёл нескрываемое осуждение, непреклонную решимость и медленно, словно преодолевая тяжёлый груз, поднимал свою руку. Решение было принято единогласно.

* * *

Быстро промчалась неделя, за ней — другая. Много новых друзей приобрёл я в колхозах. Много ярких впечатлений запало мне в душу. Полный ими, возвращался я старой дорогой в райцентр. Вновь было раннее утро, глаза слепило восходящее солнце. Усталый Василий, добродушно поругиваясь, часто менял положение козырька своей выдавшей виды кепочки. Неожиданно с его лица исчезла сонливость и он резко затормозил машину.

— Смотрите-ка! «Орлы» ползут!

И впрямь, по обочине гуськом с котомками за плечами по-нуро шагало пять человек. Головным шагал старый красноносый вожак, замыкала шествие обвешанная посудой повариха. Сбоку у неё, словно маузер, висел поблескивающий на солнце черпак.

— Куда калым сшибать направились, служивые? — кричал Василий.

Старик отвернулся, а девушка остановилась и приветливо заулыбалась.

— Кому это она сигналист? — подозрительно посмотрев на меня, произнёс Василий, продолжая увертываться от дорожных ям и слепящих лучей солнца. — Это не орлы. Мокрые курицы...

Машина въехала в знакомый посёлок. Вот и околица... Как

разительно здесь всё изменилось! Всюду стоял радостный трудовой шум. Вот надрывно жужжит пилорама, выбрасывая из своей зубастой пасти сверкающие белизной плахи, вот разгружается лесовоз и подводы, а вокруг, со всех сторон, слышится спорый хор удальцов — топоров, в котором я улавливал высокий, задорно-весёлый стук топора Андрейки... Среди плотников узнаю Казанцева, дядю Игната, Андриенко. Достай-оола и, по пёстрой одежде, двух мужиков из «орлиной» бригады... Василий, как и в первый раз, зацокал языком, закрутил вихрами и радостью воскликнул:

— Э, да тут уже работа кипит! — И, не забыв предварительно заглушить манжину, он подбежал к Андрейке и крепко пожал его лежащие на топорище руки.

Мы помогали колхозникам разгружать тяжёлые сутунки, а перед глазами у меня неотступно стоял образ женщины в красной косынке с горящим взглядом и невысоко поднятой рукой, густо покрытой сухими мозолями. Громко и сильно, перекрывая шум повостройки, звучал для меня её идущий от сердца голос: Партия!

1956 г.

Варвара Межова

СУДЬБА АРАТА

Старый и новый посёлки Хову-Аксы разделяет гора. С её вершины открывается величественный вид. Белая снежная равнина, по которой, извиваясь, лениво течёт Элегест, высокие лиственницы, разбросанные то здесь, то там, словно охраняют покой этой стороны. Совсем близко возвышаются отроги Танну-Ола с белыми куполами. Одна из гор так высока, что на её вершине спокойно лежит, отдыхая, большое, пушистое облако.

Здесь, где сейчас идёт большая стройка, — многообразие звуков. Где-то стрекочет лебёдка, заглушаемая шумом трёхвального трактора; мощные машины электростанции соперничают с шумом многочисленных самосвалов; в новом посёлке стоит непрерывный стук топоров (тут строится сразу несколько домов). И над всем этим — песня, хорошая, весёлая, задорная. Это поёт молодёжь, прибывшая сюда по путёвкам комсомола.

Оба посёлка видны с горы как на ладони. В одном — уже посеревшие от времени домики перемежаются с новыми особнячками, в другом — сплошь новостройки. Много народу живёт сейчас в этих посёлках, больше пяти тысяч. Одни здесь уже давно, со дня основания селения, другие — лишь год. По-разному сложилась у каждого из них жизнь. Сколько людей — столько судеб. Я мысленно представляю то того, то другого рабочего, работницу, с которыми успела поговорить за два дня. Вот молоденькая Караш Сендинмаа, облюбовав себе комнатку в общежитии, вносит в неё свои немудрёные пожитки. Она приехала из Бай-Хаака и решила учиться на штукатура. Как-то сложится её жизнь? А вот взбирается на леса строящейся ТЭЦ мастер Борис Иванович Цесурский. Он приехал сюда с Дальнего Востока. Сразу же с головой оку-

нулся в работу. Семидесятилетний Андрей Петрович Сергеев — коренной житель посёлка — по-молодому бегаёт, исполняя свои комендантские обязанности. Вчера он до полуночи рассказывал о бывлых походах, о своём участии в трёх войнах, о том, как в последнюю, Отечественную, подорвал штаб немецкого подразделения.

Лица, биографии мелькают, словно в калейдоскопе. По одно лицо, одна жизнь глубоко врезалась в память. Мне рассказал о ней проходчик Южного участка Сергей Минвеевич Дагба перед тем, как уйти в штольню. До начала смены было ещё много времени, и Сергей Минвеевич, не торопясь, бросал скупые фразы, раскрывающие год за годом его полувековую жизнь.

...Юрты Эжим-сумона сиротливыми островками были разбросаны среди караганника. Гнетущая тишина стояла над заснеженной степью Улуг-Хема. Казалось, вымерло всё живое. Лишь иногда то здесь, то там из-под ветхого полога юрты вырвутся надрывные завывания шамана, отрывистые звуки бубна, да женский и детский плач, спутник безутешного горя бедняка. То был год, когда в хошуне свирепствовала страшная болезнь. Не было дня и ночи, чтобы она не унесла несколько жизней. Не обошла она и старую юрту Минвеевича Дагба. Сначала умер отец, потом заболела мать. Страшно было смотреть в её полные горя и слёз глаза.

— Славные, дорогие мои, — шептала она потрескавшимися губами, глядя на своих маленьких оборвышей, — как вы станетесь...

И уже умирая, наказывала старшим ребятам: «Пойдите к Ондар-Чалану, попросите ещё раз у него корову... Он даст... Он добрый...»

— Зачем это она нам о «доброте» Чалана говорила — ума не приложу, может, успокоить хотела, — рассказывает Сергей Минвеевич. — Мы, дети, хорошо знали «доброту» этого бая. Но идти к нему всё же пришлось. Куда было нам деваться? Я-то был маленький, а старший брат пошёл, привёл корову. И вот за эту «кормилицу» да за мешок тары пасли мы у бая скот зиму и лето, весну и осень, днём и ночью. Когда я немножко вырос, мне поручили пасти овец. Рано-рано, когда птицы спят и чуть-чуть занимается зорька, меня уже будят гнать отару. Ох, как хотелось ещё поспать (детский сон крепкий), да нельзя. А чуть задремлешь на пастбище, овец прокараулишь — верная взбучка от хозяина.

Так шли годы. Мальчик стал взрослым. Он начал задумываться о несправедливости существующего строя. Сын арата до глубины души возмущался тем, что творилось на его глазах. Однажды один из его товарищей-батраков недоглядел за табуном, и лошадей загрызли волки. Расправа бая

была страшной: парню всыпали около пятидесяти ударов бичом. Это событие так потрясло Дагбу, что он не захотел больше ни одного дня оставаться в родном сумоне. «Пойду искать счастья по свету, может, найду правду», — решил он, и попросил расчёта у Ондар-Чалаша.

— Уходи с моих глаз, — заорал тот, — говори спасибо, что кормил тебя.

— И пошёл я из сумона в сумон, как те мужики, что искали, кому на Руси жить хорошо.

Но всюду, куда ни приходил парень, он видел горе, беспросветную нужду бедняков и сытую, беззаботную жизнь баев и лам. Наконец, горные дороги и тропы привели его на прииск Харал. Решил тут поработать — понравились русские старатели. Сначала было очень трудно, но постепенно втянулся, да так, что остался рабочим на всю жизнь. 15 лет искал золото, но по-прежнему оставался тёмным, неграмотным.

— Стал я пробираться в Кызыл, чтобы посмотреть, как люди живут, а главное — подучиться грамоте, — рассказывает Дагба. — Почему-то считал, что там быстрее выучусь. И правда. Не успел как следует осмотреться на новом месте — поступил в типографию, — а мне уж предложили учиться, потому что к тому времени в Туве была введена своя письменность, и люди упорно учились. Вскоре и я овладел грамотой. Будто новый мир открылся перед моими глазами.

Жить стал лучше, но всё как будто чего-то не хватало. Попробовал вернуться к сельскому хозяйству — не то. После понял — на рудник, в гору, в забой тянет. А тут как раз стали приглашать людей на строительство комбината в Хову-Аксы. Я поехал. И вот теперь уж всем доволен.

Это правда. На лице бывшего батрака я не видела и тени печали. Уверенно и даже, пожалуй, гордо входит он в штольню, освещённую многочисленными лампочками. Ловко орудует пневматическим молотком, с помощью машины нагружает породу в вагонетку, которая, гремя, бросается за электровозом. Не успеют отгрузить эту породу, как новый обвал ложится к ногам проходчиков. Шум и грохот стоит в штольне, но проходчики смеются.

Пыль заполнила штольню, яркие лампочки словно померкли в её толстом слое. Но это продолжается недолго. Газоотводы и вентиляторы быстро делают своё дело, и воздух вскоре очищается.

Незаметно прошли часы смены. Горняки выходят на поверхность земли, улыбаются яркому солнцу.

— Вот видите, работали мы всего шесть часов, — говорит Дагба. — Это партия и правительство о нас позаботились...

Дома Сергея Минвеевича ожидают жена и сын, квартира — в новом посёлке, в только что отстроенном двух-

этажном доме. Паровое отопление, электричество, радио. Полина Дагба очень довольна — ей не надо возиться с углём, дровами. Включишь электроплитку, и чайник преется.

— Это комната у нас временная, она для холостяков, — говорит Сергей Минвеевич. — Скоро перейдём вот в те дома, что напротив, — может, к празднику 7 ноября переберёмся. а уж к новому году — обязательно. Хорошие квартиры! Видели?

Да, я видела эти квартиры. Их накануне показывал мне начальник Виктор Фёдорович Саенко. Это, действительно, замечательные квартиры. Каждая из них состоит из трёх комнат с кухней, ванной, паровым отоплением и водопроводом. Один из двухэтажных домов почти совсем готов — осталось только полы покрасить. Другие три — на разных стадиях строительства. А недалеко ровным рядом выстроились пять двухквартирных домов. Здесь ещё лучше. В каждой квартире по 4 комнаты и тоже со всеми удобствами.

В новом посёлке вот-вот будут готовы детские ясли, закладываются фундаменты большой типовой школы, детского сада и еще несколько домов. Мастерски, с большой любовью строятся жилища. Руководят этими стройками совсем молодые мастера — Афанасий Тарасов, недавно демобилизованный из армии, и Александр Антонов. Всюду — молодёжь, весёлая, неунывающая. Новый посёлок юноши и девушки любовно называют «Новгород». Кто знает, как его после назовут, может, так и останется. Это уже дело хозяев. А их в посёлке много, начиная от строителей и кончая их малышами. Вон ходит по коридору сын Сергея Минвеевича — третьеклассник Боря. Он по-хозяйски потрогал рукой батарею — горяча ли, прикрыл дверь на террасу, попробовал выключатель. Убедился, что свет горит.

— Попроси своего папку, чтоб прокатил нас на мотоцикле, — просят малыши, с которыми он вышел играть.

— Глупые! Видите, снег выпал, — журит он мальчишек. Хорошо живётся Боре, очень хорошо. Его жизнь совсем не похожа на судьбу его отца.

Виктор Черняев

ТЕТЯ ЖЕНЯ

В один из ясных тёплых мартовских дней к остановке у Кызыльской транспортной конторы подкатил новейшей марки автобус. К кабине шофёра подошла полная рослая женщина в спецовке, и, по-мужски привычно захлопнув дверку, заняла место водителя. Все пассажиры внимательно посмотрели на неё. Взгляд одних выражал удивление, других—преисполнен уважения, но всё сводилось к одному: женщина и шофёр, да еще пассажирского автобуса. Не часто такое встретишь!

А женщина, видимо, привыкшая к подобным взглядам, спокойно включила передачу и уверенно повела автобус по городу. И вряд ли кто из пассажиров знал, какой трудный, но славный путь прошла она прежде, чем ей доверили водить такую машину.

Теперь даже сама Евгения Родионовна Забродина уже не помнит точно, с чего всё это началось. Видимо, с того, что муж её тогда работал шофёром и частенько заезжал домой на машине. Молодая женщина живо интересовалась устройством автомобиля, помогала ему в мелком ремонте и постепенно в её душу вкрадывалась заветная мечта: стать, как и муж, шофёром. Но как ему сказать об этом? Как он примет её предложение? Однажды, выбрав удобный момент, она смело сказала:

— Надоело сидеть дома. Вот на шофёра бы пойти учиться.

Супруг удивлённо посмотрел на неё, потом нахмурился и сердито отрезал:

— Ещё чего выдумала! Ха, шофёр мне нашёлся. Твоё дело не за баранкой сидеть, а за горшками следить. Подумай

головой, как будем жить-то. Я—в рейс, ты—в рейс, а кто за хозяйством ходить будет? Выдумала ещё. Чтобы я больше не слышал об этом!

И всё же она не оставила своей мечты. Не один раз ещё был у них крупный разговор об этом. Ссорились, Женя плакала, но стояла на своём. Прошёл год, другой... Женя всё ждала удобного случая. Наконец в 1939 году муж надолго выбыл из дома и она твёрдо решила в его отсутствие осуществить давно задуманное. На её руках было уже двое ребят и это осложняло дело, ведь курсы шоферов находились на станции Сои Красноярского края, на почтительном расстоянии от места, где жила Женя. А на кого их оставить?

Помогла близкая родственница. Она отпустила Женю учиться, взявшись ухаживать за ребяташками и хозяйством. Только когда Женя впервые поехала на станцию, она не то утрачивая, не то предупреждая оказала: «Ох и будет тебе, как «он» приедет».

Женя в ответ только весело рассмеялась:

— После драки кулаками не машут.

Начались дни упорной учёбы. Молодой любознательной женщине учёба давалась сравнительно легко, хотя образование у неё было всего 3 класса. Затрудняла только электротехника. Женя не стеснялась обращаться за помощью. Ей помогали товарищи, преподаватели.

Не забывала молодая мать и о детях. В выходные дни, как обычно, люди отдыхали, а она на попутной машине или как придётся добиралась до дому, купала детей, стирала бельё и на другой день, как ни тяжело было расставаться с детьми, попевала к занятиям. И так каждую неделю, в течение полугода.

— Выносливая,—просто говорили о ней на курсах. — Хороший будет шофёр.

Сданы практическая езда, правила уличного движения.

— Лесовоз бы тебе дать, да ведь не справишься,—сказал угрюмый механик гаража, раздумывая; куда бы определить этого необычного шофёра, так неожиданно свалившегося на его голову. — Справишься, а? — В голосе механика чувствовалась надежда на то, что Женя откажется от лесовоза, да еще газогенераторного. Но она утвердительно кивнула головой, вдруг испугавшись своей решительности.

— Учти, не сладко будет, машина как старая телега,—предупредил механик.

— К сладкому не привыкла,—с оттенком вдруг вспыхнувшей злости отрезала она.

Пока стояла тёплая погода, всё шло хорошо. Мотор работал без отказа, и у Евгении Родионовны создалось впечатление, что она уже стала квалифицированным шофёром, пока слу-

чай не убедил её в том, что до совершенства ещё далеко. Случилось это в середине зимы, когда стояли жесткие сибирские морозы, в тайге лежал метровый слой снега, сквозь который приходилось пробиваться машинам.

Утром, быстро разогрев мотор и не проверив технического состояния машины, она выехала в лесосеку. Впереди лежал тридцатикилометровый путь. Узкая дорога, извиваясь между деревьев и скал, уходила в горы. Разъезжались встречные машины только на специальных разъездах, причём дорогу уступали машины, идущие в гору.

Вот здесь-то неожиданно и заглох мотор. Взяв рукоятку, Евгения Родионовна стала снова заводить. Мотор только фыркал и быстро захлёбывался. Она открыла капот, внимательно осмотрела машину: кажется, всё в порядке. «В чём же дело?»—недоумевала она. Прошло с полчаса, а мотор всё молчал. Мороз сковывал руки, лицо, но Евгения Родионовна не чувствовала холода. Наоборот, спина была мокрой от пота. Она лихорадочно искала неисправность, поминутно поглядывая на дорогу, откуда в любой момент может выскочить гружёный лесовоз. И тогда... страшно подумать... тогда неизбежна авария. До крутого поворота каких-то полсотни метров и на этом расстоянии уже не затормозить тяжёлой машины.

Сердито захлопнув капот, Забродина залезла под машину. Увлечшись, она не слышала, как её догнала другая машина, не слышала, как шофёр подошёл к ней и, нагнувшись лукаво-добродушным голосом спросил:

— Что, Женечка, зацепка получилась?

Забродина высунула чумазое лицо из-под машины и, обнажая белые зубы, неопределённо ответила:

— Да вот барахлит что-то...

— Очень уже велико у тебя это «что-то». На целый час вперёд вышла и всё копаешься. — А ну-ка, выползай,—тоном приказа сказал он.—Посмотрим твоё «что-то». И наставительно закончил: «Причину надо в сердце машины искать, а не под кабиной».

Пока он возился с мотором, Забродина стояла возле крыла, потупив глаза и смущённо кусая сухую веточку. Минут через пять всё было готово.

— Ну, садись,—сказал он прежним лукаво-добродушным голосом,—хватит веточный корм употреблять. — Шофёр направился было к своему лесовозу, но вернулся и наставительно сказал:

— Ты ещё молода и поэтому заруби себе на носу: не выезжай из гаража, пока не убедишься в полной исправности машины. За техникой надо следить каждый день, каждую свободную минуту. Сама не знаешь—старших попроси. В учебники почаще заглядывай. Ты думаешь, проучилась пол-

года, и всё знаешь? Гордыня... И уже усаживаясь в кабину, он крикнул:

— Да прочитай басню Крылова, как у одного мельника плотину размыло. Полезная для нашего брата-шофёров.

Красная от стыда и пота, села Евгения за руль. Крепко запомнился ей этот случай и особенно совет бывалого шофёра. Теперь она знала—лучше задержаться в гараже, чем стоять на дороге.

Вихрь войны не миновал и Евгению Родионовну. Мужа сразу взяли на фронт и, оставшись одна с детишками, она была вынуждена пересечь на рудник Туим. Её приглашала туда одна родственница, которая писала, что люди её профессии на руднике очень нужны, обещала устроить ребят.

Неласково встретил Забродину рудник. Правда, машину ей дали, но о прочих условиях работы и не спрашивай. Хорошие машины ушли на фронт, не хватало запасных частей, почти совсем не давали резины.

— Выходите как-нибудь из положения,—слышался один ответ.—На фронте труднее.

— Сейчас нашим шоферам не работа, а суший рай,—вспоминающая прошлое, рассказывает Евгения Родионовна. — Вот тогда бы они поработали. Необходимые запасные части доставали кто как мог, камеру лагали почти каждый день. Отъедешь от гаража и снова качай. А разве это лёгкое дело для женщины. Качаешь, а пот мешается со слезами.

Да, были и в её жизни слёзы. Проливала она их в то тяжёлое время и над проклятым баллоном, и придя поздно вечером с работы, когда заоченевшими руками растопляла потухшую печь; плакала, лаская насидевшихся за день под замком малышей. Но это были не слёзы бессилия и отчаянья забитого горем и нуждой человека. Это были просто женские слёзы, так необходимые в тяжёлые минуты. Поплачешь — и на душе становится легче, веселее спорится работа.

В свете фар в бешеной пляске кружились мириады снежинок. За окнами кабины завывал ветер, заглушая шум мотора. Машина медленно, но упорно продвигалась к железнодорожной станции. Руднику нужен был хлеб. Впереди показались пристанционные постройки, длинные силуэты складов.

Разыскала дремавшего в сторожке кладовщика.

— Принесло тебя в такое время, — равнодушно пробурчал он.—Грузчиков-то нет.

— Сама нагрузжу,—коротко ответила она.

— Как знаешь.

В середине дня, измученная дорогой и бессонной ночью. Евгения Родионовна медленно шла домой. У самого порога её остановила девушка-почтальон и протянула неширокую стандартную бумажку. Мгновенно расплылись строки на бу-

маге. Она качнулась, но, закусив губу и прислонившись плечом к косяку двери, устояла. Почтальон удивлённо смотрела на Забродину. Девушка была единственным человеком, который видел, как на мгновение согнулась под ударом горькая сильная женщина. Согнулась, но не сломалась. О своём горе, о гибели мужа она рассказала в этот день только детям, которые, видя её слёзы, ещё больше ласкались к ней.

Всю войну Евгения Родионовна лелеяла надежду, что, может быть, муж жив, может быть, произошла ошибка. Но от шумела война, возвращались домой фронтовики, а ошибка не обнаруживалась. Ждать было некого, жить на руднике становилось всё тяжелее. И она выехала в Кызыл, поближе к матери.

В Кызыле Забродиной не сразу удалось устроиться на работу. С недоверием относились в организациях к женщине-шофёру. Наконец, получила работу и доказала на деле, что может работать не хуже мужчин. Вместе с ними она доставляла пружы на далёкий таёжный прииск Хопто. Любила дальние и трудные рейсы, однако пришлось от этой работы отказаться. Уедешь, а ребята одни, душа в рейсе неспокойна.

В Кызыльской АТК, видимо, тоже вначале были того мнения, что женщина—плохой шофёр. Евгении Родионовне вручили выдавшую виды полуторку, «хозяйственника», на которой она прокурсировала по городу восемь лет. Забродина знала по опыту, что маленький неутомимый газик, на собратьев которого до войны падала почти вся тяжесть перевозки грузов, при хорошем уходе очень трудолюбив. Она отнеслась к нему с материнской заботой, а он ей платил за это безотказным трудом.

— Тринадцать лет за рулём, а всё третий класс,—невесело думала Забродина. — Пора бы тебе на второй класс. А не поздно ли в сорок лет-то,—подкрадывалось сомнение. Учиться никогда не поздно,—подсказывал другой внутренний голос.

Вечером сыновья Валерий и Геннадий внимательно выслушали мать и дружно поддержали её. Не оставляя работы, Забродина стала готовиться на второй класс. Не легко было работать и учиться. Ведь нужно приготовить обед, постирать, прибраться по хозяйству. До поздней ночи засиживалась она за учебниками. Хорошо, что ребята во всём ей помогали.

Загляните в дом к бывалому шофёру, и вы удивитесь, как она может совмещать домашние дела со столь необычной для женщины профессией. Везде чисто, порядок. Вся комната заставлена пышными цветами, выращенными ею. Самой приходилось по всякому, но дети, в пример другим, ходили всегда чисто и аккуратно одетыми. А руки, эти большие сильные руки, которые 19 лет имели дело с металлом и маслом.

сохранились так, как если бы Евгения Родионовна была швейей.

На автобус, ходивший по маршруту Кызыл—Каа-Хем, требовались шофёры. Кто-то предложил создать женскую смену.

— Давай, тётя Женья, возьмём Каа-Хемский, — предложила Забродиной молодой шофёр Зоя Чертова. — У тебя второй класс, а я к тебе как бы в помощники.

— Что же, можно, — согласилась Забродина.

Долгие годы работы в различных условиях пошатнули здоровье Евгении Родионовны. Да, время повозиться и дома Валерий и Геннадий работают, как мать, шофёрами, хорошо зарабатывают. И после долгих колебаний она подала заявление об уходе. Подала и тут же, в кабинете начальника, расплакалась.

— Кто вас обидел? Что с вами? — удивился он.

Её, конечно, не уволили, а перевели на более лёгкую работу — подменным шофёром на городские автобусы.

Не так давно Забродина проводила в армию младшего сына Геннадия. Перебирая его фотографии, она говорит:

— Вот вернётся Гена из армии, тогда обязательно оставлю работу. Хватит. Годы уже не те.

Но неуверенный голос, которым она произносит эти слова, заставляют сомневаться в сказанном. Ведь бросить любимое дело, коллектив, куда труднее, чем провести машину сквозь снег и пургу. И ты, тётя Женья, прекрасно это знаешь.

Владимир Ермолаев

СТРАНИЦЫ ИЗ ПРОШЛОГО

1. КАТОРГА

Некий финляндец из геологической экспедиции ехал в 1915 году в Туву по Усинскому тракту и удивлялся однообразной серой одежде дорожных рабочих. На одной из станций он обратился к дорожному технику:

— Скажите, господин техник, почему ваши рабочие носят такую серую, однообразно скучную одежду? И почему тут у вас так много стражи? Неужели нападают злоумышленники?

Техник не знал, как ему понимать эти вопросы, всерьёз или в шутку. Но иностранец настойчиво повторил свои вопросы. Пришлось объяснить общеизвестные у нас явления:

— Так это же каторжане! И работают они не по вольному найму, а отбывают наказание.

— В таком случае кто же строит тракт, государство или частная акционерная компания? — допытывался финляндец.

— Строят все. Государство даёт деньги, подрядчики и тюремное ведомство делают всё остальное. Здесь новая каторга: подрядчики берут подряды на постройку определённых участков дороги, на поставку леса и прочего. Они же берут подряды и на использование труда каторжан. Такие комбинации выгодны и подрядчикам, и тюремному ведомству.

Вдали показалась большая группа людей. Они шли парами, и каждый шаг их отдавался резким металлическим звоном. Одеты они были в серые рубахи и штаны, на ногах — грубые сандалии, на головах — серые суконные шапки в форме походного котелка. Одной рукой арестанты придерживали длинную цепь кандалов, другой несли лопаты. Вид их был до крайности утомлённый, лица мрачны. Даже при ви-

де такого редкостного экземпляра, каким должен был казаться в тайге элегантно одетый иностранец, никто из каторжан не выразил ни интереса, ни простого любопытства. Это была партия бессрочников, возвращавшихся с работы в свою тюремную казарму. Впереди и сзади колонны арестантов шли по два вооружённых стражника. Они тоже были утомлены, но при виде техника и финляндца разом подтынулись.

С тех пор прошло более сорока лет. Вероятнее всего, финляндца нет в живых, но память о нём осталась. В Краеведческом музее в Кызыле есть фотографический снимок кулацко-купеческого съезда, происходившего в Белоцарске после свержения первых органов Советской власти. На этом снимке совсем не случайно зафиксирована фигура финского «геолога»: он принимал деятельное участие в работе контрреволюционной организации кулаков.

От каторги теперь, конечно, и следов не найти. Лет десяти тому назад на станции Арадан ещё можно было видеть кучу трухлявых брёвен — остатки арестантских казарм, но и тех не стало.

В 1917 году, в самый разгар таёжной весны, на Усинский тракт метеором прилетело раскалённое слово «свобода». Далеко от усинской каторги, за тысячи вёрст от неё, российский царь отрёкся от прогнившего престола, а здесь, в таёжной глуши, его свержение отозвалось тысячеголосым гулом: Свобода! Свобода!

Весть о падении царского режима пришла на каторгу днём. Работа на дороге шла обычным путём. Сотни арестантов корчевали на просеках кедровые пни, тысячи серых фигур возили на себе гравий, щебёнку, утрамбовывали «бабами» почву... Ни один телеграф не мог так скоро разнести на трехсотверстном расстоянии весть о свободе: за считанные секунды, с полуслова, с одного взгляда, с одного жеста люди поняли: мир перевернулся!

Где работали, там и побросали инструменты. Кайлы, топоры, лопаты, ломы, общие котлы,— всё, всё было брошено там, где застало ошеломляющее известие. В руках у людей тут же, каким-то чудом, оказались подпилки, зубила, молотки... Не слыхала ещё тайга такого звона цепей, не слыхала она и такого грома, который прокатился по тайге, когда тысячи истомлённых неволей людей в один раз сбросили с себя кандалы!

«Срочники» и «бессрочники» стали равны, одинаково свободными: иди куда хочешь! Иди, кому куда любо! И только удивлялись, как просто рухнула страшная власть, что держала их десятки лет в железных кандалах, в заточении, в каменных мешках, гноила в таёжной грязи.

Каторга стала уходить. Но уходя, каторжане мстили сво-

ей страже: много надзирателей было убито. Начальник дороги едва спасся. Вся тюремная стража состояла из трёхсот-четырёхсот человек. Военские части, бывшие в начале строительства, давно ушли на германский фронт. Никто и ничто не могло противостоять тысячам каторжан.

Тайга опустела. Жуткая тишина окутала жилые постройки стражи, начальства, арестантские казармы. Омертвели просеки, мосты, приторы, кюветы, дороги, исчезли со сторожевых вышек часовые.

Длинные вереницы серых «халатников» тянулись по утрамбованному их руками полотну дороги. Выходили в Григорьевку, шли дальше по деревням и городам. Некоторые несли с собой кандалы и продавали крестьянам на мелкие подделки.

Деревня, увидев серые халаты с бубновым тузом на спине,—насторожилась. Кое-где поползли слухи о кражах, грабежах, поджогах... Крестьяне организовали отряды самообороны. Стали ловить каторжан, проходивших мимо их деревень, и тем восстановили против себя всю арестантскую массу. Началось обоюдное мщение, воровство, поджоги целых деревень... Этому способствовало и то, что часть крестьян приняла участие в расхищении дорожного имущества. Сблуждённые лёгкой наживой, они выезжали на тракт и увозили от туда всё, что попадало под руку.

Дорога замерла. Не много находилось смельчаков, рисквавших проехать по тракту. Месяцами не слышать было на дороге живого человеческого голоса, не увидишь ни пешего, ни конного.

Каторгу прорвало, как гнойный нарыв, она растеклась по всей стране, растворилась в массе людей деревень и городов, и вскоре по всей притрактовой тайге не осталось ни одного бубнового халата. Остывший пепел сгоревших тюрем разнесло ветрами, а чёрные головни заросли травой.

Пришли новые люди, настоящие хозяева дороги, тайги. Они перестроили Усинский тракт, сделали его шире, покрыли асфальтом, построили на пути станции, целые сёла с клубами, кино, школами. И неузнаваема стала Усинская дорога. Сотни автомашин бегут по ней день и ночь. Тысячи тонн грузов везут они через Саяны, насыщая молодую Тувинскую область предметами культурного обихода, сельскохозяйственными машинами и промышленным оборудованием.

2. НА ДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ

Машину потянуло вправо, шофёр резко затормозил и, выскочив, обежал вокруг, заглядывая на колёса. Вздохнув, он меланхолично произнёс:

— Приехали, товарищи! Можете разводить костёр и чай варить...

— В чём дело? — спросили мы в два голоса.

— Где-то кусок колючей проволоки подцепил, — ржавая-прержавая, столетней давности. Два прокола дуплетом получил.

Вечерело. До станции оставалось не более полкилометра.

— Пойдём, Андрей! — предложил я своему спутнику. — На станции у меня есть знакомый старичок, Тимохин, у него чайку попьём.

Дед Тимохин жил в старой станционной постройке, чудом сохранившейся с дореволюционных времён. Изба стояла так близко от берега речки, что в большую воду с крыльца можно рыбу ловить. Окнами она смотрела на таёжную заросль высокой горы.

— Во-время подошли! — встретил нас хозяин, показывая глазами на стол, где чуть дымилась большая сковородка с рыбой, залитой яйцами. — Садитесь кушать с нами! Бабака! — позвал он. Иди угощать гостей.

— Пожалуйста к столу! — пригласила нас старушка, выходя из кухоньки, отделённой ситцевой занавеской.

Поблагодарив, мы охотно уселись за стол.

Мой спутник—Андрей—дсмобилизованный из армии в чине капитана, восьмилетним мальчиком был вывезен из Тувы и с тех пор не бывал там. Далёкая родина—село Туран—влекла его к себе с давних пор. Только теперь, через тридцать с лишним лет он едет посмотреть своё село, увидеть, может быть, своих сверстников. Он всю дорогу восхищается красотами тайги, горными вершинами, дохматыми кедрами и буйной травяной растительностью, которую в народе называют не очень ласково: «дурнина».

Андрей стал расспрашивать Тимохина о жите-бытье, когда тот поселился здесь, чем занимался.

— Живу, конечно, я давненько здесь. Ну, вобщем— всю жизнь почти, — начал рассказывать дед. — А тайгу знаю только вот вокруг да около станции. Моя служба такая: сторожи, чтоб кто чего не напакостил, чтоб не сожгли случайно станцию или там амбар или что другое. Кругом тайга, везде валёжник, случись пожар в тайге, может и до построек добраться... Вот и приходится день и ночь на месте быть. Раньше тайга через окна в избу лезла, а теперь повырубили, пеньков-то кругом тыщи! Но всё же тайга живуча. Вон, видишь, березничек? Когда-то там громадная казарма стояла. В девятнадцатом году казаки её сожгли, только пепел остался. А теперь на том месте роца берёзовая выросла. И следов от казармы не найдёшь!

— Зачем же сожгли? — спросил Андрей.

— Время, товарищ, такое было: жизней людских не жа-

лели, а не то, что постройки или что другое. Теперь, конечно, всё быльём поросло, а мне которые дни врезались в память и теперь, как на ладони, ровно всё вчера было...

— А вы, пожалуйста, расскажите! Это очень интересно, какие события происходили. Здесь, вероятно, во времена гражданской войны тоже партизаны бывали?

— А как же! Кравченко, Шетинкин со своей армией тут проходили по Усинскому тракту, когда в Туву шли. И обратно тут шли, после разгрома казаков. Как же, посмотрелся я всякой всячины в то время...

Дед свернул сигарку и, закурив, продолжал:

И тогда на сто двадцать шестой жил, — так станция называлась. Хворал сильно, животом мучился. В то время мало народу по тракту ездило; за неделю одна-две подводы пройдут и всё. В июле месяце, в то время сильные дожди шли, проехала партизанская разведка. За ней потянулись обозы, а после — и вся армия пошла. Множество народу! Видать, издалека пришли: оборвались, без мала половина босиком. Потом стрельба поднялась, это беляки следом наступали. А у партизан патронов маловато было, они подстерегут в тайге белых да и начнут их шашками крошить! После дня на два затихло. Потом казаки налетели, кричат: «Где красные?» А я говорю: — Догоняйте, если они вам нужны. Какой-то офицеришка подъехал и лезет на меня конём, орёт: «Ты, сукин сын, шпионить оставлен тут!» И давай на меня плетью махать...

Дед увидел, что я достал блокнот, и спрашивает:

— В газету, поди, напечатать хочешь? Так ты пиши уж по имени, отчеству меня: Евдоким Иванович Тимохин. Не герой, конечно, а всё же кое-чего повидал. Могу молодым порассказать про старинку!

— Не ударил тебя офицер-то?

— Нет. Жена выскочила из избы, закричала на него: — Ты, господин офицер, почему на большого человека замахиваешься? Что он тебе плохого сделал? Бей, говорит, лучше меня, — если совесть твоя позволяет!

Погрозил он ей нагайкой и отстал от меня. Прошли, конечно, мимо и казаки. Пушки провезли, пулемётов уйму, громадный обоз снарядов да патронов... И опять у нас затишье настало, но ненадолго. Сидим, однажды, вот так же — ужинаем. Уже стемнелось — дело-то уж в августе было, — тучи кругом горы заволокли. Слышим, Соболька залаяла — собака у нас была — гады-казачишки впоследствии застрелили её. Привернул лампу, гляжу в окно. А с улицы на меня смотрит человек и машет рукой. Выхожу я, спрашиваю: — Кто такой, чего надо? А их оказалось двое. Заходят в избу, я — за ними. Смотрю, а они в кальсонах!.. А на плечах гимнастёрки без погон, и на ногах ничего нет. Босые! Один из них чёрный та-

кой, волосы как конская грива, говорит жене. — Тётка, дай, пожалуйста, чего-нибудь покушать! — Да что с вами случилось? — спрашиваем их. — Покормите, потом расскажем всё... — отвечают они, а сами глядят на стол. Наелись и говорят: — Вот что, дядя, дай нам какие-нибудь штаны. Хоть какие старые, всё равно. Видишь, в каком мы положении! Я говорю жене: — Дай им старые плисовые, а другие — те, что вчера починая. Поднялась тут на меня моя старуха: — Ты что, белены объелся! Последние шаровары отдать хочешь, а сам бесштаный ходить будешь! Какой прискатель выискался, штаны раздавать! И пошла, и пошла. Всё же сколько ни купоросилась, а штаны пришлось отдать.

— Ну, а если бы не дали? — задал я вопрос.

— В том-то и дело: их двое, а я один, и хотя у них никакого оружия не было, всё равно им ничего не стоило нас пристукнуть...

Евдоким Иванович бросил к порогу погасшую сигарку и стал заворачивать новую. Он искоса взглянул на мой блокнот и продолжал рассказ.

— Спрашиваю: — Ночевать будете или нет? — Какое, говорят, ночевать! Подаваться надо отсюда. Найдётся начальство — потащат опять в пекло. Наутро только проводил этих двух, гляжу ещё пятеро бредут. Тоже полураздеты, без обуви. Кто в штанах, а рубахи нет, кто в одном нижнем белье. А один в каком-то халате — с тувинского ламы снял, что ли. За ними вскоре ещё пришли. А потом повалили партия за партией — человек сто, наверно, прошло. И все спрашивают: «Нет ли у тебя, дядя, штанов или рубахи?» Долго не задерживались. Походят по станции, подберут какие ни есть тряпки, обмотают босые ноги и — дальше. Не все пешине были, которые верхом ехали. Только, видать, кони не казачьи, а крестьянские — украли где-то... И всё без седел едут, узды верёвочные, кое-как связанные — лишь бы конь слушался.

Это они от красных убежали. «Сначала, говорят, мы заняли город Белоцарск, — раньше так Кызыл назывался, — а ночью красные начали наступление. Нагрянуло их, как мошки. Мы из пулемётов бьём, а они лезут... А тут поднялся страшный ветер, пыль, песок набились в затворы, ленты то и дело заедает... Началась гроза. Молнии сверкают, гром гремит, пушки палят, винтовочные залпы и крики людей — всё смешалось! То с нашей, то с ихней стороны кричат «Ура!» Прижали нас красные к реке... Куда денешься — плыть надо... Ну, вот и приплыли...».

— А начальство-то было среди них?

— А вот слушайте. Вечером приехал сам Бологов, — это ихний главный казачий командир. Такой небольшой, молодой ещё, а злой! Как собака! На всех крысится, на всех

гавкает! С ним человек полсотни казаков. Эти все одеты как следует—в свою форму и при оружии. И лошади у них, видать, свои, казачьи. Пришёл один молоденький казак к нам в избу и разговорился. Мы его чаем попоили, рыбкой свежей старуха накормила... Он и говорит:—«Наш главный сам в разведку хочет идти. Вызывал охотников: кто, говорит, не струсит, пойдёт со мной в разведку? Человек десять нашлось». В ночь они ушли. Проходит день, проходит два, а Бологов не возвращается. Казаки, что остались дожидаться его, начали волноваться, спорить меж собой. Сколько-то казаков тайно в Минусинск подалось. На третью ночь из тайги вышли пять человек и принесли на посылках Бологова. Из одиннадцати вернулось только шесть, а здоровыми пришли — двое. Бологову ноги прострелили, у других не сильные раны были. Оказалось, — засели они на Смолинской заимке и стали следить за степью, по которой могли придти партизаны. Место там высокое, вся степь, как на ладони.

— Интересно, что мог сделать Бологов со своим десятком казаков, если бы партизаны послали против него отряд! — пожал плечами мой спутник.

— После, когда партизаны шли обратно в Минусинск, они рассказывали: — «Заняла казачья разведка заимку Смолина, расставила пулемёты и ждёт партизан... А на заимке у нас был свой парнишка оставлен, вроде будто пастух смолинский... Вот этот парнишка всё высмотрел, да ночью и выполз с заимки на брюхе по огородным грядкам да меж караганников. А за горкой наша разведка стояла. Он и рассказал о казаках. К утру наш отряд окружил заимку. Но внезапного нападения не получилось. Один наш коновод отпустил лошадь, она побежала, заржала. Ну, белые догадались, что у них в тылу неладно и давай отступать. Хотели мы захватить самого Бологова, да не пришлось — ушёл...»

— Бологов кто был, генерал? — поинтересовался Андрей.

— Не-ет. Какой генерал — есаул казачий.

— Ну, и что с ним потом?

— А вот, слушайте. Сделали казаки между двух коней носилки и повезли своего есаула дальше, в Минусинск. Осталось человек сорок. Чего-то ждут. Я спрашиваю одного: — Чего ждёте, нового начальника? «Подкрепление, говорит, придёт, опять в наступление пойдём».

— Оружие-то у них было?

— Как же! Всё как полагается: винтовки, шашки...

— Значит, эти в белоцарском бою не участвовали?

— Участвовали. Только они вперёд всех успели на лодках переправиться, когда партизаны прижали их вплоть к Енисею. И Бологов с ними.

Евдоким Иванович поднялся, зачерпнул ковшом воды из кадки и вылив его до дна, протяжно крикнул.

— Дня через три стало подходить и подкрепление. Сначала пришло с сотню пехотинцев. Издали похожи на солдат, подошли — гляжу, а они не солдаты, а ребяташки малые: лет по шестнадцати, по семнадцати. Ну, думаю, привалило вам, казачки, «подкрепление»! А казаки сами смеются над «пехотинцами»: «Соски не забыли взять?»

— Где же набрали их? — спросил Андрей.

— В Минусинске. Собрали человек пятьсот, мало-мало погоняли по площади с винтовками и — сюда. Меньше полотины дошло до «Сто двадцать шестой». Остальные, кто потрусливее, кто поумнее — в сторону, в тайгу...

— Ловили их?

— Ловили! Да что толку, — они опять, как тараканы, расползались кто куда.

— Они что же, в форме, в шинелях?

— Ну, какая там форма! Кто в чём дома ходил, в том и воевать послали. Больше ученики были да купеческие сынки. Следом за первыми ещё пришло сколько-то. Потом начальство на тарантасах приехало: офицеры два, да прапорщик. Один офицер молодой, видный такой, а другой старик — на татарина похож. Фамилию даже запомнил: Чакиров. Говорят, раньше он пограничным начальником в Усинском крае служил. Построили «подкрепление», вышел из тарантаса молодой офицер и говорит: «Господа реалисты! Вам вручила Родина боевые винтовки. Вы должны с честью оправдать доверие...» Много он что-то говорил, не упомнишь, конечно. А парнишки стоят, переглядываются... Им бы в мячики играть, а тут — война...

Мы засмеялись. Евдоким Иванович недоумённо посмотрел на нас и говорит:

— Теперь, издали, смешно кажется, а в то время мне на них смотреть тошно было, жалко... Казачья разведка захватила тувинца и русского мужика на перевозе. Пригнали их со связанными руками, плетями погоняли... Офицер говорит реалистам: «Вот вам для практики: расстреляйте этих шпионов!» Отрядили несколько парнишек и повёл их казак в лес учить, как надо расстреливать людей... А после один из них в падучей бился...

— Почему же партизаны не наступали? Стоило им только показаться, и все эти вояки упоролы бы... — сказал, пожимая плечами, Андрей.

— Слушай дальше. Народу набралось на станции полно. Казаков, которые побежали в Григорьевку, назад вернули. Обули, одели их, только коней не дали. Молокососов тоже человек двести. Офицеров десятка два. Послали в ночь на воскресенье отряд человек в шестьдесят к перевозам. Вот там их и встретили партизаны! Утром пошёл я на реку за

водой. Слышу, где-то далеко-далеко, будто кто камни с горы спускает, часто так постукивает... Прислушался: а это залпами стрельба. Ну, думаю, началось опять. Смотрю на дорогу: скачут десятка два казаков. Подбегают. Кони в мыле, шатаются от усталости. У одного казака голова повязана, а сквозь повязку кровь сочится. Стал он с коня слезать, упал и не поднимается. Подхватили его было под руки, а он уже не живой. За этим следом ещё прискакало несколько верховых. Суматоха поднялась, крик, гам. Стали пехотинцы строиться и вышла какая-то заминка. Казачий офицер подбежал к одному парнишке, развернулся, да как даст ему по уху! Тот, бедняга, с копылков долой... Тут другой парнишка вскинул винтовку и — в офицера... Не успел выстрелить: отобрали винтовку.

— Жаль. А надо было пристрелить! — вставил реплику Андрей.

— Хотели схватить того храбреца казаки, а его окружили пехотинцы и не дают. Быть бы тут кровопролитию, да в то время кто-то закричал: «Красные!» Поднялась такая паника, что не приведи бог! Через пять минут всех беляков, как корова слизнула.

— Что, действительно, партизаны наступали?

— Почудились они кому-то, или кто догадался драку упредить. Красная разведка ночью пришла. Описал я им всё про всё: сколько казаков, сколько мелюзги пехотинцев, какое оружие, кто начальники. В общем полный учёт сделал...

Евдоким Иванович взглянул в окно и спросил:

— Это не ваша машина ездит, фарами шарит? Вы посидите, я выйду, махну шофёру, чтоб подъехал.

Через минуту он вернулся, и сообщил:

— Точно. Ваша.

Андрей нетерпеливо ждавший продолжения рассказа, спросил:

— Ну, а дальше что было?

— Дальше? Дальше — всё. Больше белых не видел. Вскоре пошли партизаны обратно из Тувы, разбили бслогвардейский сброд под Минусинском и заняли город.

Вошёл наш шофёр. Попросил напиток.

— Может, чайку подогреть? — предложил хозяин.

— Спасибо. Я всухомяточку закусил, а теперь водички попью, и дальше. — Ну, что, поехали? — обратился он к нам.

Мы стали прощаться. Андрей вдруг спросил Евдокима Ивановича:

— Скажите, вам не приходилось встречать среди партизан человека по фамилии Никаноров?

Евдоким Иванович подумал и, виновато улыбнувшись, ответил:

— Н-нет, не помню такого. А что, родственник или знакомый ваш?

— Отец. Сам-то я его не помню, — в то время мне с полгода было. Мать рассказывала, в разведке его белые захватили... Замучили, говорит...

— Да, вишь, какое дело... Не слыхал, не слыхал такого. Конечно, столько годов прошло! Может, и приходилось встречать, да ведь не упомянешь, — сожалеюще, как бы оправдываясь говорил Евдоким Иванович, провожая нас до машины. — Ну, бывайте здоровы! Заезжайте, как будет путь. Милости просим!

Машина плавно неслась, чуть шипя, по асфальту. Взошла луна. Встречные машины пролетали метсорами, оставляя голубые хвосты. Дорога стала казаться белой, а лес, стоявший стеной по обе стороны шоссе, приобрёл сказочный вид. В лунном свете искрились концы веток и верхушки кедров и елей, чёрные тени глубокими провалами уходили в гущу тайги.

Андрей неотрывно смотрел в окно. Может, он думал о своём отце, которого он никогда не видел, который погиб где-то здесь, на этой самой дороге...

Андрей обернулся ко мне и мечтательно сказал:

— Почему-то хочется увидеть какие-нибудь признаки, памятники прошлых событий... Но ничего нет. Никаких примет не осталось. Зелёный лес да утёсы остались прежними. Молчат, не расспросишь ведь их... Время, подобно бурной реке летит через все преграды, смывает на своём пути всё старое и вскрывает новые пласты, новые породы... Вы не спите?

— Нет, нет! Я слушаю.

— Из многих тысяч людей, проезжающих по Усинскому тракту, лишь единицы знают его историю или краем уха слышали о ней. Кончится завтра жизнь таких стариков, как Евдоким Иванович, и исчезнут последние следы живой памяти о событиях, свидетелями которых они были.

— Двенадцатый! — неожиданно громко крикнул шофёр.

— Что двенадцатый? — сердито спросил я, недовольный, что так некстати прервали нашу беседу.

— Бензовоз. Я извиняюсь, кажется, напугал вас? Это я считаю, сколько их встретится в среднем на десять километров. Вот на этом участке рекорд: двенадцать бензовозов навстречу прошло. Это порожняк: летят как черти! Интересно подсчитать бы, сколько в сутки горючего и смазочного привозят в Туву.

— Кто о чём, а шофёр, конечно, о горючем, — заметил Андрей.

Впереди засверкали огни посёлка. Мы подъезжали к следующей станции.

3. БОЙ НА ПЕРЕВОЗЕ

Возле второго моста решили сделать остановку — поудить. Хариус здесь крупный, тёмный — граммов по шестьсот-семьсот. Рано утром хорошо ловится на мошку, особенно если спрятаться в тени мостовых опор, чтобы рыба тебя не видела...

Долина реки Уса здесь очень живописна. Кругом высокие горы, покрытые дремучей тайгой. А лес тут всех пород Средней Сибири: кедр, ель, берёза, осина и другие хвойные и лиственные породы. На правой стороне реки высятся утёсы с отвесным обрывом в реку. Тайга подошла к самому обрыву утёса, отдельные деревья по глубоким трещинам спускаются к реке.

С этим утёсом связан один из эпизодов гражданской войны: здесь произошёл бой Партизанской Красной армии с белыми, пытавшимися преградить путь партизанам в Туву. Рассказал мне об этом участник того боя Николай Стрельников, поныне здравствующий в Красноярске.

Дело было так.

Партизанам надо было переправить через Саяны в первую очередь обозы, раненых и больных. Белогвардейские отряды не давали покоя, стремясь перехватить, окружить и уничтожить партизанские полки, которые вели с ними оборонительные бои от самого Степного Баджея. Чтобы отвлечь главные силы белых от Усинского тракта, было решено демонстрировать наступление на Минусинск.

Маневр удался. Пока белогвардейцы разгадывали план партизанского штаба, обозы партизан прорвались на Усинскую дорогу и вошли в таёжную зону.

Бесконечной живой цепью людей, коней и телег, с грохотом и шумом, с криками и стонами, текли красные обозы по разбитому шоссе через Саянские горы, через высочайшие перевалы, реки и болота.

Два года оставалась дорога без ремонта. После ухода каторжан ни один человек не приложил там своей руки, не было насыпано ни одной лопаты гравия на дорожное полотно... Размытое дождями, разбитое колёсами, оно разъедалось грязью, и ямы, точно незаживающие язвы, зияли на каждом шагу.

Во многих местах дорога была не достроена. Обозам приходилось обходить по временкам, по непролазной грязи, под которой скрывались корни деревьев и острые камни. Десятки сломанных телег валялись на обочинах дороги, лошади гибли в пропастях временок.

Раненых везли на рыдванах, в фургонах, простых дрогах на подстилках из травы, мха, веток. Большинство из них по-

лучило ранение под Степным Баджеем и в других местах, где партизаны насмерть вели бои с врагами народа. Стоны тяжело раненых, плач измученных голодных детей и женщин, разноголосый скрип обоза — всё смешалось в один сплошной гул... А позади, то ближе, то дальше, не умолкали залпы и треск пулемётов.

Чтобы задержать наступающих по пятам белых, партизаны сжигали за собой мосты через реки и речки. Патронов не хватало. Собирали всё что было — у кого один, у кого два патрона, отдавали бойцам, прикрывавшим отступление армии.

Обозы шли день и ночь, останавливаясь лишь на короткое время, чтобы покормить лошадей, сварить скудную еду... Кедровый дым от костров застилал мутным молочным туманом таёжные пади. Ночами над горами стояло зловещее зарево. Горели мосты. Горела тайга, занявшаяся от непотушенных костров.

Белые стремились спасти горевшие мосты. Сохранность их обеспечивала успех преследования партизанской армии. Они бросали вслед красным мелкие отряды для тушения и восстановления мостов.

А обозы шли и шли. Почти непрерывно шёл дождь. Накрывать раненых и больных было нечем. Лошади ломали копыта о камни, распарывали животы корягами — корнями. Ломались колёса, выворачивались спицы из треснувших ступиц, и телеги валились на бок. Выпавших раненых поднимали, снова клали на другие телеги и, не останавливаясь, шли вперёд.

А что впереди? Никто не знал. Вела людей одна мечта. Мечта о хлебе, о медикаментах, о жилых домах, где можно дать покой измученным больным. Но самой большой мечтой было передохнуть, набраться сил, запастись боеприпасами, развернуть работу патронных мастерских и опять идти громить белогвардейские банды, пускать ихние поезда под откосы, не давать врагам народа ни минуты покоя!

Наконец, пройдены тяжёлые перевалы Кулумыс, Ойских и Буйбинских хребтов. Прогромыхали тысячью колёс обозы по буйбинским мостам и из-за серых гарей показалась порожистая река Ус. Набухла река от дождей, мутные воды с шумом катят по дну щебень, гальку. Шиверы и пороги кипят белой пеной.

От устья Буйбы, где дорога идёт по долине Уса, путь был так же нелёгок, как и в горах. Но люди вздохнули с облегчением, знали, что где-то впереди есть село Усинское, а дальше — город Красный.

Вот уже и первый перевоз через Ус. Стальной канат ухватился за оба берега реки, натянулся и глухо, враждебно гу-

дит... Паром на той стороне. Притаилась за высоким бурьяном изба паромщика, окна без стёкол чернеют, как глазницы в черепае...

Кричали долго, настойчиво... Никто не ответил. Трое верховых пришпорили лошадей и бросились вплавь через реку. Одного коня перевернуло. Остальные благополучно добрались до берега. Вскоре, повизгивая роликами, паром поцёсся на эту сторону.

Только четыре подводы помещалось на пароме. Кто-то сказал:

— Сколько же времени придётся переправляться!

Другой ответил:

— Сколько бы ни пришлось. Переплывать реку надо? Надо. Чего же рассуждать? Тащи свою телегу на паром.

Не успели переправить и двух десятков подвод—прибежал нарочный с приказом немедленно прекратить переправу.

Оказалось, на следующем пароме обнаружена засада белых.

От Баджея до Григорьевки встретилось немало засад и других препятствий на пути партизан. Все они преодолены—«сняты» или «выбиты». Обозы уходили где-нибудь стороной. Здесь же обойти засаду негде: речная долина так надёжно обставлена горами, что ни вправо, ни влево не обойдёшь перевоза. Можно идти только прямо, только вперёд!

Переправу на первом пароме прекратили потому, что обозы могли оказаться в мешке между двумя переправами. Одна за другой замирали телеги на месте, упираясь оглоблями в задок передних. Лошадей распрягали и пускали на корм: надо пользоваться малейшей остановкой, чтобы покормить истощённых донельзя животных.

А те двадцать подвод, что переправились, оставив раненых, пошли ко второму перевозу—под огонь пулемётов засевшего врага...

Вот он, второй перевоз! Паром стоит на этой стороне. Можно въезжать и отчаливать. А на той стороне утёс заросшим боком упёрся почти в самые припаромки. На виду утёса обозники распрягли лошадей и пустили их на траву, а сами развели костёр, чай варят... Они не смотрят на ту сторону, но всем существом своим, почти физически, ощущают направленные на них дула винтовок и пулемётов засевшего врага. Сто метров расстояния да река отделяют белых и красных друг от друга...

А повыше, в кустах ольхи, тальника и малины, неподвижно лежат два партизана как раз напротив самой высокой точки утёса. Партизаны с ночи здесь. Кое-что они уже засекли: вон там, за острым выступом скалы спрятан пулемёт, пониже, в щели—другой. Казаки не очень маскировались.

Нет-нет да кто-нибудь высунется из багульника, обильно растущего на вершине утёса. Один раз даже ругань подняли—чего-то не поделили...

Солнце давно перевалило за полуденную грань и золотыми лучами разрисовывало верхушки деревьев на окрестных горах. Ночь пришла с ураганным ветром, слетевшим с гольцов Араданского хребта. Запумела тайга, закачались со скрипом и стоном островежные ели, кряжистые кедровые. Темнота непроглядная окутала всё кругом: лес, паром, утёс и партизанскую ночёвку у парома. Только река светилась странным фосфорическим переливчатым светом.

В это время по целинной тайге осторожно пробирался в тыл белой засаде партизанский отряд. Крюк пришлось сделать большой, по горам, по лесным трупам и болотам. Перед рассветом отряд подошёл вплотную к паромным постройкам и полукольцом отрезал белым отступление...

Чуть начало светать, обозники, не торонясь, стали запрягать лошадей. Делали это не таясь, будто не подозревали о засаде... Небо на востоке светлело, резко выступили очертания гребня утёса. На белом полотне реки чётко рисовался паром.

Четыре подводы разместились на пароме. Четверо людей добровольно пошли под пули врага. Тихо попрощались с теми, что остались на берегу:

— Ну, прощайте, ребята! Что будет, то будет... Едем!

Паром отчалил, повернул носом наискось течения, зашумел, забуровил воду. Переплыли благополучно. Застукали колёса по доскам припаромка, скрипнули гужи от натуги и тяжёлые воза медленно поползли на отлогий яр берега... Паром не задерживался, тотчас же вернулся обратно и так же благополучно переправилась очередная четвёрка подвод. Поплыли в третий раз. Паром был на середине реки. Одиноким выстрел заставил вздрогнуть людей, хотя они и ждали его. Тотчас же рявкнул и затрещал пулемёт. Один за другим загремели ружейные залпы.

На пароме поднялась паника, две лошади упали и барахтались в оглоблях, стараясь подняться, они снова падали... Паром повернул обратно. С этого берега обозники и обозная охрана открыли стрельбу по утёсу.

Положение переправившихся на ту сторону было тяжёлым. Обозники бросились под яр берега. Но сверху их осыпали градом пуль. Уже были убитые и раненые. Ещё минута—и никто из них не останется в живых. Но внезапно раздалось за утёсом многоголосое «Ура!»—протяжное, усиленное в сто раз эхом тайги и скал, оно прेमело, переливалось и щемящей радостью отзывалось в сердцах сотен людей, ожидавших этого грозного момента.

На минуту замер утёс, замолкли пулемёты и винтовки. Тишина мгновенная, полная растерянности и страха, превалась густыми пулемётными очередями, беспорядочной стрельбой винтовок, грохотом ручных гранат...

Потом всё стихло. Издали слышались крики, стоны, всплески воды под утёсом и отдельные хлопки выстрелов.

Окружённые и припёртые к самому краю обрыва, казаки и белые дружинники бросались в реку, разбивались об острые камни и тонули. Только немногие уцелели из двухсот человек, находившихся в засаде. Партизаны потеряли несколько человек убитыми и ранеными.

Дальше Партизанская армия уже не встречала препятствий на своём пути. Пройдя тайгу, люди свободно вздохнули. После дождливых дней, полных боевых тревог, лишений и голода, тувинские степи показались обетованным краем.

А в это время остатки разбитого на перевозе отряда белых подъезжали к Белоцарску. Они везли для царских чиновников паническую весть: заслон разбит, отряд белых уничтожен. Путь для красных свободен... Спасайся, кто как может!

4. МАНЧИ-СЮРЕН¹

Никто не знал, откуда он появился, пришёл ли из посёлка или отстал от каравана, проходившего поздно вечером мимо фактории. Перед утром, когда одна за другой погасают звёзды, сторож Чимит зашёл в сторожку погреться. Не зажигая огня, поставил в угол винтовку и, сбросив на лавку затвердевшие от мороза рукавицы, стал шуровать клюкой в железной печке.

До конца дежурства оставалось не больше получаса. Растопив печь, Чимит сел на лавку и не спеша набил трубку мягкой китайской дюзной. Смолистые лиственничные дрова с весёлым треском раскаляли тонкое железо печки, разбрасывая по стенам сторожки пляшущие блики и стреляя сквозь щели дверки золотистыми искрами.

За окном синел рассвет. Где-то стукнуло. Через минуту послышалось ритмичное шарканье метлы.

«Агван пришёл, двор подметает»,—подумал Чимит.

Выколотив из трубки остро пахнущие остатки, он протёр рукавом заиндевевшее окно.

— Вот те на! Кто это?—удивлённо произнёс он, прильнув к стеклу.

По двору ходил высокий человек, мерно размахивал метлой и старательно сметал в кучи снег и мусор. Длинная

¹ Здесь рассказывается об одном эпизоде, имевшем место во время байско-кулацкого восстания на Хемчике и Чадане в 1924 году.

грязно-серая шуба была обшита по подолу жёлтой каймой, воротник и верх лисьей шапки имели ту же оторочку. По одежде видно нездешнего человека.

Взяв винтовку и рукавицы, Чимит поспешно вышел.

— Здравствуй! — сказал он, подходя и оглядывая с ног до головы незнакомца. — Ты кто будешь и откуда?

Человек перестал мести, посмотрел на сторожа и, зажав подмышкой метлу, стал дуть на озябшие пальцы.

— Чего молчишь, оглох, что ли?

— Мэдэхүгэ, — простуженным голосом произнёс незнакомец, продолжая отогревать руки.

— Монгол? — догадался Чимит.

— Моол, моол, — закивал тот.

— Откуда же ты взялся? Кто тебя сюда послал?

В ответ монгол только потряс головой и виновато развёл руками, — дескать, ничего не понимаю.

Скрипнула дверь. На крыльцо вышел заведующий факторией Никишин.

— Иван Степанович! — позвал его сторож. — Иди-ка сюда, посмотри, что за гость у нас появился. Может, ты его нанял?

— Впервые вижу, — сказал Никишин, подходя и рассматривая рослую фигуру незнакомца. — Кто такой, как он попал сюда?

— И я не знаю, как он попал к нам. Надо Агвана подождать, может, тот его за себя послал. Да вот и он идёт.

В ворота вошёл юркий, подвижный человек в короткой шубе с выдровыми ушками и остроконечной шапке старого покроя. Он оглядел чисто подметённый двор и, подойдя к Никишину, произнёс с обидой:

— Почему так? Зачем, Иван Степанович, другой человек нанял? Разве я плохо работал?

— Чего ты мелешь? — спокойно остановил его Никишин. — Никого я не нанимал. Ты лучше расспроси вот этого человека, зачем он к нам пришёл.

Явно обрадованный словами Никишина, Агван заговорил с монголом. Он хорошо знал язык этого народа и часто служил переводчиком при торговых операциях с купцами из Монголии.

Незванный гость что-то горячо объяснял, размахивал руками и вскоре так вспотел, что сдёрнул с себя лисий треух. Голова у него оказалась стриженной наголо.

— О чём он толкует? — спросил Никишин.

— Говорит, пришёл из Кандан хуре. Это далеко очень. Просит дать ему какую-нибудь работу. Говорит, у него не на что купить даже чашки тары. А я так думаю: или он вор или разбойник, сбежал от наказания. Опасный человек.

Монгол с беспокойством поглядывал то на Никишина, то

на Агвана, стараясь, видимо, угадать, как они отнесутся к его просьбе.

Никишин посмотрел на него внимательно и, повернувшись к Агвану, негромко сказал:

— Плохой он или хороший, это мы узнаем потом, а теперь надо покормить его, человек-то ведь голоден.—Пойдём, друг, чай пить,— обратился он к монголу, тронув его за рукав.

Квартира Никишина находилась рядом с конторой. В те времена постройки на факториях были случайными. И конторы, и квартиры помещались то в небольших крестьянских избёнках, то в утеплённых соломой старых ламских амбарушках. Но что это были за постройки! Выглядели они, примерно, так: небольшая избушка, сложенная из свилеватых неровных тополевых бревёшек, без крыши, без окон, без сени, и с такими щелями между брёвён, что в них свободно могут пролетать воробьи...

Среди коренного населения плотники встречались редко. Их ремесло не пользовалось спросом: кочевая жизнь народа не требовала капитальных построек. Только богатые баи иногда ставили себе бревенчатые дома и амбары, да ламы сооружали небольшие кельи.

Когда Иван Степанович полгода тому назад принял факторию, он пришёл в отчаяние, глянув на «контору»—небелёную избу, холодную, неудобную. Пришлось потратить много труда, прежде чем удалось привести помещение в относительный порядок. К зиме, когда приехала семья, он успел сделать пристройку, в которой и живёт теперь.

— Вот, Аня, привёл тебе гостя из Монголии. Принимай и накорми, пожалуйста.

Монгол долго топтался у порога, не решаясь сесть на предложенный ему стул.

— Садись, да садись же!—уговаривала его Анна Сергеевна, нарезая на тарелку пшеничный хлеб и с жалостью поглядывая на смущённого гостя.

Монгол ел медленно, не торопясь, как будто он и не был голодным. Вскоре он отодвинул еду и, выйдя из-за стола, собрался уходить. Хозяйка всполошилась:

— Кушай, кушай!—Чего же ты встал?

Он сказал что-то по-монгольски и приложил ладони ко лбу. В это время вошёл Агван.

— Что с ним? — обратилась к нему Анна Сергеевна. — Почему не стал есть?

— Он благодарит вас и говорит, что больше не может кушать, оттого, что ещё совсем мало заработал..

— Вот чудак. Скажи ему, пускай досыта кушает, ведь он голоден.

Но монгол уже выходил из избы.

Анна Сергеевна была искренне огорчена. Она привыкла провожать гостей сытыми, довольными. В условиях оторванности от населённых мест на факториях сложился обычай кормить каждого проезжего человека. Радужное гостеприимство привлекало сдатчиков сырья и покупателей и способствовало популярности кооперативной торговли. Ночь—в полночь приходят караваны с пушиной, обозы с мукой и товарами. Люди устали, их надо накормить, обогреть, дать возможность отдохнуть. Трудно это бывает для хозяйки, днём ведь она тоже не сидит сложа руки. Зато проезжий человек надолго сохранит в благодарной памяти её заботу и доброту.

Иван Степанович и Калзан—его помощник—рассматривали в конторе партию лисиц, купленных у богатого тувинца-скупщика. Вошёл Агван, присел на корточки у печки и закурил.

— Ты чего? — спросил Никишин.

— Я? Ничего. Монгол опять спрашивал — какую дадите работу.

Иван Степанович подумал и, обращаясь к Калзану, предложил:

— Давай поручим ему ходить за верблюдами. Как ты думаешь, справится он с ними?

— По-моему, можно. Монголы привычны к этому делу. Там у них верблюдов много.

— А если он удерёт да и верблюдов наших прихватит с собой?

— Ку-уда он к лешему удерёт! Если кормить хорошо, то и палкой не отгонишь,—засмеялся Калзан.

— Договорись с ним, пускай пасёт. Надо поправлять верблюдов. А ты что на это скажешь, Агван?

— Моё дело маленькое... Ты начальник, наверное, лучше знаешь. Только я так думаю: опасный он человек, бродяжка.

Агвану под пятьдесят. На фактории его считают полезным человеком. Это хороший агент по заготовкам, знает, где, когда встретить охотников и закупить у них пушнину, знает наперечёт все зимники, все летники. В свободное от разъездов время он работает на фактории, выполняя, что заставят. Один у него был крупный недостаток: подозрительно и ревниво относился ко всем новым работникам фактории.

— У тебя все воры да бродяги, Агван, — укорил его Никишин и добавил: — Сходи позови сюда монгола, надо поговорить.

Сильно наклонившись в дверях, вошёл монгол. Его шапка почти касалась потолка, и хотя он скромно присел у стены, всё же от его мощной фигуры в конторе стало теснее.

— Ого! Этот дядя сумеет постоять за себя, — сказал Калзан.

— Как его зовут? — обратился он к Агвану.

— Его имя Манчи-Сюрен. Так он мне сказал.

— Да он, оказывается, ещё совсем молодой! — удивлённо воскликнул Никишин. — Сколько ему лет?

Монголу оказалось только двадцать пять лет. Грубый загар, обмороженные щёки и припухшие веки старили его вдвое. Из дальнейшего разговора выяснилось, что Манчи-Сюрен с детства работал прислужником в ламском монастыре. На вопрос — почему сбежал оттуда он ответил не сразу, замаялся и, потупившись, негромко сказал:

— Плохо стало жить. Старшие ламы обижать начали... Я слышал, здесь людей не наказывают палками и розгами, не сажают на цепи...

— А тебя сажали? — спросил Калзан.

Монгол сильно покраснел и тихо ответил:

— Два месяца сидел на цепи...

— А за что?

Манчи-Сюрен промолчал.

Прошло полгода. Кооперативная торговля продолжала развиваться. За это время были открыты в разных сумонах новые торговые точки — так называемые «палатки», через которые поступало сырьё, пушнина, скот и прочее от населения. Денег не существовало. В обмен на продукты своего хозяйства араты получали товары: чай, табак, мануфактуру, скобяные изделия. «Палаткой» чаще всего служила обыкновенная юрта, иногда это была действительно брезентовая палатка. В некоторых сумонах от юрты к юрте, от одного стойбища к другому кочевали на вьючных быках или лошадях агенты по закупке сырья, скота, пушнины.

Фактория имела десяток верблюдов, служивших наиболее надёжным транспортом для перевозки грузов. Гужевого транспорт из-за плохих дорог, а то и полного бездорожья, использовался мало.

Водитель верблюжьего каравана Аир, которому дали в помощники Манчи-Сюрена, не пахвалится им. Он силён, ловок и никакая работа и невзгоды ему не страшны. Оказался он и большим любителем верблюдов. Однажды Аир заболел. Заменить его мог только Манчи-Сюрен. Решили отправить с караваном его одного. Через десять дней караван вернулся с товаром с главной базы, куда он доставил шерсть и овчины. А принимавший от Манчи-Сюрена товар Калзан особенно тщательно проверял накладные и наличие товара во вьюках. Всё оказалось в порядке: ни одной пачки табаку, ни одной коробки спичек не было потеряно в пути.

Манчи-Сюрену выделили пять верблюдов, и он сделался самостоятельным водителем. Ему стали доверять ценные грузы. Во всей фактории только один Агван упрямо не хотел признавать монгола. Каждый раз, когда Манчи-Сюрен отпра-

лялся в дорогу, Агван провожал его косым взглядом, означавшим крайнюю степень недоверия.

А монгол ходил и ходил со своими пятью верблюдами. Ходил в любую погоду: в мороз, в жару, в дождь, в распутицу. Никогда ни на что не жаловался, ничего не требовал. Если дорогой застанет ливень—Манчи-Сюрен вымокнет сам до нитки, но товар будет сухим, если дорога трудная—у него хватит терпения давать частый отдых животным и прийти к месту, не измотав их.

Но вскоре произошло событие, показавшее такие черты в характере Манчи-Сюрена, о которых никто на фактории и не подозревал...

Ежегодно поздней осенью и зимой факторию посещали монгольские торговые люди. Иногда это были богатые баи, привозившие продукты скотоводческого хозяйства, иногда—ламы-перекупщики, занимавшиеся скупкой сырья у монгольских аратов. Большие караваны верблюдов везли кожи, овчины, волос, шерсть. Нередко в Туве можно было увидеть своеобразный гужевой транспорт монголов: двухколёсные таратайки, которые тащили быки и хайнаки. Колёса таратаек вращались вместе с осью и при движении издавали далеко слышимый скрип.

В этом году первый монгольский караван пришёл в конце ноября. В полукилометре от фактории, на опушке тополевого леса, монголы раскинули свой лагерь. Два дня, соблюдая торговый этикет, они не отлучались от своих палаток, ожидая покупателей.

Хозяин каравана Цевен, коренастый монгол средних лет, был здесь не впервые. Раньше он вёл торговые дела с китайскими купцами, имевшими широко разветвлённую сеть своих отделений по всей Туве. Теперь, когда китайская торговля падала, он стал посещать кооперативные фактории, стараясь завязать с ними прочные связи.

В богатой шёлковой шубе, в сопровождении других монголов, Цевен пришёл в факторию с визитом.

Их угостили, как положено: чаем, китайским сахаром, леденцом, вареной бараниной, русским печёным хлебом. Гости провели на склад, показали товары. А на следующий день состоялась сделка. Монголы сдали сырьё и получили взамен необходимые им товары. Оставалось подписать акт.

Никишин пригласил Цевена и трёх его компаньонов в контору, где для них было приготовлено угощение. Таков был обычай.

Всё шло хорошо. Монголы были довольны сделкой, угощением и хозяевами. Разговоры шли на тувинском языке, которым неплохо владел Цевен, но который плохо давался Никишину. Переводчиком был Калзан.

В это время Манчи-Сюрен привёл караван с мерлушками из глубинного пункта. Никишин велел позвать его. Он хотел доставить удовольствие ему встречей с соотечественниками.

Манчи-Сюрен вошёл и, как всегда, скромно присел у стены, вынул трубку и стал закуривать.

— Как дела, Манчи-Сюрен? — спросил Никишин. Что нового привёз?

Сидевший у стола Цевен быстро взглянул на Манчи-Сюрена и что-то сказал своим товарищам.

Манчи-Сюрен неожиданно вскочил и, отбросив трубку, двинулся к Цевену. Он был бледен, расширенные глаза горели невыразимой злобой. В этот момент он походил на большого разъяренного зверя, готового растерзать свою жертву на части...

— Це-евен-Доржу! — выговорил он тихо, но полным ненависти голосом, — Це-евен-Доржу-у! — ещё раз повторил он и вдруг бросился на монгола, схватил его, поднял кверху, и молниеносно развернувшись, изо всей силы швырнул в дверь. Отчего та распахнулась настежь и Цевен, точно мешок с мукой, грохнулся на крыльцо.

Один из спутников Цевена кинулся к нему, поднимать, а двое других набросились на Манчи-Сюрена, пытаясь повалить наземь. Но тот выволок их на себе, как вцепившихся собак, на двор и ловким приёмом сбросил с себя... Один упал на снег, другой, согнувшись, зажал руками живот, громко застонал.

Манчи-Сюрен, не оглядываясь, прошёл через двор и скрылся в сторожке.

Всё произошло так неожиданно, что ни Калзан, ни Иван Степанович не успели ничего предпринять для защиты своего торгового гостя. Опомнившись, они помогли стонавшему Цевену подняться, привели и усадили на стул. Прибежала Анна Сергеевна с какими-то каплями и заставила Цевена выпить.

Не переставая стонать, он тёр багровую шишку, всплывшую над правым глазом. Потом разразился свирепыми ругательствами...

Вскоре монголы, не прощаясь, ушли.

Никишин пошёл в сторожку. Манчи-Сюрен сидел у печки и дымил трубкой. Увидев Никишина, он страшно смутился и вскочил, точно от удара.

— Вот уж никак не ожидал от тебя таких фокусов, — укоризненно говорил Иван Степанович. — Никогда не поверил бы, что ты такой драчун... Ты что, раньше знал Цевена?

За полтора года, прожитые на фактории, Манчи-Сюрен научился немного говорить по-русски, но сейчас всё забыл, ничего не понял из слов Никишина и только виновато повторял: Мэдэхүгэ...

— Вот тебе и «метухэ»,—с досадой передразнил его Иван Степанович.—Натворил дел, а теперь — «метухэ»...

Вечером Калзан пришёл к Никишиным. За чаем, естественно, разговор зашёл о событиях дня.

— Придётся, наверно, расстаться нам с монголом. С его характером и такими выходками наживём беды,—говорил Иван Степанович.

— Жалко,—сказал Калзан.—Парень он неплохой. А с Цевеном у них какие-то старые счёты... Потом, Иван Степанович, едва ли мы скоро найдём такого хорошего рабочего к верблюдам. Сам знаешь, это он выправил наших верблюдов,—что твои звери стали... Мне думается, не стоит его увольнять. А насчёт его выходки надо разузнать, поговорить с ним.

— Так-то так, а осложнений из-за него может быть много. Ты понимаешь, чем это пахнет: монгол пойдёт завтра в хошунное управление, нажалуется... Могут быть неприятности по службе, да и на доброй репутации фактории может отозваться. Баи да и бывшие всякие там чанги, да хелины ждут не дождутся случая вставить палки в колёса кооперации... Мы всерьёз им — кость поперёк горла.

Насчёт чиновников и баев Калзан знал много больше того, что было известно заведующему факторией. За последнее время он стал замечать чью-то вредительскую волю, мешавшую работе заготовителей в глубинках. В самое горячее время сбора сырья у агентов пропадали лошади, на которых они разъезжают по зимникам, кто-то пустит слух о высоких ценах, по которым будто бы скупают сырьё китайцы; откуда-то появятся в народе сведения, будто фактория теперь ничего, кроме пушнины, не принимает... Баи стараются не допустить аратов до фактории, скупают у них сырьё, всучивая по высоким ценам товар, купленный в той же фактории.

Наутро в контору зашёл Агван и сообщил:

— Монгольские купцы домой поехали.

-- Откуда ты знаешь, что домой?—осведомился Никишин.

— Я сам был у них. Сейчас оттуда.

У Никишина отлегло от сердца: значит, Цевен не поехал в хошун жаловаться.

По двору, мимо окна, проходил Калзан. Никишин позвал его. Калзан вошёл.

— Уехали, говорят, наши гости. Слыхал?

— Что так скоропалительно?

— А вот спроси у Агвана, он был у них.

— Насчёт Манчи-Сюрена неплохо говорили,—продолжал Агван.—Цевен сказал: самый последний человек Манчи-Сюрена. Он сидел на цепи, как собака... Большой лама проходил мимо этого отщепенца и плюнул на него. Потом, когда этого

злодея расковали, он пришёл на монастырский двор, схватил ламу и ударил головой о каменные плиты храма, а сам убежал.

— Вот это да-а! -- восхищённо воскликнул Калзан. — Молодец, парень.

Не обращая внимания на реплику Калзана, Агван продолжал:

— Теперь, говорит купец, кто кормит этого беглого человека, тот должен отвечать за него...

— Ну, нас пускай не пугает, мы не в хуре живём и не на байской земле, -- заметил Никишин.

Во время разговора вошёл Манчи-Сюрен. Калзан прямо задал вопрос:

— Слушай, Манчи-Сюрен, скажи откровенно, за что ты отлупил купца? Цевен говорит, что ты самый плохой человек, что тебя надо опять заковать в колодки.

Манчи-Сюрен вскипел, сдёрнул с себя шубу и, завернув на спине рубаху, почти крикнул:

— Смотри! Все смотри! Цевен-Доржу до смерти меня бил... На цепь ковал... Другой человек меня спасил...

Вся спина монгола представляла сплошное бугристое поле с изуродованной кожей. То белые, то красные рубцы рассекали её вдоль и поперёк...

С этого дня никто уже не говорил в присутствии Манчи-Сюрена о купце Цевене.

В середине марта прискакал нарочный с письмом из главной конторы. В нём Никишину предлагалось усилить торговые операции на Хемчике, послать туда необходимые товары и укрепить палатки опытными заготовителями.

-- Придётся тебе, Калзан, месяца на два поехать на Хемчик, — дочитав письмо, сказал Иван Степанович, обращаясь к своему помощнику. -- Возьмёшь Манчи-Сюрена, отберёшь какой надо товар. Там подыщешь людей для палаток. Как ты на это смотришь?

А мне всё равно, Иван Степанович, куда бы ни ехать, лишь бы на месте не сидеть, — засмеялся в ответ Калзан.

Никишин давно мечтал о широкой торговой сети на Хемчике. Район обширный, богатый скотом и продуктами животноводства. Судя по рассказам агентов, там имелись большие возможности для развития кооперативной торговли. Было известно, что в дореволюционные годы русские купцы на Хемчике заготавливали тысячи пудов сырья, выгоняли оттуда сотни гуртов скота. Одной степной куропатки закунали по триста тысяч пар!

На сборы ушло три дня. На четвёртый, хотя и с большим запозданием, всё же нагрузили верблюдов, и караван тронулся в путь.

До Чаа-Холя дорога путалась в зарослях карагана, то избегая на горки, то исчезая в рытвинах старых оросительных канав. Собственно, дороги не существовало, была плохо проторённая тропа. Не зная местности, можно блудить без конца: вправо и влево на каждом километре в сторону уходили такие же тропы, — в горы, в ущелья, где хоронятся от ветров и морозов аратские зимники.

Мартовское солнце уже кое-где оголило землю: то тут, то там на тропе темнеют проталинки... Днём от них идёт пар, а ночью они покрываются острыми ледяными иглами. Зимой караганики облеплены снегом, как будто их ватой укутали. Теперь они почернели, оголили свои колючие прутья.

Километрах в тридцати от Шаган-арыга, у подножья каменных гор, пристроился ламский монастырь—хуре. Только поздно вечером Манчи-Сюрен и Калзан довели свой караван до него. Тишина окружала тёмные, едва различимые при свете звёзд постройки с причудливо загнутыми углами крыш, частоколами высоких заборов, чем-то напоминавших старые русские тюрьмы-остроги.

Перед путниками выросли высокие узорчатые ворота. Они были наглухо закрыты. Костя долго ходил вдоль забора, стучал, кричал, вызывая хозяев. Но за забором никто не откликнулся. Монастырь точно вымер.

Прошло добрых полчаса, может и больше.

— Что за чертовщина! — возмутился Калзан. — Есть тут, наконец, кто-нибудь живой или нет?

Он сбросил доху и взобрался на забор.

Недалеко от ворот он разглядел в потёмках три молчаливых фигуры. Соскочив с частокола и ободрав себе порядком руки Калзан подошёл к ним и негромко спросил:

— Что же вы, друзья, ворота не открываете? Разве у вас тут не полагается гостей принимать?

Трое продолжали молча стоять.

— Что же вы молчите?

Те не отвечали.

Калзан выругался про себя и направился к юрте, видневшейся поодаль от деревянных зданий. Там крепко спали двое молодых парней. Он разбудил их и просил впустить во двор караван.

Один из парней, не говоря ни слова, направился к воротам. В руках у него позванивали ключи.

Верблюдов развьючили тут же возле юрты. Парни оказались хорошими общительными ребятами. Это были араты, отбывавшие монастырские повинности. Ключи от ворот оказались у них благодаря лени ламы-привратника, предпочитавшего спокойный сон надоевшей обязанности встречать и провозжать гостей и богомольцев.

Наварили барашины. Поужинали. Калзан угостил аратов печёным хлебом, что для них было большим лакомством. За это они притащили охапку сена для лошадей и старались всячески поудобнее устроить гостей.

Укладываясь спать, Калзан обнаружил у стены целую охапку стреляных винтовочных гильз.

— Откуда это у вас? — спросил он, показывая парням на находку.

— Люди вчера приезжали, с винтовками. Наверное, они оставили.

— Много их приезжало?

— У-у, очень много. Человек двадцать будет.

— Что за люди?

— Мы не знаем их.

— По вы, наверное, видели, откуда они приехали и куда уехали? — продолжал всё настойчивее допрашивать Калзан.

Парни насторожились и как-то сразу стихли. На все дальнейшие вопросы отвечали коротким — нет, не знаем.

Манчи-Сюрен ушёл ночевать к верблюдам.

— Мне там спать надо! Товар караулить надо. Верблюдов тоже караулить надо, — ответил он Косте на предложение ложиться в юрте.

Ночью Калзан проснулся и пошёл посмотреть свою лошадь.

Мороз был порядочный. Замёрзший снег скрежетал под копытами лошадей, мирно похрустывавших сухое сено. Верблюды лежали между вьюков, гордо изогнув шеи и полузакрыв веки. Только один, самый старый из них, почему-то положил вытянутую шею на землю и так лежал, не шевелясь и не обращая внимания на подошедшего человека. Калзан потрогал его. Верблюд медленно, с достоинством поднял голову, блеснув при звёздном свете ненавидящим глазом на нарушителя покоя.

Между верблюдами, закутавшись в кошму, спал Манчи-Сюрен. Услышав шаги, он поднял голову и осмотрелся.

— Не спишь? Замёрз, поди? — спросил Калзан.

— Нет. Замер нету, — ответил тот по-русски. И опять накрыл голову кошмой.

В это время от ворот к юрте направились двое в ламских халатах и широких плоских шапках. Они подошли вплоть к товарным тюкам, и, замедлив шаги, не обращая внимания на стоявшего тут же Костю, оглядели, а может, сосчитали товарные «места».

— Вам чего? — грубовато спросил Калзан.

Неизвестные прошли мимо, не ответив.

— Эти люди уже два раза приходили, — сказал из-под кошмы Манчи-Сюрен.

В эту ночь ни Костя, ни Манчи-Сюрен больше не спали. Не дожидаясь рассвета, они навьючились и направились дальше. За день предстояло пройти полсотни километров по го-рам, по песчаным тяжёлым тропам.

В полдень караван вышел на древнее шоссе, — так назы-ваемый тракт Чингиз-хана. Постоянные ветры здесь сдувают снег с высокого дорожního полотна, оголяя крепкий мелко-щербнистый грунт. Идти стало легче.

Костя обратил внимание на отсутствие встречных. За весь-долгий путь от монастыря до Ак-Хема они не встретили ни од-ного живого существа, кроме красной лисицы, перебежавшей дорогу. Он поделился своими наблюдениями с Манчи-Сю-реном.

— Совсем мало народ ездит тут, — подтвердил его спут-ник. — Никогда так не было. Народ боится чего-то...

В сумерках дошли до ручья Ак-Хем. Зимник небо-гатой аратской семьи находился недалеко от дороги. Два промадных чёрных пса встретили караван дружным лаем.

Из юрты вышел хозяин, отогнал собак, помог развьючить верблюдов и поставить лошадей.

Пока хозяйка кипятила чай, варила мясо, гости рассказали, куда везут товар, когда вышли с места, где ночевали и ещё много такого, что интересно только людям, живущим на боль-шой дороге. Хозяин поведал о зимовке своего скота, об охоте на лис, о волках, которые не дают покоя.

После ужина хозяин, хозяйка и гости закурили трубки. Си-ние облака дыма заполнили юрту.

Неожиданно хозяин заявил:

— Не стоит вам ехать дальше.

— Почему не стоит? — удивился Калзан.

— Худо на Хемчике. Народ волнуется. Которые хотят по-старому жить, другие — по-новому. Нойон опять, пожалуй, будет...

— Пустые слухи! — скрывая беспокойство, попробовал возразить Костя.

— Нет. Сам Наксыл-чанга говорил. Он вчера проехал на Чаа-Холь, вёз с собой какую-то большую бумагу. Говорил. Ак-Сугская палатка кооперации переехала на Чадану.

— Кто ему сообщил об этом?

— Не знаю. Больше ничего не знаю, — закончил разговор хозяин и принялся устраивать гостей на ночь.

Неясные слухи о брожении среди зажиточных хемчужан доходили до Шаган-арыга ещё раньше. Однако никто не при-дал этому серьёзного значения. Слухи могли исходить от ки-тайских купцов или от лам-перекупщиков, заинтересованных в дискредитации новой власти перед народом.

Калзан вспомнил, что от Ак-Хема дорога раздваивается.

Одна идёт вправо на Хемчик в тот самый район, где находится Ак-Сугская палатка. Другая — вверх по Ак-Хему, переваливает через Хребет Адыр-тош и спускается в долину Чадапы, где расположены монастыри, а от них недалеко и чадапская палатка. Он принял решение поехать налегке прямо на Ак-Сугскую палатку, оттуда вверх на Чадапу и затем — на встречу Манчи-Сюрену, который к тому времени перевалит Адыр-тош и спустится к той же Чадапе.

Решив так, Калзан завернулся в конному и быстро заснул. Утром они растались с Манчи-Сюреном.

К Хемчику Калзан подъехал засветло. Пригреваемые мартовским солнцем, кое-где оголялись кромки береговых обрывов. Во льду реки темнели полыньи, в них бурлила вода неспокойного Хемчика.

Калзан слез с лошади и повёл её на поводу. Лёд казался крепким, но надеяться на него никак нельзя: то тут, то там зияли сквозные дыры. Перейдя на левую сторону Хемчика, Калзан обернулся и с неприязнью посмотрел на реку:

Два года тому назад он впервые переезжал здесь Хемчик — тоже в марте, но уже в конце месяца. Лёд был плохой. На самой середине реки лошадь провалилась. Сам он успел выскочить на лёд и не отпустил повод. Сильным течением лошадь затащило под лёд, только одна голова оставалась наружи. Долго Калзан кричал и звал на помощь, но так и не мог ничего дозваться. Повод лопнул, и несчастная лошадь в один момент скрылась под водой.

Пеший, с одной только плёткой в руке, пошёл он на розыски жилья. В километре от места переправы он нашёл пятистенную избу, принадлежавшую арату Бежин-Хоо. Когда-то избу построил казанский татарин Имамутдинов, занимавшийся торговлей с окрестным населением. Потом он разорился и продал постройку Бежин-Хоо. Здесь и организовал тогда Калзан первую палатку.

Теперь, подъезжая к дому Бежин-Хоо, он лелеял надежду на то, что палатка окажется на месте. Но уже издали заметил пустоту вокруг избы; не видно обычного оживления, какое бывает у торговой точки в это время: ни одной лошади, ни одного быка у коловязи, нет нигде вокруг ни одного человека... Привязав коня, Калзан открыл дверь избы и вошёл.

В пустой комнате валялись на полу обрывки рогож и ключья бумаги.

Скрипнула дверь, ведущая во вторую половину, где жил хозяин. Калзан оглянулся. На пороге стоял Бежин-Хоо и с дружеским сочувствием смотрел на своего старого знакомого.

— Здравствуй, друг! — приветствовал его Калзан, протягивая руку. — Что случилось, Бежин-Хоо? Куда народ девался?

— Уехал агент и товар увёз. Боялся очень: чужие люди

стали приезжать, товар брали. Ничего не давали... Плохой народ! Поезжай в Чадан. Там все агенты собрались. Весь товар туда свезли. Теперь как? Агента нет. Товара нет. Куда овчины, мерлушки девать?

Бежин-Хоо махал руками, сплёвывал, морщился, ругался, выражая этим крайнее возмущение действиями «чужих людей».

— Ты поезжай скорее, — торопил он Қалзана. — Твой конь пристал. Возьми моего коня. Только не ездь большой дорогой. Обездом надо.

Чувствуя надвигающуюся беду, Қалзан не стал тратить напрасно время на бесполезные расспросы, переменил лошадь и поскакал на Чадану.

Свернув на окольный путь, он не пожалел, что послушался Бежин-Хоо: в стороне оказался отряд вооружённых всадников, ехавших, видимо, из Чаданы по главной дороге.

Не доезжая мельницы, возле которой находилось помещение чаданской палатки, Қалзан свернул к знакомому арату. Когда подъехал к юрте, уже стемнело.

Привязав коня, зашёл в юрту.

У очага сидел Санчат с протянутой рукой, которую перевязывала тряпицей его жена.

Поздоровались как старые друзья, давно не видевшие друг друга. Санчат одно время работал с Қалзаном.

— Ты как сюда попал? — спросил хозяин, до крайности удивлённый появлением Қалзана.

Тот рассказал ему, куда и зачем он едет, и просил Санчата сообщить всё, что он знает о работниках кооперации.

— Вот видишь, какие новости, — показал Санчат на свою руку. — Сегодня в сумоне связали одного агента. Я заступился за него. Произошла драка... Слыхал я, что начали товары по палаткам грабить и людей арестовывать.

— Как бы пробраться на чаданскую палатку?

— Тебе сейчас же надо ехать на Шаган-арыг, здесь нельзя оставаться: поймают, посадят, а то и убьют, — серьёзно предупредил Санчат. — У тебя чей конь? Бежин-Хоо? Ну, тогда оставь его, а я тебе дам другого. Добрый конь. Не кормя доедешь до места.

Угостив Қалзана бараниной, Санчат проводил его среди ночи через заросли кустарников и показал прямую дорогу к Адыр-тошу. На прощание он посоветовал:

— Постарайся перевалить горы затемно. Есть слухи, на Пора-Холе тоже появилась банда. Будь осторожен, не попадись!

В чаданской долине снегу выпадает сравнительно мало. В первых числах марта он начинает таять, а к концу месяца, на солнцепёке, исчезает совсем. Выпадающий свежий снег тоже недолго держится. Верховому можно проехать по степи и горам в любом месте, лишь бы знать направление.

В ночное время белые пятна снега и чёрные плешины земли делают горы похожими на фантастических пегих лошадей. Когда едешь мимо них, кажется, что они шевелятся, забегают вперёд...

Выбирая дорогу между кустов караганника, поднимаясь и спускаясь с горы на гору, всю ночь ехал Калзан, поторапливая и без того старательного коня. Небо закрыли тяжёлые тучи и вскоре пошёл снег.

Спустившись в котловину Пора-Холя, Калзан тиетно всматривался сквозь снежную сетку в степь, в надежде увидеть ночёвку Манчи-Сюрена. Но ни огонька, ни верблюдов и никаких следов и признаков вокруг...

На перевале Адыр-тош он дал коню немного отдохнуть, покурив и поехал дальше.

На Ак-Хеме не оказалось той юрты, в которой почевали они прошлую ночь с Манчи-Суреном. Место, где стояла юрта, и следы вокруг запорошило снегом. Почему откочевала семья арата, какие чрезвычайные обстоятельства заставили людей бросить зимник, угнать скот?.. Обо всём этом можно было только гадать.

На степи между Ак-Хемом и Чаа-Холем нового снега не было. Выбрав хорошую полянку, где из-под растаявшего снега поднялась прошлогодняя трава, Калзан покормил лошадь и двинулся дальше.

Ночью подъехал к поскотине Шаган-арыга.

Неожиданно из кустов раздался окрик:

— Стой! Кто едет? Слезь с коня!

Калзан по голосу узнал знакомого арата из Шаган-арыга.

— Это ты, Туметей? Здравствуй!

— Калзан! — радостно воскликнул человек, выходя из-за густого куста караганника. — Как ты вырвался? Мы ведь считали тебя покойником...

За ним из укрытий вышел ещё человек. Оба они подошли к соскочившему с коня Калзану и стали здороваться за руку.

— Ну, давай, рассказывай, где остальные наши? Живы ли они? — наперебой стали они расспрашивать.

На фактории Калзана встретили так, будто он вернулся с того света. Он стал подробно рассказывать о своём необычайно скоростном путешествии на Хемчик, но до конца так и не рассказал: закрыл глаза и сидя заснул — не шутка, проехать двести километров за полтора суток.

Прошла неделя. Связи с Хемчиком не было никакой. Но слухов — один фантастичнее другого, доходивших оттуда окольным путём, было много. Людей, попавших в руки банды, считали погибшими. Какова же была радость, когда через два дня в Шаган-арыг приехали все пленники повстанческих банд. Правда, они побросали на Хемчике всё своё имущество, а у

мужчин на руках багровели отметины от жёстких арканов... Но главное—они были живы.

Не было только одного Манчи-Сюрена. Никто о нём ничего не знал, ни один человек его не видел. Он исчез бесследно.

Откуда-то приполз слух, что монгол увёл караван на родину.

— Я так и знал, — обрадовался Агван. — Я говорил, что он жулик! Он выбрал время и увёл верблюдов в Монголию. Там продаст товар и верблюдов и станет богатым человеком... А ты, Иван Степанович, ещё новую шубу дал ему в дорогу...

Агван выразительно посмотрел на Никишина и добавил:

— Конечно, я человек маленький, однако и мне сердце подсказывает,—кому верь, а кому не верь. Только я так думаю: дурак будет тот, кто не воспользуется подарком в пять верблюдов с товарами... А Манчи-Сурен — не совсем дурак...

Однажды на рассвете сторож фактории Чимит услышал стук в ворота. Открыв калитку, он увидел перед собой измождённого человека в невероятно странной одежде. Одет он был в половину шубы: нижняя часть—обе полы и половина спины — были отрезаны напрочь; маймаки и штаны истерзаны так, что сквозь зияющие дыры проглядывало тело...

— Неужели это ты, Манчи-Сурен? — спросил поражённый Чимит. — А говорили, ты в Монголию удрал...

Монгол смущённо улыбнулся и шагнул во двор.

— Эх ведь как тебя разделали! А похудел-то как: кожа да кости остались от тебя... — заметил сторож, взглядываясь в почерневшее лицо Манчи-Сюрена.

Они прошли в сторожку. Чимит поставил перед монголом тарелку с холодной вареной бараниной и нарезал хлеба.

— Ты ешь тут, а я пойду к Никишину: скажу, что ты явился.

Через час все собрались в конторе.

Где по-тувински, где по-русски, а больше на родном языке рассказал Манчи-Сурен о своих приключениях.

После того, как они расстались с Калзаном на Ак-Хеме, Манчи-Сурен повёл верблюдов на Адыр-тош. За день он рассчитывал дойти до Пора-Холя и там заночевать, а на следующее утро отправиться на чаданскую палатку. Но дорога оказалась очень трудной. От жарких лучей весеннего солнца снег на тропе сильно подтаял за день, а к вечеру замёрз, покрывшись ледяными шипами. Верблюды не могли идти по дороге и всё сворачивали на целик. Однако и там образовавшаяся корка льда ранила им ноги. Поднявшись на Адыр-тош, Манчи-Сурен уже стал присматривать место для ночлега, как вдруг увидел группу всадников, ехавших ему навстречу. Их было пятеро. Впереди, на некотором расстоянии от остальных, ехал с винтовкой за плечами человек в богатой шубе, крытой китайским узорчатым шёлком...

Увидев караван, человек остановился и поставил коня поперёк дороги.

— Эй, куда караван ведёшь? — грубо крикнул он Манчи-Сюрёну.

— На Чадан. В кооперацию, — спокойно ответил тот.

— Кха! Нету теперь кооперации. Вези товар на Верхнее хурсе.

— Нельзя на хурсе. Мне велено товар на палатку везти.

— Как ты смеешь оспаривать! Я говорю тебе, вези на хурсе!

С этими словами он соскочил с лошади, захлестнул повод её на погу и, спяв винтовку, ткнул ею в живот Манчи-Сюрёна.

Тот побледнел, как снег. На момент как будто растерялся, но затем схватился за ствол, резким движением выдернул винтовку из рук наглеца и отбросил её в сторону.

Взбешенный бандит выхватил из-за пояса нож и замахнулся на монгола. Однако тот успел ударить его по руке длинным рукавом своей шубы. Нож полетел на дорогу.

Обезоруженный бандит бросился его поднимать, но Манчи-Сюрён наступил на нож ногой и предостерегающе поднял руку. Тогда бандит кинулся за винтовкой, лежащей в стороне. Но и там ему на пути встала мощная фигура монгола...

Бандит обернулся к своим спутникам и яростно закричал.

— Чего вы стоите! Вяжите его! Я вам приказываю!

Но ни один из них даже не сделал попытки слезть с лошади. Все четверо были молодые араты и, судя по их поведению, несколько не сочувствовали своему воинственному товарищу. Они явно предпочитали не вмешиваться в это грязное дело, а наблюдать за развернувшейся борьбой со стороны...

Тогда бандит подскочил к одному из них и с руганью пытался стащить его с лошади. Тот повернул коня и, хлестнув его плёткой, поскакал прочь. За ним ускакали и остальные.

Бандит остался с глазу на глаз с человеком, в силе и ловкости которого он убедился таким неожиданным образом...

Зверем посмотрев на Манчи-Сюрёна, державшего в одной руке нож, в другой—винтовку, он крикнул:

— Отдай! Отдай, тебе говорю! Всё равно я тебя убью, как собаку! Никуда ты с верблюдами не спрячешься... Отдай винтовку!

Манчи-Сюрён невозмутимо смотрел на беснующегося бая и ждал, что будет дальше. А тот от злобы ворочал жёлтыми белками глаз и выкрикивал страшные угрозы и ругательства. Потом схватил повод своего коня, вскочил на него и помчался по тропе в сторону Пюра-Холя.

Проводив взглядом ускакавшего бандита, Манчи-Сюрён осмотрел «трофей». В магазине винтовки оказался один патрон, который он тут же выбросил далеко от дороги. Повертел в ру-

ках нож и тоже выбросил его. С винтовкой отошёл в сторону к лесу и сунул её под валежину.

Начало темнеть. Манчи-Сюрен постоял, подумал, куда вести караван и решил уйти в сторону от трактового пути. Забравшись в узкое ущелье, он развьючил верблюдов и улёгся спать.

Ночью выпал снег и скрыл следы каравана...

На другой день Манчи-Сюрен вышел на гребень горы и стал следить за дорогой, которую он хорошо видел со своего наблюдательного пункта.

Вскоре показались несколько всадников, скакавших из пины Пора-Холя. Они часто остаивались, осматривали дорогу и ехали дальше. По всем признакам они искали следы пропавшего каравана.

На третий день кончились сухари. Оставалось горсти двести тары да столько же сухого творогу. Надо было что-то предпринимать. На большую дорогу показаться нечего было и думать, там караван сразу же заметят и, конечно, тогда уж никуда не уйти...

В конце четвёртого дня Манчи-Сюрен собрал верблюдов, кормившихся в караганниках, завьючил их и повёл дальше в горы. Случайно он наткнулся на зимник. Хотел пройти незамеченным, но его увидел хозяин зимника. Пришлось заехать. Приняли его хорошо, накормили.

Зимник был со всех сторон закрыт горами. Большая дорога пролежала далеко в стороне. Манчи-Сюрен решил на время оставить верблюдов на попечение хозяина, самому поехать на Чадану на разведку.

Проезжая мимо монастыря, он увидел большое количество людей, ехавших в направлении чаданской палатки. Они торопились, подгоняли лошадей и о чём-то возбуждённо переговаривались. На Манчи-Сюрена никто не обращал внимания и он спокойно доехал до мельницы.

На большой поляне шумела огромная толпа. Привязав коня в топольнике, он стал пробираться сквозь плотную людскую стену.

В центре большого круга, на середине поляны, стояло на коленях несколько человек. Руки у них были связаны за спиной арканами, одежда растрёпана... Напротив, у края поляны, расположились десятка два «судей». По одежде и манере держаться—это были старые чиновники, бай, их подручные. Среди них Манчи-Сюрен сразу увидел бандита, напавшего на него на Адыр-тоше.

Шёл допрос связанных пленников.

Трое здоровенных парней схватили одного из них—двое под руки, один сзади и, подталкивая пинками, потащили и бросили перед «судьями».

О чём спрашивали «судьи» и что отвечали пленники, Манчи-Сюрен не слышал, было далеко, да и толпа гудела, как потревоженный пчелиный улей.

Вдруг из толпы вышел молодой тувинец и громко прокричал:

— Нам не нужны нойоны! Зачем людей арестовали? Зачем народ сбиваете? Опять хотите нас заставить подчиняться вам!

«Судьи» повскакали с мест, загалдели. Некоторые бросились к нарию. Вот уже взметнулся в воздухе аркан... Но тут стена толпы прорвалась, на выручку смельчаку выбежало человек тридцать аратов. Началась свалка. Толпа грозно загудела, подняв невероятный шум. Кто-то кричал диким голосом, кого-то хлестали плетьюми... Всё смешалось, и Манчи-Сюрен потерял из виду и «судей», и пленников.

Народ хлынул от центра полянки в разные стороны. Люди ловили своих стреноженных коней и быстро уезжали—кто в одиночку, кто компанией. Полянка опустела. Несколько вооружённых всадников погнали в сторону монастыря связанных пленников. Двух женщин и ребёнка везли на санях, за которыми ехал верхом человек в красной чесучовой шубе...

Манчи-Сюрен подошёл к избе, стоявшей неподалеку от мельницы и служившей складом товаров чаданской палатки, заглянув внутрь через выбитое стекло. Глазам его представился полнейший разгром: разбитые камышовые короба из-под чая, рассыпанный табак зелёной пылью покрыл пол и стены, какие-то рваные тряпки... Среди этого невообразимого беспорядка бродили двое мальчишек, выскивая что-то...

Теперь Манчи-Сюрен убедился, что на Чадане ему делать нечего. Надо пробираться обратно в Шаган-арыг.

Во избежание встречи с людьми он продвигался со своим караваном по логам, по малохоженным тропам. Идти можно было только ночами. Днём хоронился в ущельях или в густых зарослях кустарников. Хуже всего было отсутствие пищи. Последние дни он шёл голодным.

Однажды, завьючивая верблюдов, он обнаружил у одного из них сильную потёртость на спине. Верблюд ревел и стонал, не хотел вставать и поднимать выюк. Не долго думая, Манчи-Сюрен снял с себя шубу и отрезал у неё всю нижнюю часть. Отрезанные куски положил под седло верблюду и тот успокоился.

Через несколько ночей он спустился в долину Шаган-арыга. Не дойдя до посёлка, спрятал верблюдов в топольниках, а сам перед рассветом явился на факторию.

Когда Манчи-Сюрен закончил своё повествование, Агван подошёл к нему, протянул руку и душевно сказал:

— Ты извини меня. Зря я тебе не верил...

М. А. Изышева

РАССКАЗЫ О ТУВЕ

Полка книг о Туве пополнилась ещё одной хорошей книгой—«Рассказами о Туве».

Этот сборник знакомит русского читателя с тувинской национальной прозой. Перевод на русский язык для национальной литературы является воротами в широкий мир, становясь достоянием многомиллионных масс.

Значительное место в книге занимает повесть, представленная тремя авторами.

Сборник открывается повестью С. Тока «Слово арата», получившей широкую известность не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. Так, лауреат Ленинской премии мира, выдающийся французский писатель-коммунист Луи Арагон в своём литературоведческом исследовании «Советские литературы» в числе других анализирует «Слово арата», как образец яркого расцвета многонациональной литературы СССР.

Эта повесть получила широкое признание читательской общности. Книга переведена на русский, украинский, якутский, алтайский, киргизский, казахский, эстонский, венгерский, болгарский, немецкий, польский, чешский языки. В своё время повесть была удостоена Сталинской премии.

«Слово арата» — глубоко самобытное и своеобразное произведение, выдержанное в реалистических традициях. Это не просто художественно написанная автобиография, а широко задуманное художественное обобщение.

В 1932 году в сборнике воспоминаний «Цепи разбиты» был напечатан отрывок «Муки батрака», в котором автор писал: «История моей прежней жизни не велика, она очень маленькая, но в этой короткой истории много горя и унижений. Мы росли без отца, на руках у матери-беднячки, работали на бо-

гачей, которые платили нам насиллием и обидами, питались объедками с их стола».

Тогда и была задумана эта повесть.

М. Горький, с великой любовью и заботой относившийся к развитию национальных литератур, неоднократно возвращался к мысли о том, что в литературе почти не затронута тема роста человека из так называемых в прошлом нацменьшинств в коммуниста-интернационалиста.

Великий Октябрь приобщил и возродил к новой жизни мощные нетронутые человеческие пласты.

Основой нового содержания, которое внёс С. Тока в литературу, является не просто открытие тувинской тематики, но главное — широко поставленная тема борьбы тувинского народа за свою свободу. Процесс формирования характера человека из самых социальных пизов, его рост и становление, его активное отношение к окружающей действительности, поиски своего пути в борьбе за счастье нам известны из многих других книг, близких по содержанию. Скажем, в якутской литературе это «Весенняя пора» Н. Мординова (Амма Аччы-гыяа) или книга удэгейца Джанси Кимонко «Там, где бежит Сукпай».

С. Тока сумел художественно, осязаемо, конкретно внести на страницы повести тувинскую жизнь, её общие закономерности со всей обстоятельностью и достоверностью, рассказать об освобождении народа хорошим полновесно звучащим словом.

Даже самое название повести подчеркивает обобщённость, собирательность «слова арата», слова одного из многих трудящихся аратов.

Самым большим достижением первой книги является образ матери Тас-Баштыг. Ей посвящены самые светлые страницы, с большим мастерством изображена типичная судьба тувинской женщины, отстаивающей право на жизнь.

Мать завещает детям найти правду и стать счастливыми, прожить жизнь лучше, чем прожила она. Красной нитью в повести проведена тема острой классовой борьбы, созданы гротескно-сатирические образы врагов народа, бойцов и феодалов.

Художественным приёмом автор избрал контраст, противопоставление. В сцене скачек явно противостоят две силы, и симпатии всех на стороне народных представителей. Символична сцена сжигания чиновничьих знаков отличия и орудий пыток.

Наконец, в книге прекрасно показана дружба тувинского и русского народов. Это является её большим достоинством.

Борьба за свободу народа, убеждённость героев в своей силе, богатая атмосфера настоящей народности и национальности делает повесть значительным, ярким явлением в литературе.

В сборнике «Рассказы о Туве» эта повесть представлена отрывками, отдельными главами из обеих книг, но от этого не потерял аромат книги, её особенности. Каждая глава является как бы самостоятельным рассказом или новеллой, в то же время органически вписывающимся в течение всей книги.

А сколько в книге рассыпано чудесных пейзажей, повесть прострочена образами фольклорными и народным юмором, лукавой шуткой.

Для полного представления о книге читатель может обратиться к новому изданию («Слово арата» в 2-х книгах, Кызыл. 1958 г.).

Несомненный интерес представляет повесть русского автора М. Пахомова «В предгорьях Таншу-ола».

Это книга о гражданской войне в Туве, о борьбе за Советы, о вовлечении тувинцев-аратов в революционную борьбу, о молодости красного командира С. К. Кочетова. Это — первая повесть автора, но у него за плечами чувствуется знание жизни, некоторые навыки литературного письма. Выход в свет первой повести о Туве русского автора, несомненно, заинтересует читателя.

В повести много свежих наблюдений, удачных описаний. Заслуживает внимания один из самых ярких образов — арат Бальчир. Глава «Семья Бальчира» живописует быт тувинской семьи со всем богатством деталей, со знанием психологии своего героя. Идея равенства и дружбы народов воплощена в характерах, в естественных и повседневных отношениях. В теме дружбы нет ни голой декларативности, ни нарочитой подчёркнутости.

Читатель с интересом познакомится с бытом русской деревни времён революции, с революционным настроением тувинского народа.

Автор владеет повествовательной манерой; описания, диалоги героев — и литературны, и жизненны.

Почему же книга, в которой немало удачных наблюдений и верных обобщений, всё же оставляет по прочтении двойственное чувство, во многом не удовлетворяет?

Это прежде всего выражается в какой-то аморфности, неопределённости авторской индивидуальности, в похожести на что-то уже читанное, нет-нет да и промелькнёт знакомая фраза, выражение, целая ситуация. Герои действуют не согласно жизненной логике, а по воле автора. Зачастую образность подменяется описательностью, особенно в речи персонажей.

За описанием тувинской юрты следует не менее подробное описание русской крестьянской избы. В этнографических деталях начинает теряться человек. Некоторые герои больше сидят за столом, за едой, — иногда по 5—6 страниц. Революцию же делают на полстранице. Описание становится протоколом из архива: «уничтожение банд было в основном закон-

чено», «обстоятельства диктовали необходимость теснее сплотиться» и т. д. Неоправданно часто встречаются грубо-жаргонные словечки: кокнули, смылся, катаём, житуха и т. д. Нет достаточной органичности в композиции, много отдельных недописанных кусков.

Подчас над читателем довлест авторская воля, даётся прямая оценка событий, автор ведёт читателя за руку по своей повести. Молодому автору явно нехватало крепкого умного редакторского вмешательства.

Таковы просчёты этой, во многом неплохой, повести. При отдельном выпуске книги потребуются дополнительные работы, углубление характеров и отношений, чистка от дурной литературщины.

Повесть С. Сарыг-оола «Подарок» написана еще в 1943 году. Основная тема — патриотический подъём народа в годы войны, большая помощь фронту. История семьи Хаяжика типична для того времени. Охотница Ильдирма, её мать, сын Адыгжи и горняк Хаяжик — все они, каждый по-своему, работают для фронта. Почерку С. Сарыг-оола присуще большое внимание, тяготение к психологизму, к разработке тонкого и сложного образа. Поэтическая образность, чувство природы, художественная убедительность — всё это вместе прекрасно работает на идею повести, на её фактуру. Образы повести не статичны, а живы, и, главное, даны во внутреннем движении, в смене ритма настроения, в динамике переживаний и чувств, в комплексе душевной жизни человека.

Ночёвка в горах, борьба замерзающей Ильдирмы за жизнь описаны очень ярко: суровая красота ночи, внутреннее состояние героини, её почти угасающее сознание и потом могучий порыв к жизни. Романтический пафос этой сцены органически сочетается с силой воли, сознанием долга хрупкой, но мужественной женщины. Этому образу автор явно симпатизирует. Ильдирма ближе ему с её несколько замкнутой натурой, немногословием, с любовью к тайге. Образ Хаяжика в сравнении с пею дан в других красках — суше, бледнее.

Красота слога, романтическая приподнятость, богатство души героев делают эту повесть современной и сегодня.

Вторую половину сборника занимают рассказы и очерки, представленные разнообразным кругом авторов.

Герои большинства рассказов — наши современники. Тематика рассказов свидетельствует о проникновении писателей в жизнь, о попытке всестороннего освещения человека. Тувинский рассказ привлекает читателя правдивой постановкой и решением темы, интересом к духовному миру человека-труженика.

Сила колхозного строя, дружба народов, формирование нового отношения к труду и социалистического сознания, прош-

лое тувинского народа, сегодняшние будни, моральный облик нового человека — всё это находит своеобразное решение в тувинских рассказах.

Перед нами четыре рассказа О. Саган-оола. Они рассказывают о людях наших дней. В первом рассказе «Дружба» с подлинным мастерством показана дружба колхозного паренька Адар-оола с врачом Марусей. Ситуация рассказа идёт от характеров героев, здесь нет ненужной интриги или ложной преувеличенности. Теплота, лиризм отношений героев даны в естественном развитии, и от этого дружба героев вырастает в тему большой дружбы двух народов.

Другой рассказ, «Не той дорогой», поднимает вопрос о чистоте интимных отношений молодых людей. Это рассказ о неудавшейся любви. Молодая учительница Хандыва полюбила Комбу. Вскоре после женитьбы он запил. Рушится семья, идёт борьба за семью, за счастье. Кто из них прав — автор представляет решить читателю, отрекаясь от стандартного примирения героев под занавес. Рассказ написан в защиту большой настоящей любви, и, вероятно, потому по своей манере рассказ — психологический.

В рассказах О. Саган-оола встаёт живой образ человека, автора интересует жизнь не в её спокойном размеренном течении, а в каких-то переломных её моментах.

Для Шагдыра из рассказа «Аржан» — это перестройка сознания, трудный переход к новому. Для парня из сумона Бадды — это тоже переход к новому, отрешение от собственнических взглядов, воспитание чувства коллективизма, рабочей чести. Путь из дымной юрты в цеха завода не может быть лёгким для вчерашнего кочевника.

Рассказы С. Сарыг-оола перекликаются с его повестью «Подарок» по тяготению к психологизму и пейзажности.

В рассказах «Маскажик» и «Огненная телега» С. Сарыг-оол развивает тему рождения и развития рабочего класса в Туве, вхождение в быт тувинского народа техники, а вместе с этим изменение в сознании, рост новых людей. Цикл его охотничьих рассказов и зарисовок воспевают красоту родного края. Рассказы бодр и оптимистичны. «На солонцах» является наиболее интересным как по замыслу, так и решению. Ночь, солонцы. Ночные шорохи тревожат молодого охотника Дукара. Автор тонко передаёт душевные движения, поэтично и выразительно создано настроение, пейзаж. С какой-то новой стороны познаёшь красоту Тувинского края. Богатство жизни требует многообразия форм.

Два рассказа С. Сюрюн-оола свидетельствуют о том, что писатель находится в творческих поисках. «Два письма» — это напряжённо острый, почти приключенческий рассказ. Несправедливо обвинён любимый человек, юная Сендинмаа терзает

ся в тяжких сомнениях: желание быть вместе с любимым, и девичья гордость, и боязнь за брата, который во многом повинен в этой истории. Показать человека на крутом повороте в его жизни—задача нелёгкая для молодого писателя, и он сумел найти своё, пусть временами недостаточно тонкое, без углубленной разработки и доказательности характеров, но своеобразное решение.

Другой рассказ, «Второе знакомство» — это новый поиск, на этот раз в прошлом народа. Рассказывается о тяжёлом детстве, в семье старого шамана, сироты Болат-оола, который сумел смело встать против окружающих обстоятельств и выучиться на врача. В его судьбе уловлены характерные перемены всей жизни тувинского народа.

Правдивостью изображения радуется рассказ Ф. Сегленмея «Нина Салчак на каникулах». Верно схвачена автором чистота детского восприятия мира, хорошее поэтическое чувство жизни, будни колхозной жизни. Автор умело проводит через привлекательный образ девочки много хороших мыслей о любви к труду, воспитывает уважение к людям колхозного труда.

Сборник тематически весьма разнообразен, здесь и большие глубокие рассказы, и зарисовки, юморески. Все они свидетельствуют о развитии разнообразных форм прозы в тувинской литературе. Несколько следует остановиться на рассказах русских авторов.

Из рассказов В. Черняева наиболее удачен в художественном отношении рассказ «Необыкновенная дружба» — об уже и зайчишке. В рассказе для детей всё должно быть просто и зримо, и у Черняева есть особая внутренняя теплота в описаниях. Автор выступает с интересными темами. У него выразительны художественные детали, но образы, люди — написаны слабее. Подчас описание довлечет над остальной частью повествования, подробности запутывают читателя. «На границе» и «Степной пал» недостаточно разработаны по фабуле, по сюжету. На каком берегу идёт бой пограничников, каким образом спас отару чабан Байкара? Хотелось бы посоветовать от преднамеренной остроты сюжета перейти к душевному анализу человека, к описанию чувств и мыслей.

Наиболее слабым местом сборника является раздел очерка. Похвально стремление редакции представить все жанры, но она искусственно «натянула» этот последний раздел. Написанные по всем законам жанра рассказы «Маскажик» С. Сарыгоола и «Второе знакомство» С. Сюрюн-оола волею редакции стали очерками. Вероятно, очерковая тональность концовок ввела в заблуждение. Между тем это — особенности стиля авторов. Случайно представлена здесь и газетная зарисовка В. Черняева «В колхозе имени Ленина».

Очерк В. Межовой «Большой путь» о враче Пудове и зарисовка В. Ермолаева «В больнице», написанные со знанием дела, свежо и не трафаретно, не мнят положения. Очерк является «узким местом» сборника. Художественность теряется в фактографии, хронике будней.

А между тем, именно очерк мог бы на большом публицистическом дыхании представить жизнь нашей области.

Говоря о просчётах книги, хотелось бы отметить малую долю вмешательства редакции в доработку, обработку произведений. А твёрдая редакторская рука была необходима. Наблюдаются частые технические погрешности и опечатки.

Вряд ли была большая необходимость в первом итоговом сборнике помещать «Ранним утром» С. Сарыг-оола, «Сила молодости» В. Шаравии, «Случай с охотником» С. Серена — вещи эскизные, рабочие зарисовки.

Любознательных читателей отсылаем к более подробной статье о тувинских рассказах («Ученые записки», 1958 год, выпуск VI).

В целом «Рассказы о Туве» — нужная и полезная книга. Она знакомит читателя со всем лучшим, что есть в тувинской литературе.

СОДЕРЖАНИЕ

Повести, рассказы, пьесы

<i>Салчак Тока</i> . Тува новая. Главы из III книги повести «Слово арага». Перевод <i>А. Темира</i>	3
<i>Виктор Кск-гол</i> . Хайыран бот, Пьеса, Перевод <i>Е. Меркуловича</i>	36
<i>Куулср Аракча</i> . Марал. Рассказ. Перевод <i>Е. Сергеева</i>	73
<i>Иван Смирнов</i> . Пещера в горах. Рассказ	76
<i>Ефим Меркушин</i> . Подарок друга. Рассказ	93
<i>Олег Гаврилов</i> . Счастье Лопсана. Рассказ	97
Случай в горах. Рассказ	102
<i>Николай Сердобов</i> . На сопках. Рассказ	110
<i>Михаил Соколов</i> . Необычный рейс. Рассказ	121
<i>Владимир Ермолаев</i> . Охотники. Рассказ	127

Стихи, поэмы.

<i>Степан Сарыг-оол</i> . Голосую против атомной войны. Перевод <i>Е. Старининой</i>	133
Я рсбею. Перевод <i>А. Бондаревского</i>	133
Досада. Перевод <i>С. Козловой</i>	134
Хомус. Перевод <i>А. Крюкова</i>	135
<i>Байкара Ховенмей</i> . Снежинки. Перевод <i>М. Шехтера</i>	136
<i>Сергей Пюрбю</i> . Ленин. Перевод <i>П. Босенко</i>	138
Слово о Москве. Перевод <i>Ф. Фоломина</i>	138
Родной город. Перевод <i>Ф. Фоломина</i>	140
Напевы жизни. Перевод <i>Ф. Фоломина</i>	141
<i>Юрий Кюнзегеш</i> . Дорога в Саянах. Перевод <i>И. Вараввы</i>	143
С тех пор, как проскакали. . . Перевод <i>И. Вараввы</i>	144
После ливня. Перевод <i>И. Вараввы</i>	144
Урожайная осень. Перевод <i>И. Вараввы</i>	145
Обращение к песне. Перевод <i>М. Шехтера</i>	145
Просторы Сибири. Перевод <i>П. Босенко</i>	146

<i>Олеҗ Сувакпиг.</i> Да здравствует партия. Перевод <i>С. Козловой</i>	147
Полю Робсону. Перевод <i>С. Козловой</i>	147
Дело не в красоте. Перевод <i>П. Босенко</i>	148
Ручеек. Перевод <i>П. Босенко</i>	148
Мой цветок. Перевод <i>П. Босенко</i>	149
Песня воробья. Перевод <i>М. Шехтера</i>	149
<i>Салим Сюрюн-оол.</i> Кызылу. Перевод <i>Е. Старининой</i>	151
<i>Кызыл-Эник Кудажы.</i> Два ягнёнка. Перевод <i>И. Вараввы</i>	153
Котёнок. Перевод <i>И. Вараввы</i>	154
Козлёнок. Перевод <i>И. Вараввы</i>	154
Дождик. Перевод <i>И. Вараввы</i>	154
Спор. Перевод <i>И. Вараввы</i>	155
Скажи что-нибудь. Перевод <i>С. Козловой</i>	156
<i>Монгуш Кенин-Лопсан.</i> Я — сын Октября. Отрывки из поэмы.	
Перевод <i>С. Козловой</i>	157
Я хочу. Перевод <i>Е. Старининой</i>	161
Руки любимой. Перевод <i>С. Козловой</i>	162
Братьев у тебя много. Перевод <i>Е. Старининой</i>	162
Торгуем без купца. Перевод <i>С. Козловой</i>	163
О телефонном руководстве. Перевод <i>С. Козловой</i>	164
<i>Константин Тоюн.</i> Певница. Перевод <i>С. Козловой</i>	165
<i>Тюлюш Кызыл-оол.</i> Не допустим войны. Перевод <i>Е. Старининой</i>	166
<i>Саая Бюрбе.</i> За мир. Перевод <i>С. Козловой</i>	167
<i>Алдын-оол Даржаа.</i> Чаа-Холь. Перевод <i>Т. Сикорской</i>	168
Водопад в горах. Перевод <i>М. Скуратова</i>	169
Кукуруза. Перевод <i>Т. Сикорской</i>	170
Простерлась от подножья гор... Перевод <i>В. Афиногенова</i>	170
Вечерние огни. Перевод <i>Т. Сикорской</i>	170
<i>Илья Медээчи.</i> Не забудем. Перевод <i>И. Вараввы</i>	171
Колыбельная песня. Перевод <i>И. Вараввы</i>	171
«Цвета вешних небес голубой Улуг-Хем...» Перевод <i>М. Шехтера</i>	172
Цвети, черёмуха. Перевод <i>В. Щепотева</i>	172
<i>Светлана Козлова.</i> Гордость	173
Без единого выстрела.	
1. «По долинам и по взгорьям...»	174
2. Дом	176
3. Ученица	177
4. Песня идёт	178
5. Сын	179
6. Цветы	180
<i>Анатолий Емельянов, Светлана Козлова.</i> Высокогорье. Поэма	181
<i>Анатолий Емельянов.</i> Это поёт Кара-Кыс	190
Сын	190
<i>Эдуард Татаринский.</i> Друг поёт	193
Разведчица	193
Всё-таки спую	194
Писатель на периферии	195

<i>Петр Босенко. Бызаанчи</i>	196
Секретарь	196
Девушке-тувинке	197
Стронтель	198
В мире есть Москва	198

Очерки

<i>Николай Сердобов. «Орлы»</i>	200
<i>Барвара Межова. Судьба арата</i>	211
<i>Виктор Черняев. Тётя Женя</i>	215
<i>Владимир Ермолаев. Страницы из прошлого</i>	221

Критика и библиография

<i>М. А. Изыиева. Рассказы о Туве</i>	257
---------------------------------------	-----

Улуг-Хем № 4

Литературно-художественный альманах

Редакционная коллегия.

Редактор *С. Кирьянов*
Ответственный за выпуск *С. Козлова*
Художественный редактор *И. Кузнецов*
Технический редактор *К. Кузнецова*

* * *

Сдано в набор 25/XI—1958 г. Подписано к печати 16/I—1959 г.
Формат 60×92 1/16. Печ. л. 16,5. Уч.-изд. л. 17,8. Тираж 2000 экз.

Цена 7 руб. 15 коп. ТС—00407. Заказ № 2024.
Тувинское книжное издательство, Кызыл, Интернациональная, 7.

Типография Управления культуры, Кызыл, Щетинкина, 1.

